



ПАШНЯ

АВГУСТ 2023

Электронный журнал «Пашня» — ежемесячное издание литературных мастерских Creative Writing School. Тексты, представленные в «Пашне», написаны в рамках работы очных мастерских и онлайн-курсов Creative Writing School или созданы специально для литературных конкурсов школы. «Пашня» — это возможность встречи текста и его автора с читателем, возможность посмотреть на мир глазами современных литераторов.

Выпускающий редактор Юлия Виноградова

Художественное оформление Евгения Буравлева, Елена Авинова, Юлия Виноградова

@Creative Writing School, © 2023

@Евгения Буравлева, © 2023

@Елена Авинова, © 2023

Практика

Веселый праздник именин: как отмечают дни рождения литературные герои

Мария Фадеева

Как все начиналось: Майя Кучерская и Наталья Осипова о создании Creative Writing School

Раиса Ханукаева

От Уайльда до Розанова. Новые биографии писателей

Мария Фадеева

Сатира, политика и русская классика: к истории литературных журналов

Раиса Ханукаева

Конкурс

Сит амоге

Юлия Васильева

Альбом

Анастасия Князева

Везунчик Виталия

Елена Антар

Воздушные шарик

Полина Вишневецкая

День знаний

Сабина Обчинникова

День первой рыбы

Дарья Каргина

Другая, счастливая жизнь

Акулина Кузаранда

Когда догорят огни

Ульяна Ананьева

Пасха

Дарья Франковская

Плов для дураков

Ирины Данильянц

Праздник моего сердца

Анна Железнова

Проза

Rewind

Ульяна Ананьева

В холодильнике

Ольга Боженко

Жить!

Елена Богданова

Медвежья правда

Ашот Оганесян

Музей памяти

Валерий Верн

Скipped

Галина Розалёва

Счастье есть

Заира Муртазова

Только не знаю, как рассказать

Лариса Прудникова

Устин Семенов

Оксана Малахова

Фигура отца

Мария Баженова

Шура. Начала жизни

Маргарита Беляева

Нон-фикшн

Верный Богу и себе

Виктория Сигоров

Загадка XX века, или Кто убил Улофа Пальме

Мария Никитина

Запахи моей гачи

Мария Янбулат

Записки художника. Отрывок «Забавные ситуации»

Елена Громова

Заснять пересмешника

Светлана Стародубцева

Мальчик. Деревня. Война

Ольга Самарина

Моё тогда — моё сейчас

Ольга Хотимская

Норвежское бешенство

клерков

Ашот Оганесян

Отражение Бога

Яна Виндиктова

Разбудите капитана

Анна Галимова

Сергей Викторович Мейен —

начало пути большого

ученого

Мещеряков

Такая вечная молодость

Антон Карпин

Чёрная курица

Наталья Латышева

Чудо-дети эпохи

перестройки

Екатерина Петровская

Автофикшн

Аромат губового мха

Дарья Фомина

Близкий-чужой человек

Елизавета Губина

Вы дозвонились до Грэйс

Браун

Сания Сыдыкова

Дом, который построил Дед

Анна Васева

Нюрка Кривая

Ольга Серова

Про Лондон

Анна Кавка

Секрет

Ирма Спекторская

Цветок ярости

Людмила Скобина



Веселый праздник именин: как отмечают дни рождения литературные герои

Мария Фадеева

День рождения — особенный день, и относиться к нему можно по-разному. В книгах, как и в жизни, истории отличаются друг от друга. Вспомнили самые запоминающиеся дни рождения и именины книжных героев, и попытались разобраться, как авторы создавали атмосферу.

Лев Толстой «Война и мир». Именины Наташи Ростовой

В классике русской литературы всегда находится место праздникам, и роман «Война и мир» не стал исключением. Балы, званые ужины, народные гуляния, первый выход в свет, повышение в чине и прочие события — в жизни героев было множество поводов устроить вечеринку. Один из самых известных эпизодов — именины Наташи Ростовской в самом начале романа. Им Толстой посвятил целых 10 глав первого тома — с VII по XVII. Событие праздновали с размахом — полный дом гостей, шикарный стол, карточные игры, танцы и долгие разговоры. Здесь мы знакомимся с героями, узнаем об их характерах и об отношениях между ними.

Официанты зашевелились, стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости разместились. Звуки домашней музыки графа заменились звуками ножей и вилок, говора гостей, тихих шагов официантов. На одном конце стола во главе сидела графиня. Справа Марья Дмитриевна, слева Анна Михайловна и другие гости. На другом конце сидел граф, слева гусарский полковник, справа Шиншин и другие гости мужского пола. С одной стороны длинного стола молодежь постарше: Вера рядом с Бергом, Пьер рядом с Борисом; с другой стороны

— дети, гувернеры и гувернантки. Граф из-за хрустальной бутылок и ваз с фруктами поглядывал на жену и ее высокий чепец с голубыми лентами и усердно подливал вина своим соседям, не забывая и себя. Графиня так же, из-за ананасов, не забывая обязанности хозяйки, кидала значительные взгляды на мужа, которого лысина и лицо, казалось ей, своею краснотой резче отличались от седых волос. На дамском конце шло равномерное лепетанье; на мужском все громче и громче слышались голоса, особенно гусарского полковника, который так много ел и пил, все более и более краснея, что граф уже ставил его в пример другим гостям. Берг с нежной улыбкой говорил с Верой о том, что любовь есть чувство не земное, а небесное. Борис называл новому своему приятелю Пьеру бывших за столом гостей и переглядывался с Наташей, сидевшей против него. Пьер мало говорил, оглядывал новые лица и много ел. Наташа, сидевшая против него, глядела на Бориса, как глядят девочки тринадцати лет на мальчика, с которым они в первый раз только что поцеловались и в которого они влюблены. Этот самый взгляд ее иногда обращался на Пьера, и ему под взглядом этой смешной, оживленной девочки хотелось смеяться самому, не зная чему.

Александр Пушкин «Евгений Онегин». Именины Татьяны Лариной

Торжество по случаю дня рождения Татьяны стало ключевой точкой, ведущей к кульминации «Евгения Онегина». Для влюбленной Татьяны встреча с Онегиным желанна и волнующа. Но скукающий столичный повеса не хочет быть на празднике, а несчастный вид Татьяны его раздражает. Он злится на Ленского и, чтобы отомстить,

приглашает на танец Ольгу. Несмотря на то, что все герои этой встречи чувствуют себя по-разному, общая атмосфера праздника завораживает: гости, подарки, танцы и веселье.

Но вот багряною рукою

Заря от утренних долин

Выводит с солнцем за собою

Веселый праздник именин.

С утра дом Лариной гостями

Весь полон; целыми семьями

Соседи съехались в возках,

В кибитках, в бричках и в санях.

В передней толкотня, тревога;

В гостиной встреча новых лиц,

Лай мосек, чмоканье девиц,

Шум, хохот, давка у порога,

Поклоны, шарканье гостей,

Кормилиц крик и плач детей.

правило, встречаются в начале книги, так как Гарри родился 31 июля — в конце летних каникул. Для Гарри это невеселый праздник, когда одиночество и отчужденность чувствуются сильнее обычного. Но в этот день всегда происходит что-то важное для истории и ее героев. Свой одиннадцатый день рождения Гарри встретил с Дурслеями в хижине на скале посреди моря. Дядя Вернон отвез туда всю семью в попытках спрятаться от свиной почты. Но Хагрид всё же нашел их, вручил Гарри письмо из Хогвартса и подарил знаменитый именинный торт. А главное: в этот день мальчик-который-выжил узнал, что он — волшебник!

— Короче так, Гарри, ты волшебник, понял?

В доме воцарилась мёртвая тишина, нарушаемая лишь отдалённым шумом моря и приглушённым свистом ветра.

— Я кто? — Гарри почувствовал, что у него отвисла нижняя челюсть.

— Ну, ясное дело кто — волшебник ты. — Хагрид сел обратно на софу, которая протяжно застонала и просела ещё ниже. — И ещё какой! А будешь ещё лучше... когда немного... э-э... подучишься, да. Кем ты ещё мог быть, с такими-то родителями? И вообще пора тебе письмо своё прочитать.

Гарри протянул руку и наконец-то, после стольких ожиданий, в ней оказался желтоватый конверт, на котором изумрудными чернилами было написано, что данное письмо адресовано мистеру Поттеру, который живёт в хижине, расположенной на скале посреди моря, и спит на полу. Гарри вскрыл конверт, вытащил письмо и прочитал:

ШКОЛА ЧАРОДЕЙСТВА И ВОЛШЕБСТВА
«ХОГВАРТС»

Директор: Альбус Дамблдор

(Кавалер ордена Мерлина I степени,
Великий волш., Верх. чародей, Президент
Международной конфед. магов)

Джоан Роулинг «Гарри Поттер». День рождения Гарри

Гарри Поттер празднует день своего рождения в каждой из семи частей цикла. Сцены с описанием этого события, как

Дорогой мистер Поттер!

Мы рады проинформировать Вас, что Вам предоставлено место в Школе чародейства и волшебства «Хогвартс». Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов.

Занятия начинаются 1 сентября. Ждём вашу сову не позднее 31 июля.

Искренне Ваша,

Минерва МакГонагалл,

заместитель директора

Джон Толкин «Властелин Колец. Братство кольца». День рождения Фродо и Бильбо

Герои книг Толкина, в особенности хоббиты, — любители праздничных застолий и богатых пиров. Первую часть трилогии открывает глава, в которой день рождения отмечают сразу два ключевых героя книжной вселенной: Бильбо Бэггинс и его племянник Фродо. Первому исполняется сто лет, и по случаю такого события устраивается масштабное торжество, гуляют всей деревней (Хоббитоном).

Это было не просто торжество, как назвал его Бильбо Бэггинс, а целый ряд развлечений, переходящих одно в другое. Были приглашены все в округе. Впрочем кое-кого все-таки забыли, но так как они все равно пришли, это не имело значения. Были гости и из других частей Шира и даже из-за его пределов. Бильбо лично, стоя в новеньких белых воротах, встречал гостей (званных и незванных). Он раздавал подарки всем без исключения, даже тем, кто выйдя через калитку сзади, вновь входил через главные ворота. Так уж заведено у хоббитов – дарить подарки на свой день рождения. Как правило не очень дорогие, да и раздают их не очень щедро, но это неплохой обычай, ибо почти каждый день

в Хоббитоне и Байютере чей-нибудь день рождения, так что практический каждый хоббит в тех местах может рассчитывать хотя бы на один подарок в неделю. Но уж чего-чего, а подарков много не бывает.

Эрих Мария Ремарк «Три товарища». День рождения Робби

В романе о любви двух совершенно разных людей, которая разворачивается на фоне кризиса Веймарской Германии, тоже нашлось место для празднования дня рождения — с него собственно начинается история. Главному герою, Роберту Локампу или просто Робби, исполняется тридцать лет. Эта важная в жизни каждого человека дата переживается непросто — герой предаётся ностальгии, много рефлексиирует о прошлом. А вся сцена погружает в легкую меланхолию, наводит на философские мысли.

Ленц повесил мне на шею маленькую черную фигурку на тонкой цепочке. «Так! Это против бед свыше, а против повседневных — шесть бутылок рома от Отто! Вино вдвое старше тебя!»

Он раскрыл пакет и начал выставлять бутылку за бутылкой. В свете утреннего солнца они мерцали янтарным отливом. «Чудесно смотрится, — сказал я. — Где ты их только раздобыл, Отто?»

Кёстер засмеялся: «Дело прошлое. Долго рассказывать. Скажи-ка лучше, как ты себя чувствуешь? На тридцать?»

Я отмахнулся: «Что в шестнадцать, что в пятьдесят, одинаково — ничего особенного».

«Это называешь ты ничего особенного? — возразил Ленц. — Да лучше этого ничего нет. Это значит, что тебе покорилось время, и ты проживешь еще столько же».

Бросив взгляд на меня, Кёстер сказал: «Оставь его, Готфрид», и потом добавил: «Дни

рождения сильно давят на психику. Особенно с самого утра. Дай ему прийти в себя».

Ленц прищурился: «Робби, чем меньше человек копается в себе, тем большего он стоит. Тебя может этот завет хоть чуточку подбодрить?»

«Нет, — сказал я, — нисколько. Достаточно человеку подумать, что он что-то из себя представляет, как он тут же превращается в памятник самому себе. По-моему, это напрягает и нагоняет скуку».

«Отто, он философствует, — сказал Ленц. — Он уже спасен! Он уже пережил таинственную минуту дня рождения, когда смотрят себе в зрачки и вдруг видят жалкого цыпленка. Та незримая черта — позади. Теперь мы можем смело приступить к работе и смазать потроха старому кадиллаку...»

Джеральд Даррелл «Моя семья и другие звери». День рождения Джерри

В своей знаменитой полуавтобиографической книге британский натуралист Джеральд Даррелл вспоминает свой одиннадцатый день рождения. В этот день Джерри становится главным объектом внимания. Ему дарят подарки — лодку, на которой можно плавать на соседние острова, двух беспородных щенков и еще много всякого. Без торжественного застолья в честь именинника тоже не обошлось. Причем вечеринка получилась с чуть большим размахом, чем планировалось.

Все прибывавшие гости выплескивались сначала из гостиной в столовую, а потом через стеклянные двери на веранду. Собираясь к нам, некоторые думали, что им придется у нас скучать, но уже примерно через час, увидев, как тут весело, они отправлялись домой и привозили всю свою родню. Вино лилось рекой, воздух посинел от табачного дыма, а смех и шум так перепугали гекконов, что все они попрятались по щелям в потолке. В одном углу комнаты Теодор отважился снять свой пиджак и вместе с Лессом и некоторыми другими

развеселившимися гостями отплясывал каламасьяно. От их прыжков и топота пол ходил ходуном. Дворецкого, выпившего, должно быть, чуть больше, чем полагалось, очень увлек этот национальный танец. Отставив в сторону поднос, он тоже присоединился к танцующим и, несмотря на свой возраст, прыгал и стучал ногами не хуже других, так что за спиной у него взлетали фалды фрака. Мама улыбалась какой-то неестественной, отчаянной улыбкой. По одну сторону от нее сидел английский пастор, глядевший на наше веселье со все большим неодобрением, по другую — бельгийский консул, который подкручивал усы и без передышки щебетал над самым ее ухом. Из кухни вышел Спиро, чтобы посмотреть, куда подевался дворецкий, но тотчас же стал танцевать вместе со всеми каламасьяно. По комнате плавали воздушные шары, ударились о ноги танцующих и неожиданно лопались с оглушительным треском. На веранде Ларри старался разучить с греками несколько самых остроумных английских стихотворных шуток. Оба щенка устроились на ночлег в чьей-то шляпе. Пришел доктор Андручелли и стал извиняться перед мамой за опоздание.

— Это из-за жены, мадам. Она только что произвела на свет младенца, — сказал он с гордостью.

— О, поздравляю, доктор, — сказала мама. — Надо выпить за них.

Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс». День рождения Бриджит

Сатирический роман об одинокой женщине за тридцать, оформленный в виде дневника, не мог обойтись без дня рождения. Как и в романе Ремарка, этот праздник описан в книге с оттенком грусти, сожаления и даже паники — следствие предпраздничных хлопот. Бриджит собирается устроить вечеринку у себя дома, но все идет не так, планы рушатся, отчего настроение портится окончательно. В итоге друзья спасают положение, и все оказывается даже лучше, чем героиня ожидала.

20 марта, понедельник

126 фунтов, порций алкоголя — 4 (пытаюсь настроиться), сигарет — 27 (но сегодня последний день, завязываю), калорий — 2455.

Решила подать запеканку с бельгийским салатом из форели-гриль с цикорием, а ещё приготовить лардон из сыра «Рокфор» и жареную чоризо, чтобы добавить модный штрих (никогда раньше его не делала, но уверена, что это нетрудно). Затем пойдет суфле с ликером Гран-Марнье. Не могу дожидаться дня рождения. Думаю, я заслужу славу прекрасной хозяйки и кулинарки.

21 марта, вторник

126 фунтов, порций алкоголя — 9*, сигарет — 42*, калорий — 4295*. *Если перебрать не в день рождения, то когда?

19:55. Ах! Звонок! Я в трусиках и лифчике, волосы мокрые. Запеканка кругом на полу. Неожиданно начинаю ненавидеть гостей. Я два дня провела в адском труде, а теперь они все завалятся, требуя пищи, как голодные птенцы.

Хочется открыть дверь и крикнуть: «Убирайтесь все к чертовой матери!» 2:00. Я оч. взволнована. За дверью оказались Магда, Том, Шеззер и Джуд с бутылкой шампанского. Они предложили поторопиться и быстро собираться. Пока я сушила волосы и одевалась, они убралась на кухне и выбросили запеканку. Выяснилось, что Магда заказала большой стол в «192» и всех предупредила, чтобы ехали туда, а не ко мне, так что они ждут там с подарками и собираются оплатить мой обед. Магда пояснила, что у них возникло странное, почти призрачное шестое чувство, будто суфле с Гран-Марнье и жареный лардон не сработают. Обожаю своих друзей! Они гораздо лучше, чем большая турецкая семья с дурацкими шарфиками на головах.

Верно: на следующий год доукомплектую свои планы и прибавлю следующее:

Что я должна сделать

Прекратить нервничать и всего бояться.

Иллюстрация: кадр из фильма «Дарреллы»



Как Все начиналось: Майя Кучерская и Наталья Осипова о создании Creative Writing School

Раиса Ханукаева

Восемь лет назад с летнего интенсива началась история Creative Writing School. С тех пор маленькая школа для писателей превратилась в проект, ставший дверью в большую литературу для многих современных авторов. О том, как все начиналось, с какими сложностями пришлось столкнуться создателям и какие трансформации идут сейчас мы поговорили с основателями и руководителями литературных мастерских Creative Writing School Майей Кучерской и Натальей Осиповой.

Как родилась школа?

Наталья Осипова: В 2014 году мы с Майей Кучерской выступали на конференции в Таллине: она про Лескова, я — про Толстого. Там же был творческий вечер Майи. И я подумала, что неплохо было бы позвать ее в Киров, где я в то время жила. В этом городе я делала много разных культурных проектов, в основном с учеными. У нас побывали такие люди как Александр Владимирович Пятигорский, Лев Рубинштейн, Любовь Николаевна Киселева и Мариэтта Омаровна Чудакова. Мне казалось, что миссия человека в провинции — пытаться сделать культурный ландшафт богаче.

Своим гостям я тоже показывала разные достопримечательности Кирова и Слободского, когда-то богатого купеческого города, где стоит маленькая деревянная церковь, собранная без единого гвоздя. Туда я возила абсолютно всех, и Майя, приехавшая по моему приглашению, оказалась не исключением.

Всю дорогу до Слободского мы обсуждали школу креативного письма. Майя рассказывала, как нелепо то, что мы со своей огромной прекрасной литературной традицией не знаем элементарных инструментов, которые помогают увлечь читателя, сделать текст более интересным и мастеровитым, что такие школы есть везде, в любом университете существует курс creative writing по выбору, который проходят и физики, и математики. Майя горела этой идеей, мечтала открыть школу по creative writing в Высшей школе экономике. К тому моменту она уже была у тогдашнего ректора Вышки, и ректор не воспылал к этой идее. В отличие от меня!

Мне было интересно поработать над проектом в Москве. Я предложила Майе провести небольшую летнюю школу-интенсив, чтобы показать, как работают такие курсы, и самим посмотреть, есть ли на них спрос. Договорились на лето 2015 года, и весь 2014 год я ездила в Москву, встречалась с нашими будущими преподавателями: Виктором Сонькиным и Александрой Борисенко, Ириной Лукьяновой, Мариной Степновой, словом — всеми, кто стоял в самом начале процесса. Виктор Сонькин серьезно посоветовал сделать сайт. Я впечатлилась его решимостью: мы же собирались сделать совсем небольшой проект. Но сайт делать начали и на первом этапе потратились только на него. Я вела себя как Остап Бендер: всем говорила, что у нас будет прекрасная школа, вы получите гонорар, но пока этих денег нет, мы выплатим их позже.

Помните, каким был первый набор?

Наталья Осипова: К нам пришло 700 заявок. У нас не было никаких автоматизированных систем: я сама сидела за компьютером, разбирала адреса, делала рассылку, читала гневные отзывы. Успех мастерских был такой, что сразу стало понятно, насколько это востребовано. Многие, кто пришел к нам на первый интенсив, остались в команде CWS. У нас по сей день прекрасная атмосфера и чудесные отношения внутри команды. Это все было создано прямо на первом интенсиве людьми, которые случайно попали в эту орбиту.



Первая мастерская прозы прошла в 2015 году.

Чего боялись перед открытием?

Наталья Осипова: Мы размышляли, кто же все-таки придет к нам в школу. Ждали графоманов, уверенных, что они гении, и думали, что придется их мягко убеждать в необходимости оттачивать мастерство. А все случилось наоборот. Пришли умные, интеллигентные люди. Думаю, этим мы во многом обязаны названию Creative Writing School. Скорее всего, оно отсекло ту аудиторию, которая не говорила на английском.

Кстати, само название появилось случайно. Первым составом преподавателей мы придумывали разные варианты. Были, например, такие: «Про писателей» и «Бобры» (потому что Тургеневская библиотека находится в Бобровом переулке). А сегодняшний вариант предложила художник и арт-директор нашей школы Елена Авинова — так, по крайней мере, было понятно, про что школа.

Майя, вы часто говорили, что писать — это как танцевать: необязательно делать профессионально, можно просто для души. С этой идеей — писать лучше может каждый — школа и открылась. Изменилась ли концепция за эти 8 лет?

Майя Кучерская: Концепция школы осталась прежней: мы ждем всех, кому нравится сочинять и кто готов учиться делать это еще лучше. Но за годы пути мы успели довольно сильно подрасти. Главное, что случилось — через год-полтора учебы в CWS наши слушатели из «начинашек» начали превращаться в умелых авторов. Чтобы развиваться дальше, им нужны были новые курсы, для продвинутых. Так незаметно к курсу «Как писать рассказ» прибавился курс «Как писать повесть», а там и «Как писать роман». Мы начинали с того, что учили писать практически с нуля, но сейчас мы совсем в другой точке, к нам приходят даже авторы, написавшие уже несколько книг. И совершенно не скучают, находят много полезного для себя. Потому что творчество — это постоянный эксперимент: научился ты сочинять прозу, прошел курсы Ольги Славниковой, например, опубликовал несколько рассказов, но дальше... дальше хочется попробовать новое, и человек идет на драму к Дмитрию Данилову или на поэзию к Евгении Коробковой. Или на сценарий, или на курс по осознанному чтению... За эти годы у школы появилось много разных направлений.

Майя Кучерская:
«Творчество — это создание нового, служение гармонии, красоте и высоте, и значит, оно делает мир лучше, краше и человечнее»

Вспомните самый сложный этап вашей жизни в школе. И самый радостный.

Майя Кучерская: Наверное, все же самое начало. Самый первый год: лето 2015-го, когда в CWS хлынул огромный поток людей, а у нас просто не было мест. Ну, и еще мне было страшно: на тот момент я много лет преподавала, но литературу, отнюдь не

творческое письмо. Я прочитала несколько книг по творческому письму на английском, я сама написала сколько-то книг, и все-таки мне было очень страшно. Боялась, что не смогу, никто ничему не научится.

А самый радостный — длится. И дольше века длится день. Восемь, кстати, символ вечности. Своими глазами вижу: работает! Научиться писать, и писать хорошо — можно, благодаря «литературной учебе» в мире становится больше качественных, глубоких книг и меньше разрухи. Творчество — это создание нового, служение гармонии, красоте и высоте, и значит, оно делает мир лучше, краше и человечнее.

Были ли сложные моменты, когда хотелось все бросить и закрыть школу?

Наталья Осипова: В какой-то момент выяснилось, что это не маленький проектик, а большой бизнес. И от меня он требует переезда в Москву и закрытия бизнеса в Кирове. Это был очень сложный и болезненный процесс. Пришлось решать, как и чем жить дальше. Но CWS оказалась делом жизни, которому я себя полностью посвятила.

Если говорить о сегодняшнем дне, то каждый раз приходится принимать сложные решения о том, расширять ли команду, брать ли новых сотрудников по принципу их профессионализма, ведь первая команда была набрана из тех, кто просто любит книжки. Тогда мы получили коллектив филологов и литераторов, а с какого-то момента начали нанимать профессионалов.

Конечно, за восемь лет существования Creative Writing School мы все не раз понимали, что устали, выгорели, нам нужно пересобрать то, что не работает. Мы пережили несколько глобальных потрясений, которые потребовали новых решений. Было множество мелких и крупных проблем, которые надо было решать моментально. Вообще большой проект — стрессовая штука. И то, что внешне выглядит красивым сияющим шаром, на самом деле — тяжелый труд очень небольшой команды.

Все писатели-классики — самоучки.

Вам часто приходится слышать мнение о том, что литературному мастерству научить нельзя? Когда Нобелевскую премию получил Исигуро, их стало меньше?

Майя Кучерская: Это спор, который бессмысленно продолжать. Вот наша школа. И что в результате? Десятки, сотни публикаций. Рассказов, книг, пьес, сценариев. И несколько уже профессиональных авторов, когда-то начинавших со скромного базового онлайн-курса или парочки онлайн-«витаминов». Исигуро — да, это хороший пример. Он окончил магистратуру по creative writing в Университете Ист-Англии и в своей нобелевской речи не забыл поблагодарить Анжелу Картер, свою преподавательницу по творческому письму.

Наталья Осипова: Миф о том, что поэт — это одаренный свыше гений, имеет давнюю историю и идет от идеи Гегеля о том, что в поэтическом вдохновении человек способен познать сигнатуру периода, промысел Божий. Эта идея была воплощена практически во всей романтической литературе. И поскольку этот миф существует уже несколько веков, он очень устойчив.

Отчасти, как это ни парадоксально, он был поддержан в советское время Литинститутом — абсолютно советским конструктом, призванным из рабочих и крестьян сделать писателей. Идея провалилась, Литинститут закончило множество талантливых людей, но тех, кто его не закончил, а писал в эмиграции или просто не получил специального «писательского» образования, не меньше. Иосиф Бродский — это тот священный гений, который показал, что можно быть поэтом, не заканчивая институт и не имея корочки члена Союза писателей.

Мы не боремся с тезисом «Гениями рождаются, а не становятся». Более того, признаем, что гениальность — это некоторая аномалия, не подверженная воспитанию, ее нельзя в себе развить. Но мы точно знаем, что есть люди, которые могли бы стать гениями, но не стали, потому что не сложились

обстоятельства: кто-то вовремя не посоветовал отнести рассказ в литературный журнал, кто-то преградил путь сквозь толщу литературного процесса. И мысль о том, что нужны социальные писательские лифты, настолько не нова, что тут CWS просто оказалась в очевидной ситуации. Мы предлагаем проверить: а вдруг ты один из этих гениев? В худшем случае ты просто станешь хорошо писать, в лучшем — попадешь в большую литературу. И конечно, сегодняшние писатели, получившие Нобелевскую и другие премии, это не самоучки, а люди, прошедшие через какую-либо школу.

Кстати, Толстой в XIX веке, конечно, не мог нигде учиться, направления creative writing не было, но сам он для своих учеников такую школу сделал. Он собирал крестьянских детей, давал им темы и писал с ними. А еще мечтал сделать институт для учителей. В XIX веке всего 1% населения создавал культурный слой, и поле было «чистым», можно было не учиться письму. Сегодня, при высоком уровне конкуренции, эта система уже не работает. «Самоучке» просто очень сложно пробиться. Ему нужен трамплин и наставники. И эту функцию осуществляет не только CWS. Наша школа — лишь один из путей в литературу.

Наталья Осипова: «Сегодня CWS выполняет определенную психологическую функцию — люди пишут, чтобы не сойти с ума»

Что нужно знать и уметь современному писателю?

Майя Кучерская: Профессионал должен уметь все. Это как хороший актер: он не только слова своей роли искусно произнесет, он и спляшет, и споет, и колесом по сцене пройдет. И швец, и жнец. Так же и писатель. Он должен уметь и рассвет описать, и страстный диспут героев о добре и зле, и смерть, и секс, и первый поцелуй, и последний. Профессиональное писательство требует постоянной работы над собой, своей манерой, и неустанного расширения диапазона своего писательского голоса. Это невозможно без тренировок, без сотен исписанных страниц, но

и без чтения невозможно. Писателю необходимо много читать — и классику, и новейшие романы. Скажем, вот только что вышел новый роман Уэльбека. Как к нему ни относиться — живой классик. Современный писатель обязан его прочитать. Это элемент профессии.

В CWS как раз есть курсы по осознанному чтению с серьезным филологическим погружением в текст. Эти программы в помощь писателям?

Наталья Осипова: Да, писатель — это прежде всего внимательный читатель. Для того, чтобы понять, как работает литературный текст, надо много читать. Как классической литературы, так и современной. Нельзя прочесть современных авторов и не заглянуть, что же там делал Толстой или Джойс. Чтобы не изобретать велосипед, хорошо бы знать, какими приемами и каким инструментарием пользовались до тебя. Один путь — это писать в творческой мастерской под руководством современного писателя и пробовать приемы, которые предлагает тебе он. Второй — читать современную литературу или важную, центральную классику и смотреть, как это делали талантливые авторы раньше. Это вопрос грамотности: современный писатель — образованный и литературно грамотный человек.

Чем полезна дисциплина creative writing и всем ли она необходима?

Майя Кучерская: Работа с языком и смыслами — полезна и для души, и для разума. Описание предметов, явлений, лиц помогает понять других и себя. Кроме того, рассказывать в художественных образах, в красках и звуках о своей боли или потерях — целебно. Конечно, без литературного творчества можно обойтись, но с ним жизнь гораздо осмысленнее, легче, полнее.

Что еще нового CWS принесла в направление creative writing?

Наталья Осипова: Я думаю, что уникальна вся бизнес-модель, которую мы сделали. Естественно я анализировала мировые школы по creative writing, но поскольку у нас новая школа и мы оказались в сверхновой реальности, то подстраивались сразу под нее. Большинство существующих сейчас школ — учреждения старого образца. Они работают очно, чаще всего проводят разовые встречи, которые стоят гораздо дороже, чем у нас.

Те школы, которые появились в Москве после нас, так или иначе были связаны с CWS. Это были наши преподаватели — как Аня Старобинец, которая потом сделала свою небольшую школу, или Михаил Угаров, который сделал «анти-школу» в театре DOC. Либо же это были люди, которые на нас смотрели и брали нашу модель вплоть до консультирования у меня, как, например, «Школа литературных практик», с которой мы сейчас тесно сотрудничаем.

Мы придумали много уникальных форм и проектов. Например, бесплатные марафоны для желающих писать. Конечно, не мы изобрели формат марафонов, но мы разработали их программу так, чтобы за неделю раскрыть писательский навык. В последние три года уровень социальной нестабильности вырос в разы, гораздо выше стал уровень стресса, и мы поняли, что выполняем определенную психологическую функцию — люди пишут, чтобы не сойти с ума.

Очень много всего мы делаем бесплатно. У нас всегда есть льготные места, на которые мы проводим конкурс, есть места с большими скидками — мы даем возможность для талантливого человека попасть в нашу школу. Примерно 10-15% студентов учатся у нас бесплатно. Кажется, ни одна другая школа не может себе такого позволить.

CWS может похвастаться и составом преподавателей. Весь цвет современной русской литературы сотрудничает с нами. Мы проводим их авторские курсы, приглашаем на отдельные вебинары и мастер-классы. Совсем недавно мы провели онлайн-конференцию в честь 80-летнего юбилея Людмилы Улицкой, где был и творческий вечер писательницы, и доклады серьезных ученых по ее романам. Я

не знаю других школ, которые делают такие вещи.



Майя Кучерская и Татьяна Толстая на съемках одного из курсов CWS.

Что ждать от CWS в ближайшее время? Какие проекты готовятся?

Наталья Осипова: Мы активно готовимся к осени, уже открыли прием конкурсных заявок в осенние мастерские. Монтируем курс «Как начать писать» для самых начинающих, как раз для тех, кто думает: «Гений я или нет, стоит ли попробовать?». Готовим новый курс по вербатиму, который запустится ближе к зиме, если не весной.

Также мы будем развивать переводческое направление, которое за последние два года невероятно выросло. У нас уже есть переводчики с французского, испанского, немецкого и, разумеется, английского. В следующем сезоне будет еще и норвежский язык. Сохранить себя в глобальном мире, не растерять те связи, которые так долго и с таким трудом настраивались — один из вызовов даже не нашей маленькой школы, а всего русского языка. Поэтому, думаю, переводческое направление расцвело не просто так.

Мы совершенно точно и дальше будем проводить курсы осознанного чтения. Сейчас заканчивается курс чтения современных романов с Ольгой Брейнингер. Осенью будут новые программы. У нас запланирована поэтическая мастерская Евгении Коробковой.

Еще мы делаем несколько проектов в коллаборации, в частности запускаем проект вместе со Школой литературных практик. Это большой годовой курс академического уровня с серьезной нагрузкой и выходом в современные медиа.

Какой вы видите школу через несколько лет? Может быть, появится новое направление?

Майя Кучерская: Помолодевшей, с новыми преподавателями из выпускников

нашей литературной магистратуры в Вышке, выросшей, кстати, из CWS. Новое направление, конечно, появится, и связано оно будет с искусственным интеллектом. Сначала писатели будут учить его писать, а потом выступать с ним в соавторстве... Думаю, так и будет, я не шучу.

И еще CWS придет в корпорации, в крупные и маленькие компании. Не чтобы учить сотрудников копирайтингу, этого и без нас хватает, но чтобы учить их в слове и образе выражать себя, посредством слова отпускать на волю свои страхи, тревоги, формулировать свои идеи, понимать людей и мир, в общем, чтобы учить их быть умными, счастливыми и свободными.



От Уайльда до Розанова. Новые биографии писателей

Мария Фадеева

Биография — один из древнейших жанров литературы. В последнее время биографические книги все больше набирают популярность, ведь они дают не только возможность познакомиться с историей жизни известных людей, но и делают нас ближе к ним, показывают их живую, человеческую сторону. Ко Дню рождения CWS собрали новые биографии писателей, изданные за последний год.

«Беседы с Оскаром Уайльдом». Мерлин Холланд, Саймон Кэллоу

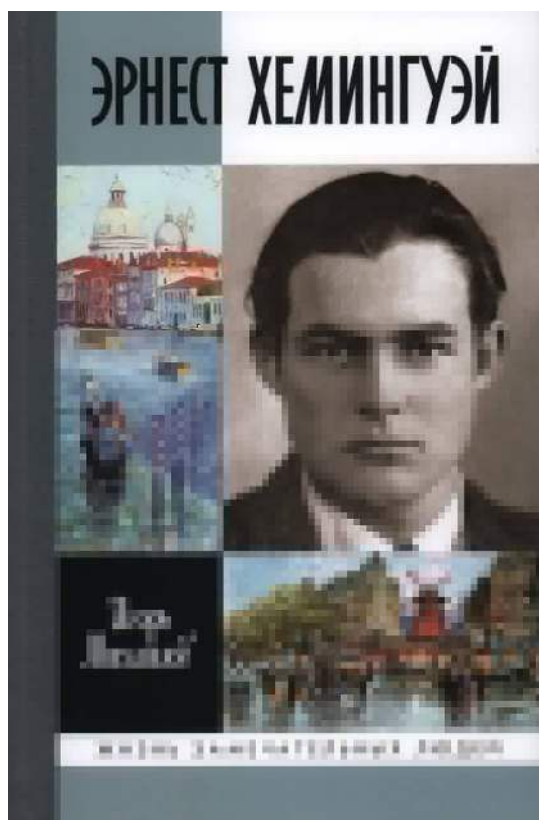
КоЛибри, 2022

Книга-воспоминание о величайшем английском драматурге, романисте, эссеисте и поэте — Оскаре Уайльде, который, помимо все прочего, был блестящим собеседником. Мерлин Холланд, внук и биограф писателя, воссоздал стиль общения своего деда с большой любовью и трепетом, разбавив монологи цитатами из его книг. Получился эффект живого общения — словно со страниц книги с вами беседует настоящий сэр Оскар Уайльд. В небольшом по объему тексте уместились самые важные и знаковые факты из жизни писателя. Знание о них поможет глубже понять его тексты и природу творчества, разобраться, как мыслил и работал Уайльд, где черпал вдохновение для своих произведений.

Сегодня, через сто лет после смерти, Оскару Уайльду все еще удается быть загадочным — пусть это будет последней данью королю парадоксов. Нас пленяет двойственность этого человека, смущают явные противоречия в его жизни и творчестве, мы хотим знать, какие из них были придуманы для пуцего эффекта, а какие были обязаны природному богатству его сложной и многогранной натуры.

«Эрнест Хемингуэй». Игорь Михайлов

Выдающийся американский писатель, лауреат Нобелевской премии 1954 года, Эрнест Хемингуэй был одним из самых известных зарубежных авторов, повлиявших на советского читателя. Он остается таким и в наше время — его книги переиздают, читают и обсуждают. О Хемингуэе много написано и сказано, но сложная история его жизни раскрыта не до конца, чем и привлекает внимание к его личности. Журналист и писатель Игорь Михайлов собрал в своей книге малоизвестные факты о писателе и его судьбе: об участии в войнах, о путешествиях, увлечениях, встречах и дружбе с выдающимися современниками — Скоттом Фицджеральдом, Гертрудой Стайн, Пабло Пикассо, Эзрой Паундом, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман и другими. Глубокое погружение в историю знакового автора XX века сможет удивить — и тех, кто мало знаком с Хемингуэем, и тех, кто, кажется, все о нем знает.



Даже живя в бедности, Хемингуэй отказывался писать ради денег: «Я знал, что должен написать роман, но эта задача казалась непосильной, раз мне с трудом давались даже абзацы, которые были выжимкой того, из чего делаются романы. Нужно было попробовать писать более длинные рассказы. Словно тренируясь к бегу на длинную дистанцию». Именно в Париже выходят его первые книги: «Три рассказа и десять стихотворений» и «В наше время». В 1925 году Хемингуэй неожиданно быстро написал свой первый роман «И восходит

солнце» (у нас более известный под названием «Фиеста»). А уже в сентябре 1929 года вышел роман «Прощай, оружие!». Через год тираж книги достиг 80 тысяч экземпляров. Это была уже настоящая слава.

«Жизнь Антона Чехова». Дональд Рейфилд

КоЛибри, 2023

Исчерпывающее жизнеописание признанного русского драматурга Антона Павловича Чехова. Известный британский литературовед и историк Дональд Рейфилд провел масштабное исследование, бережно собирая информацию о писателе из разных письменных источников: личных дневников, писем, воспоминаний очевидцев, газетных статей и заметок, черновиков и прочего. Автор подробно описал жизнь Чехова: годы его детства и юности, первую «пробу пера», литературную карьеру, последние дни его жизни. В книге много фактов, убедительно проиллюстрированных цитатами друзей и знакомых Антона Павловича и его личными изречениями. Текст выстроен по всем законам художественного письма — автор не дает оценку герою, оставляя читателю право самому составить впечатление о личности писателя.

американский писатель Максим Шраер проанализировал целый пласт неизвестных архивных материалов: дневниковые записи, журнальные заметки, а также личную переписку Бунина и Набокова. Его книга — летопись многолетних и сложных отношений между двумя литературными легендами, фоном для которых служит история русской эмиграции с 1920-х до 1970-х гг. Что стало причиной соперничества писателей, и как оно повлияло на современную русскую и американскую культуру? Качественно проработанный материал, внутренняя драматургия текста увлекут любого читателя — как профессиональных филологов, так и просто любителей литературы.

Мы знаем Антона Чехова как отца-основателя современного театра, в котором главенствует драматург, а не актер. Мы также признаем, что он внес в европейскую художественную прозу по-новому осмысленную неоднозначность, плотность текста и тонкую поэтичность. Из всех русских классиков он наиболее доступен и понятен, особенно для иностранцев, — как в книгах, так и на сцене. Он оставляет за читателем или зрителем право реагировать, как им заблагорассудится, и делать собственные выводы. Он не навязывает никакой философии. Однако Чехов столь же доступен, сколь и неуловим.

«Бунин и Набоков. Ученичество — мастерство — соперничество. 1917–1977». Максим Шраер

Альпина нон-фикшн, 2023

Судьбы литературных гениев Ивана Бунина и Владимира Набокова связаны не только языком, эпохой, масштабом таланта и схожим жизненным опытом. Многие годы между писателями развивался конфликт, о котором знают немногие. Русско-

Набокова и Бунина отталкивало друг от друга центристское желание творческих личностей бежать прочь из страны, несущей насилие своему народу и другим народам, но притягивала друг к другу центробежная тяга эмигрантов-изгнанников к самому недостижимому сердцу России. В каком-то смысле это и есть главный предмет их взаимной любви и ревности.

«Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий». Валерий Шубинский

Блестящий поэт и литературный критик XX века Владислав Ходасевич прожил непростую жизнь. Как и многие его современники, он прошел путь от принятия революции до ее отрицания, а после — был вынужден бежать из страны. Кроме поэтических текстов, переводов, статей и эссе, Ходасевич писал мемуары. Историк литературы Валерий Шубинский объединил в книге как опубликованные, так и архивные материалы об авторе, написанные им самим или его родными, друзьями и коллегами. История жизни поэта сегодня выглядит актуально, удивительно точно совпадая с нашей реальностью. Легкий стиль текста, сюжетная основа и мастерское владение материалом делают работу Шубинского интересной и понятной простому читателю.

Человек редко правильно понимает свою эпоху и свое поколение: завершители кажутся себе самим зачинателями, дни расцвета видятся временем провинциальным и «второсортным» и наоборот. Вот и Ходасевичу казалось, что он опоздал родиться и не успел стать частью великой символистской плеяды. В действительности он принадлежал к плеяде куда более яркой, да и сам был гораздо значительнее любого из русских поэтов-символистов, кроме Александра Блока и Иннокентия Анненского. Он родился как раз

вовремя: в один год с Николаем Гумилевым, Борисом Эйхенбаумом, Михаилом Лозинским. Николай Клюев и Велимир Хлебников были немного старше его, «великая четверка» — на несколько лет моложе. Расцвет его творчества совпал с расцветом русской поэзии, с необыкновенным интересом к ней, которому не могли помешать даже грандиозные социальные потрясения эпохи.

«Розанов». Алексей Варламов

Молодая Гвардия, 2022

История жизни одной из самых противоречивых и сложных фигур Серебряного века. Василий Розанов известен как русский религиозный философ и писатель-импрессионист, создавший новую литературную форму. Он написал более 20 книг, множество философских статей. При этом его личность и образ мышления остаются загадкой и вызывают споры. В нем уживались консерватор, патриот и анархист, клерикал и христородец, юдофоб, влюбленный во все еврейское, смелый журналист и критик. Прожив непростую жизнь, полную побед и поражений, он не утратил чувство стиля и умел подобрать точные слова, которыми цепляют его тексты. Писатель Алексей Варламов представил читателю честный портрет своего героя — не скрывая острых и трудных вопросов его биографии, а предлагая искать ответы на них вместе.

Нет в русской литературе другого писателя, который вызывал бы столько неприязни и раздражения у самых разных людей, как герой этой книги. И при жизни, и после смерти. Известно резкое письмо Леонида Андреева Горькому, где он называет Розанова «ничтожным, грязным и отвратительным человеком» и сравнивает его с «шелудивой и безнадежно погибшей в скотстве собакой», в которую жалко бросить чистым камнем. «Ведь это же гадина, форменная гадина, отвратительно-продажная, подло-предательская, фарисейски-лицемерная», – писал Семен Венгеров Алексею Ремизову. «Редкий талант отвратительнее его», – отзывался о Розанове юный Александр Блок. Однако при этом никто и никогда из розановских недругов его талант сомнению не подвергал, и если продолжить, например, цитату из письма Венгерова, то и он признавал, что «Розанов писал — почти гениально».



Сатира, политика и русская классика: к истории литературных журналов

Раиса Ханукаева

«Много условий соединилось в русской жизни для того, чтобы выработать тот тип журналиста, каким он сложился у нас, — писал Владимир Короленко. — <...> За отсутствием парламентской и иной трибуны, с которой русское общество могло бы принимать участие “деятельным словом” в судьбах нашей родины, — у нас, естественно, в силу самой логики вещей сложился особый характер общественно-политической прессы, ярче всего выражаемый журналами».

Более двухсот лет одни и те же журналы были площадкой для политических дискуссий и литературных опытов. Мы решили разобраться, как это получилось, к чему привело и в каком состоянии литературные журналы сегодня.

«Трутень» против Екатерины

Периодическая пресса появилась в России в эпоху Петра I, первый русский литературный журнал — «Трудолюбивая пчела» под руководством Александра Сумарокова — увидел свет в 1759 году. Но годом рождения литературных журналов как явления часто называют 1769-й, когда Екатерина II начала издавать «Всякую всячину». Современники прекрасно понимали, кто стоит за выходом издания, но открыто об этом не говорилось, и официально факт причастности императрицы к журналу был признан только XIX веке.

«Всякая всячина» (не удивляйтесь, это и название журнала, и маска издателя) обратилась к публике с призывом поддержать ее начинание и назвала себя «прабабкой» «будущих внучат». Разумеется, Екатерина заигрывала со своей свободолюбивой

оппозицией, призывая издавать собственные журналы, но оставляя за собой право старшинства, а значит, в какой-то мере и законодательницы мод.

Результат получился обратным. В том же году появилось целых восемь сатирических изданий, среди которых минимум три оказались резко оппозиционными. Писатель, переводчик и журналист Федор Эсмин открыл «Адскую почту, или Переписку хромоногого беса с кривым» и излагал свои идеи под масками двух мифологических персонажей. Журнал «Смесь» Луки Сичкарева на две трети состоял из переводов французских просветителей. Издатель спрятался за маской простодушного обывателя и в первом же листке заявил, что взялся за журнал «набравшись чужих мыслей и видя много периодических сочинений». Но недвусмысленно осуждал «Всячину» в ее споре с третьим и самым известным сатирическим журналом — «Трутнем».

Один из выпусков журнала «Трутень». Фото с сайта аукционного дома «Империя»

В конце XVIII столетия «Трутень» под редакцией просветителя, критика и журналиста Николая Новикова был ярчайшим явлением литературы и оппозиционной прессы в одном лице. Уже само название способно было вывести императрицу из себя. Первое его значение пояснил сам издатель. Покаявшись в своей неизлечимой лени, он заявил, что взялся за издательское дело только

для того, чтобы самому ничего не писать, а лишь издавать то, что сделали другие. Второй, якобы скрытый, смысл легко читается в эпиграфе к журналу: «Они работают, а вы их труд ядите».

Новиков яростно критиковал крепостничество, причем не сам строй вообще, а именно жестоких и жадных помещиков. В итоге между «Трутнем» и «Всякой всячиной» разгорелся жаркий спор. На суровые нападки Новикова в адрес дворян Екатерина, совершенно не желавшая подвергать своих высокопоставленных подданных лишней критике, опубликовала письмо некоего Афиногена Перочинова, которое заканчивается перечислением некоторых «основных» правил писателя-сатирика:

«1) Никогда не называть слабости пороком. 2) Хранить во всех случаях человеколюбие. 3) Не думать, чтоб людей совершенных найти можно было, и для того 4) Просить бога, чтоб нам дал дух кротости и снисхождения».

Последняя приписка была сделана уже рукой издателя, который (которая!) не скрывал своего раздражения: *«Я хочу... предложить пятое правило, а именно, чтобы впредь о том никому не рассуждать, чего кто не смыслит».*

Остановило ли это Новикова? Нет! Больше года он критиковал Екатерину и ее «Всячину» за то, что журнал не справляется с задачей сатирического издания, за пустословие, неумение обращаться с русским языком (удар в самое сердце немки Екатерины) и прочие недостатки.

«Не знаю, — замечает он в одном из выпусков, — почему она [«Всякая всячина»] мое письмо называет ругательством? Ругательство есть брань, гнусными словами выраженная, но в моем прежнем письме, которое заскребло по сердцу сей пожилой даме [намек на возраст Екатерины, которой было только сорок лет], нет ни кнутов, ни виселиц [намек на стиль правления], ни прочих слуху противных речей, которые в издании ее находятся».

«Трутень» не выдержал борьбы с правительством и был закрыт в апреле 1770 года. После этого Новиков дважды пытался

наладить издание журналов. В «Живописце» он продолжил дело «Трутня», привлекая к сотрудничеству Радищева и Фонвизина, а в «Кошельке», появившемся во время пугачевского восстания, обратил колкость своей сатиры на галломанию. Причем издатель вовсе не призывал отвернуться от французского просвещения, но ратовал за то, чтобы «выскородные невежи» перестали слепо следовать моде и тратить безумные деньги на французские безделушки и гувернеров, которые на родине были каторжниками и авантюристами.

В последней трети столетия сатира, направленная на моду и нравы, стала единственной безопасной формой бытования журналов. К ней, например, прибежал Иван Крылов в «Почте духов», выходящей в 1789 году. А тремя годами позже баснописец взялся за издание «Зритель», в котором публиковались как оригинальные произведения, так и переводы, но к сатире это не имело уже никакого отношения.

Николай Карамзин (портрет кисти Василия Тропинина, Третьяковская галерея) и его «Московский журнал» (Иллюстрация с сайта аукционного дома «Империя»).

В начале 90-х годов XVIII века свет увидел и сентименталистский «Московский журнал» Николая Карамзина, где впервые в истории русских литературных журналов появились разделы театральных и литературных рецензий.

Скажи мне, где ты публикуешься, и я скажу кто ты

Карамзин задал новый тренд, а спустя десять лет после основания «Московского журнала» он же стал редактором «Вестника Европы», первого в России политического издания, в котором литература тоже играла не последнюю роль. В полемике с «Вестником» был создан «Сын отечества», который, несмотря на название, отличался весьма прогрессивными взглядами и к 1816 году стал площадкой для публикаций будущих декабристов и людей, разделяющих их взгляды. Здесь выходили произведения Жуковского, Пушкина, Грибоедова и Бестужева.

Вообще в первой трети XIX века многие журналы были частными и ангажированными. Например, свои издания были у либерального Общества любителей словесности, в которое входили Федор Глинка, Дельвиг, Кюхельбекер и Рылеев. Свои — у консервативного общества «Беседа любителей русского слова».

Нередко журналы меняли «направление» со сменой редактора. Так случилось с пушкинским «Современником», который до 1846 года редактировал Плетнев, а в 1847–1866 — Некрасов. Под руководством последнего журнал стал центром радикальной революционной критики и публицистики. «Отечественные записки», славные статьями Белинского, после его ухода «отклонились» в «правую сторону», впрочем, под руководством все того же Некрасова и Салтыкова-Щедрина вернулись на прежние «левые» рельсы. Несколько раз из стороны в сторону мотало долгоживущего «Сына отечества».

Эра «толстяков»

В 20-х годах XIX столетия в моду вошли альманахи, например «Полярная звезда» Рылеева и Бестужева, «Мнемозина» Одоевского и Кюхельбекера или «Северные цветы» Дельвига и Сомова — и другие. Они были настолько популярны, что Пушкин в 1827 году писал: *«Альманахи сделались представителями нашей словесности. По ним со временем станут судить о её движении и успехах»*.

Белинский позднее называл это время «альманачным периодом». Но в то же самое время на сцену выходит и совершенно иной

тип издания — толстый журнал. Первым «толстяком» был «Московский телеграф» Полевого, за ним последовал «Московский вестник» Погодина, ставший печатным органом любомудров. Кстати, именно из-за неудавшегося сотрудничества Пушкина с «Вестником» «архивны юноши» (любомудры) в «Евгении Онегине» на Таню «чопорно глядят»; в черновиках романа (в эпоху дружбы поэта с «юношами») они глядели «издали» и говорили «о милой деве» с восторгом.

«Альманахи сделались представителями нашей словесности. По ним со временем станут судить о её движении и успехах»

Накануне великих реформ Александра II за толстыми литературными журналами окончательно закрепились «амплуа», определившиеся взглядами и партийной ориентацией издателей. У нигилистов было «Русское слово» и «Дело», рупором славянофилов стали погодинский «Москвитянин» и «Русская беседа» Кошелева и Аксакова, Достоевский редактировал почвеннические журналы «Время» и «Эпоха».

Умеренно либеральную позицию занимала редакция «Русского вестника» под управлением Каткова. Во второй половине 50-х это издание стало одним из самых уважаемых в стране. Здесь публиковались Салтыков-Щедрин и Сергей Аксаков, Гончаров и Островский. Именно тут печатались главы из наиболее известных произведений Льва Толстого («Семейное счастье», «Казачья», «Война и мир» и «Анна Каренина»), Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы»), Тургенева («Накануне», «Отцы и дети», «Дым»), Лескова («На ножах», «Соборяне», «Запечатленный ангел») и многих других писателей. Интересно, что в «Русском вестнике» было достаточно много женских имен. Это подтолкнуло юную писательницу Екатерину Славцову-Камскую отправить свой первый рассказ именно в «Вестник».

XX век. Похороны толстого журнала. Или нет?

Сегодня мы часто слышим, что литературные «толстяки» увядают. Давайте вспомним, что однажды их уже хоронили. В самом конце XIX — начале XX века рынок захватили альманахи, и Блок, подводя итоги литературного года в «Золотом руне», писал:

«Можно указать на то, что сборники и альманахи затопили книжный рынок и явно должны скоро совсем сменить умирающие “толстые” журналы».

Деление по политическим кружкам и направлениям, которое когда-то вывело «толстяков» на первое место, теперь стало для них ловушкой. Сборники же, по мнению Зинаиды Гиппиус, действовали по принципу «Вне партий! Вне направлений! Каждый сам за себя!», активно сотрудничая с молодыми писателями. Тут редакция толстых журналов стоит отдать должное: они поняли запрос рынка и быстро под него адаптировались.

«Старый генеральский журнал “Вестник Европы”, который все время закрывался в свой футляр и застегивался на все пуговицы, — отмечал рецензент «Живого слова», — теперь почувствовал потребность в освежении и начал давать свои страницы молодым литературным силам... И дезинфекцию эту спертго литературного воздуха мы можем заметить в других толстых журналах».

Первые советские толстые журналы «Красная новь» и «Молодая гвардия».

Время «упадка» длилось недолго, и вплоть до 1917 года литературные журналы, а с ними и журналы об искусстве, истории и науках, чувствовали себя весьма неплохо.

Приход советской власти резко изменил сам литературный процесс, но, как ни странно,

не положение литературных журналов. Все они попали под надзор правительства, но по-прежнему оставались «входным окном» для начинающих авторов и основной площадкой для короткой прозы уже известных писателей. На их появление и закрытие теперь влиял только политический курс. Так, меняя редакторов, тиражи и соотношение переводов и русскоязычной литературы, до 1943 года существовал журнал «Интернациональная литература» со своими версиями на французском, английском и немецком языках. Первым толстым журналом стала «Красная новь», где публиковались Горький, Маяковский и Есенин. В 20-е годы возникли «Молодая гвардия», «Новый мир», «Звезда» и многие другие издания. С 1931 года начал выходить журнал «Знамя».

Новым этапом в истории российских толстых журналов стал период оттепели, когда появились «Иностранная литература», «Дружба народов», «Юность», «Наш современник» и многие другие. Эти площадки, основные для авторов-шестидесятников, оказались самыми живыми и, пожалуй, неожиданно свободными печатными органами СССР.

Литературные журналы сегодня

В 90-х на короткое время литературные журналы снова стали очень востребованы: в страну вернулась эмигрантская литература, в печати появились ранее запрещенные тексты. Все это быстрее и проще оказалось опубликовать именно в литературных журналах.

Сегодня, с развитием соцсетей, книжного бизнеса и удешевлением процесса книгоиздания, снова говорят о том, что эра литературных журналов, особенно «толстяков», закончена. К счастью, не все так плохо.

«Да, золотой век толстой литературной периодики в ее бумажном варианте миновал, — уверена редактор отдела критики и библиографии журнала «Знамя», а также редактор отдела философии и культурологии журнала «Знание — сила» Ольга Балла-Гертман. — Скажем, у “Знамени” тираж 1000

экземпляров, у “Нового мира” — 1600 (это — то, что указано в выходных данных). Понятно, что всего этого исчезающе мало даже для Москвы, но, по-моему, печаль невелика, потому что существуют электронные версии, которые во многих отношениях даже удобнее и не знают границ. Электронная и бумажная версии вообще-то в точности совпадают, — по крайней мере, в тех журналах, с которыми работаю я, — поскольку первая из них затем и делается, чтобы представлять вторую».

Литературные журналы — хроника времени, коллективный дневник его, рефлексия проживаемого.

По словам Ольги Балла-Гертман, есть журналы, которые ей хотелось бы видеть в бумажном варианте, потому что электронное «хрупко и уязвимо». Но увы, выпуск таких изданий — слишком дорогое удовольствие.

Из плюсов остается то, что электронные версии вообще и Журнальный зал в частности помогают увеличивать аудиторию, так как условные «московские» журналы теперь можно читать из любой точки мира. А желающих приобщиться к литературным «толстякам» достаточно и по сей день:

«Я могу предполагать, что основные читатели “толстой” периодики — те, кто успел сформироваться в эпоху расцвета литературных журналов, то есть до экспансии электронной прессы в частности и интернета вообще, и в чьих умах, соответственно, сохранилось представление об авторитетности “толстожурнального” слова, о том, что если что-то представлено на их страницах, оно точно достойно внимания. Вполне вероятно, что у росших в эпоху

электронного чтения это не так, они в пору своего формирования другое читали. (То есть моё поколение, для которого в молодости чтение взахлеб перестроечной прессы стало одним из решающих опытов, — ещё да, но нам уже за пятьдесят, а вот о тех, кто лет на десять младше, кому теперь за сорок, я уже не уверена.) Непосредственный же опыт — с неминуемой его неполнотой — свидетельствует о том, что, например, журнал “Знамя” молодые — те, кому сейчас от 20 до 30 лет, — очень даже читают. Правда, это пишущие, литературные молодые, которые рады публиковаться на наших страницах и считают (мне хочется надеяться, обоснованно), что публикация в том же “Знамени” — это свидетельство некоторого признания и показатель некоторого достигнутого автором уровня».

Если говорить о задачах качественных литературных журналов, то они остаются прежними и по сей день: поиск новых авторов и создание площадки для дискуссии.

«Я бы сказала, что литературные журналы — также и хроника времени, коллективный дневник его, рефлексия проживаемого, — подводит итог Ольга Балла-Гертман. — С этой точки зрения особенно важны критические отделы журналов, свидетельствующие не только о том, что сегодня пишется, но и о том, как написанное читается, какие вызывает реакции, вопросы, каким ожиданиям соответствует или не соответствует. А еще — создание (неминуемо субъективной, конечно) картины актуального литературного и, шире, культурного процесса. “Знамя”, например, всегда радо материалам о художественных выставках, фильмах, театральных спектаклях, фестивалях, о разного рода культурных проектах — скажем, о циклах лекций, посвящённых истории культуры, — и даже о научных конференциях; я бы сказала, собрание разрозненного в некоторую хоть предварительную цельность».

Cum amore

Юлия Васильева

Латынь Ирка любила за логическую стройность, стабильность и надежность. Один раз понял — навсегда овладел. Ничего не поменяется. Латынь, давно созрев, разбросала семена, проросла и бурно цветет в настоящем. Читай, слушай и радуйся, узнавая латинские следы в родном и неродных языках. Виртуозно вставляя словечки, которые всегда будут к месту, потому что их значение тебе понятно. В общем, латынь она любила! Но не 31 декабря! Зачет назначили на три часа дня. Зачет не страшный, сдавали все, даже если не ходили на занятия. Ужасно раздражало то, что назначен он был на 31 декабря. Первый курс, первый Новый год не дома с родителями, а с друзьями у Машки. А у Машки даже елки еще не было! Дел невпроворот, а тут зачет. Третий час нестройный хор читал крылатые выражения и спрягал глаголы в плюсквамперфектум. Ирка в нетерпении ерзала на стуле.

Алла Леонидовна тусклая и бесформенная в извечной серой юбке и вытянутой серой кофте, в стоптанных мужских ботинках, такая же законсервированная, как ее латынь, смотрела с отрешенной улыбкой сквозь толстые стекла безобразных очков. Не замечая, как вынужденное усердие к занятию латынью вот-вот будет сметено цунами праздничного настроения и предновогоднего ажиотажа, в котором нет места мертвому языку.

— Алла Леонидовна, у вас елка есть? — не вытерпела Ирка.

— Простите? — Алла Леонидовна, беспомощно щурясь, окинула взглядом аудиторию. — Ира, вы хотите перевести? Пожалуйста, замечательный фрагмент. Мы вас слушаем.

— Алла Леонидовна, сегодня Новый год.

— Ира, не отвлекайтесь. Мы скоро закончим.

«Нет у нее никакой елки. Новый год она с Вергилием встречать будет, — зло прошипела Ирка Машке на ухо. — Вот ведь мышь серая — сама не празднует и другим не дает».

«Новый год», — с тоской думала Алла Леонидовна, представив свою перенаселенную коммуналку, почти круглосуточно гудевшую как улей. С соседями Алла Леонидовна держала дистанцию, вернее, соседи ее просто не замечали, кроме Валентины и Анатолия. Валентина — добрая, но громкая, заводящаяся по любому поводу, — работала буфетчицей в трамвайном парке. Подворовывала харчи и сбывала соседям по-честному, то есть по прейскуранту. Исключительно благодаря Валентине Алла Леонидовна питалась регулярно и полноценно. Вот и к Новому году Валентина принесла праздничный набор. «Как вы это все достаете, уму непостижимо», — приговаривала Алла Леонидовна, протягивая деньги. Муж Валентины, Толян, — Алла Леонидовна обращалась к нему исключительно на «вы»: Анатолий, — щедушный мужичонка, трудился сантехником в домоуправлении и, считая себя представителем власти, настойчиво диктовал условия миропорядка в квартире. «Так-растак, едрить твою, Ленидна, — орал Анатолий, в очередной раз застав квартирному кота у Аллы Леонидовны. — Почему эта срань опять на диване? Выпусти дрянь, сколько раз говорено. Зачем кормим? Чтобы крыс ловил. Ни бельмеса не понимаешь, а еще профессорша, блин». Алла Леонидовна, морщилась, хватала кота и выпускала в коридор. Валя и Анатолий, как только вселились, сразу взяли шефство над Аллой Леонидовной. Валя даже в дни уборки по графику Аллы Леонидовны сама мыла общие места двухкухонной и одноузелной квартиры на двадцать комнат. Алла Леонидовна занималась с их сыном Петькой всеми науками сразу. С удовольствием листала в университетской библиотеке книжки по занимательной математике и астрономии и приносила домой для Петьки. Вечерами часа на два маленькая комнатка Аллы Леонидовны превращалась в храм наук и искусств. Петька сопел над очередной теоремой, а Анатолий брал с полки тяжелый альбом репродукций, раскрывал в любом месте и на несколько минут замирал. Потом щелкал в восхищении

языком, повторяя грязным пальцем очертания полногрудой музы художника. На Новый год Валентина варила студень. Приносила, начесноченный, в эмалированной с черными сколами по краям миске часов в одиннадцать. Толян, по случаю праздника в засаленном пиджаке поверх застиранной майки, доставал из кармана чекушку водки: «Ну, где твой хрусталь, давай плесну, старый год проводим». Алла Леонидовна поначалу отбивалась, потом смирилась. Вот собственно и весь праздник. «Ничего, ничего, — успокаивала себя Алла Леонидовна. — Немного потерпеть». Проводит соседей, Алла Леонидовна ложилась с книжкой, не отвлекаясь на пьяное веселье празднующих соседей, и засыпала часов в пять утра под дребезжание первого трамвая.

«Ничего, ничего. Немного потерпеть». Алла Леонидовна, окинула взглядом студентов, которые терпеть больше не могли: «Все молодцы, давайте зачетки». Ирка с Машкой первыми оказались у стола. Потом скатились по лестнице, на ходу натягивая шапки, нырнули под арку и выскочили на Плеханова к Казанскому собору. У собора свои последние минуты доживал елочный базар. Одинокий мужик в тулупе и валенках возился с никем не выбранной елкой.

— Что, девчонки, берем?

— Берем, только она очень большая.

— Исправим, показывайте, где рубить.

Мужик укоротил елку на полметра. Ирка наклонилась и подобрала несколько упавших веток. Ветки были пружинистые, сочно-темно-зеленые, с восковым налетом, пахли снегом,

смолой, уютом и надеждами. «Маш, давай ты сама. Я зачетку забыла». — Ирка пустилась обратно.

— Алла Леонидовна, вот. Не елка, но все же. — Ирка сделала шаг и протянула хвойный букет. — С Новым годом!

Алла Леонидовна шла по украшенному цветными лампочками Невскому, потом свернула направо, под арку Главного штаба, на пустынную, дремлющую в ожидании бурного празднования Дворцовую, дальше через мост на Стрелку. Еще один мост — и вот она, ее родная Петроградская сторона. Ветки она поставит в вазу и украсит чудом пережившими блокаду игрушками. Их всего две. Картонные белочка и мишка, покрытые бронзовой краской, облупившейся с годами. Белочка и мишка, завернутые в пергаментную бумагу, лежали, забытые на много лет, в обувной коробке на антресолях шкафа. После смерти мамы Алла никогда их не доставала, никогда не наряжала елку. Достанет богемский хрусталь. Проводит с Валентиной и Анатолием уходящий год, который так щедро одарил последними своими часами. Слезы смешивались с тающими на щеках снежинками, смывая слой за слоем серый налет безнадежности, проникая внутрь, разбавляли концентрированную тоску. Вдруг сильно захотелось Нового года, веселого и шумного.

Ирка тряслась в полупустом трамвае, машинально водила пальцем по заиндевевшему окну. Получилось сердце. Было тепло и грустно. Хотелось ехать так и ехать. И мечтать: «Пусть всегда будут мама и папа, пусть не будет одинока Алла Леонидовна и пусть будет мир во всем мире».

Альбом

Анастасия Князева

— Это Тамара Петровна, моя первая учительница.

Пожилая женщина, чей возраст выдавали разве что морщины в уголках глаз, очень любила свою работу и ходила на неё как на праздник: всегда нарядная, на каблуках, с красивой причёской и ухоженными ногтями. Стройная, бодрая, жизнерадостная, она подавала пример всему коллективу и вызывала неподдельное восхищение молодых, но уже невероятно уставших от неблагодарного преподавательского труда коллег. Секрет Тамары Петровны крылся в уверенности в себе и в своей значимости: за долгие годы профессиональной деятельности она успела доказать всем — и себе в первую очередь, — что она отличный специалист, который, несмотря ни на какие трудности, найдёт правильное решение и поможет остальным также к нему прийти. Её уважали и дети, и родители, и подчинённые, и руководители. И она каждый день дарила им возможность узнать что-то новое.

— Это Вова. Мы с ним учились в университете.

Вова принципиально не отмечает дни рождения и даже поздравления не принимает. Когда ему было одиннадцать лет, его родители разошлись. Отец завёл новую семью, с сыном общался редко и скорее из чувства долга. Иногда мама Вовы настаивала, чтобы отец проводил весь день с сыном: они ходили в зоопарк, или в кафе, или в кино. Мальчик очень ждал этих дней, наверное, даже больше, чем праздников.

Через пару лет отцу выпало провести для Вовы день рождения (они с мамой договорились делать это по очереди). В назначенный день Вовин папа был очень взбудоражен, вот только к Вова это не имело

никакого отношения: буквально за месяц до этого у него появился новый ребёнок — от второй жены. Малыш был желанный и, естественно, занимал все мысли счастливого родителя. Тот то и дело смотрел на часы, проверял телефон, и Вова — уже юноша — всё видел и понимал: отцу не до его дня рождения. Повзрослевший ребёнок улыбнулся и сказал, что неважно себя чувствует и хочет вернуться домой пораньше.

Маме он заявил, что больше не хочет отмечать дни рождения. Тогда она стала устраивать спонтанные праздники в совершенно случайные дни — так Вова понял, что важен не повод, а желание.

— Это Танечка, моя племянка. Это её первый Новый год.

Малютка в красивом платьице рядом с наряженной ёлкой улыбается во весь свой ещё беззубый рот. Она не знает, что сегодня за день, и не понимает, в честь чего в их маленькой квартирке собралось столько людей. Но все радуются — радуется и она. Этот день, как и любой другой, был для неё праздником жизни: ежедневные открытия, к которым малышка добиралась сквозь обёртку обыденности, было так сладко обсасывать и изучать со всех сторон! События вокруг неё взрывались удивительными фейерверками, которыми важно успеть насладиться в отведённый им краткий миг. Каждый день в её ещё маленькой жизни был особенным.

Я закрыла свой фотоальбом и ласково посмотрела на бледную худую старушку в кресле-каталке. Юлия Афанасьевна страдает от деменции — она не помнит, какой сейчас год,

месяц и день. Дети её умерли, а у внуков уже свои дети, и заботиться о ней некогда. Так эта очаровательная бабушка и очутилась в доме престарелых, где я работаю волонтером. У неё была длинная жизнь, достаточно, чтобы ею пресытиться. Тем не менее она продолжает вкушать каждый день, как единственный в

своём роде деликатес. Возможно, это лето станет для неё последним, поэтому я планирую отмечать её день рождения не по паспорту — десятого июля, — а каждый день, с первого июня до тридцать первого августа. И пусть она станет абсолютной рекордсменкой по долголетию!

Везунчик Виталия

Елена Антар

В девяностые мы верили в чудеса, потому что больше верить было не во что. Цвет девяностых — серый. Погода — дождь. Настроение — мрак. И нечего есть, можно только пить — получку снова выдали водкой. Вранье, что выбора не было. Он был. Можно пить водку, а можно — воду из-под крана. Цельный суффикс «к» в твоём распоряжении.

Когда будешь выбирать, не смотри на кота. Он нынче не кот — он рысь, и он на охоте. Он хочет тебя сожрать, а ты в это время думаешь, не сожрать ли его, ведь если лить суффикс «к» в пустоту, то слишком быстро развезет. И все же по сравнению с другими ты везунчик, потому что, раз тебе выдают получку водкой, значит, у тебя есть работа. А значит, есть надежда. А значит, кот еще поживет.

Письмо пришло 25 июля. Большое, необычное, совсем не похожее на те маленькие, грязные письма, которые приходили раньше. Теперь письма бывают редко, а открыток и вовсе нет. Последнюю они получили лет пять назад — от тети Тамары из Вологды. Тетя Тамара поздравляла Нину, жену Виталия, с Восьмым марта, при этом желала здоровья, счастья и долгих лет жизни им обоим. Пока сбывалось только последнее: долгих пять лет они с Ниной хотя бы жили. В реалиях девяностых и это было достижением, так везло не всем. Как, например, не повезло теще зажиточного Афанасьева из соседнего подъезда, которого в третий раз взломали и, по слухам, вынесли золото, американские кроссовки и долларовую записку. Теща, на свою беду, оказалась дома и сопротивлялась, за что поплатилась головой (врачи говорят, прогноз неблагоприятный). Долгих пять лет они ждали счастья — наивные утята девяностых. Здоровье? Его, Виталино, здоровье осталось на заводе, ее, Нинино, — в школе, где она трудилась за пищевые талончики, которые можно было отоварить только в одном магазине города. Это была

коллективная победа, добытая в бескомпромиссной пятидневной забастовке.

Письмо принесла домой Нина и протянула Витале:

— Вот.

Он чинил Нинины туфли, поэтому только бросил на письмо быстрый взгляд:

— Это что?

— Тебе.

Оторвавшись от туфель, Виталия аккуратно взял письмо. «Игнатову Виталию Сергеевичу». И правда, ему. Написано огромными буквами, будто для слепого. Виталия пощупал письмо — пухлое. Осторожно, стараясь не порвать ярких букв, Виталия вскрыл конверт. Изнутри посыпались глянцевые бумажки.

— Нин, это чего? — спросил Виталия, поднимая один из листков и неловко разворачивая его.

«Ваш выигрыш — автомобиль!» — захлебывалась в истерике листовка. Нина взяла другую бумажку. Там в фас и профиль, как преступник в американских фильмах, позировала иномарка. «Тип коробки передач», «максимальная скорость», «подогрев передних сидений» — буквы плясали, складываясь в пьяные слова.

Следующая бумажка искушала: «Сотри меня». Нина неловко ковырнула пальцем серебряную полосу и передала листок Витале.

— «Сотрите защитный слой, чтобы узнать цвет вашего авто», — почти по слогам

прочитал Виталья и поскреб ногтем серебряное покрытие.

Под ним оказалось изображение машины самого волшебного золотистого цвета.

— Шампань, — вытянув шею, прочитала Нина.

Виталья перебирал бумажки.

«Гарантия вручения автомобиля» — гласила одна.

«У вас есть только пять дней для ответа!» — верещала другая.

«Вам невероятно повезло!» — надрывалась третья.

Печать, роспись, мужик с белыми зубами — улыбается так, будто у него свело челюсти. Фотография с толстой теткой в панамке. Ей совсем не идет сверкающая иномарочка, но подпись утверждает, что все по-честному: «Победитель прошлого года! Теперь пришло ваше время!»

Ваше время! Виталья переводил взгляд с бумажки на бумажку. В душе разливалось тепло. Ему вспомнилось, как отец поднял его, четырехлетнего, под самый потолок, чтобы он надел звезду-макушечку на елку, как они с Ниной впервые поцеловались, и даже как его, лучшего сотрудника цеха, награждали грамотой — все ему хлопали, а хорошенькая Оля из столовой поцеловала его в щеку, о чем, конечно, тут же донесли Нине. Кто бы мог

подумать, что губы у Оли такие теплые и мягкие, а рука у Нины такая тяжелая.

— Смотри. — Нина перевернула одну из бумаг. — «Закажите продукцию из каталога и докажите, что вы получили наше письмо, иначе мы отдадим ваш выигрыш другому». — Нина повторила дрожащим голосом: — Виталь, другому.

— Никакому другому. — Виталья вдруг вскочил, подхватив Нину. — Закажем, что там у них в каталоге?

В каталоге были картинки. Картинки из счастливой жизни со счастливыми людьми, которые пользовались утюгами, соковыжималками, тостерами, пекли вафли, жарили блины, фотографировали на миниатюрные фотоаппараты-мыльницы. Эти люди несли праздник, и они, Нина и Виталья, вдруг тоже оказались в самом его центре! Праздник пузырился и булькал, разлетаясь брызгами шампанского, брызгами цвета счастья.

Уже ночью, лежа в кровати, Виталья шепнул Нине:

— Завтра у Палыча немного перехвачу, и закажем тебе соковыжималку.

Нина счастливо улыбалась в темноте, представляя, как она наливает в высокие запотевшие стаканы настоящий апельсиновый сок, а не какой-то там «Юппи», и они пьют через трубочку, небрежно опираясь об их новенький автомобиль цвета «шампань».

Тетья Тамара, мы все-таки его дождались.

Воздушные шары

Полина Вишневецкая

Когда люди видели красочную рекламу агентства «Лови момент», в центре которой улыбалась молодая привлекательная женщина — главный организатор праздников, — они против воли достраивали образ. Наверняка и в жизни эта милая София Черская — улыбчивый и добродушный человек, в которой было так много веселья и счастья, что она не могла не делиться ими, поэтому и устраивала праздники для других. По крайней мере, согласно фокус-группам именно такой воспринимала рекламу выборка. Маркетологи студии ликовали — задуманный эффект достигнут, персонализированная реклама от лица владелицы студии, которой так и хочется устроить какой-нибудь праздник, удалась. Фотографы такого восторга не разделяли, до сих пор в кошмарах им снился тот день, когда с восьми утра до восьми вечера они пытались выдавить из Софии хотя бы подобие искренней улыбки, и то результат пришлось дорабатывать в редакторе фотографий.

В отличие от мастерски выверенного образа, в жизни София Черская была самым серьезным и даже угрюмым человеком, также согласно выборке — ближайшему кругу ее общения, состоявшему из пары подруг да подчиненных. Выражением ее лица и взглядом можно было пугать детей, чем иногда пользовалась подруга Вера, когда ее пятилетний сын не слушался. Саму Софию все устраивало. Ее жизнь была четко налаженным механизмом, в котором другие веселились, а ей нужно было сделать все, чтобы их веселье шло строго по плану. И больше всего она ненавидела, когда планы рушились. Как, например, сегодня. Бывали дни, когда за одну проблему цеплялась другая, и веселым паровозом они сбивали с ног привычный ритм жизни.

Ассистентка Софии заболела, и ей пришлось ехать через пробки в центр города, чтобы забрать сотню воздушных шаров, предназначенных для сегодняшнего праздника. Как только она вышла из магазина, раздраженно отмахиваясь от воздушного буйства, которое так и норовило залезть ей в лицо, обнаружила, что ее машина, ненадолго

припаркованная в неполюженном месте, прощально сигналила, уезжая на эвакуаторе. Откуда он только взялся? Наверняка прятался за столбом и дожидался удачного момента. Вишенкой на торте стал звонок от заказчиков праздника, которые решили перенести все на следующую неделю, потому что что-то там из-за чего-то там. София прослушала половину слов, уши ей ладонями закрыла злость. Так и осталась она стоять посреди площади с сотней шаров в руках, буквально слыша бешеный тик секундной стрелки, сигнализирующей об утекающем в никуда времени. Жаль, не заказали тысячу шаров, может, на них она смогла бы долететь до офиса.

Хуже всего было то, что люди, шедшие мимо, улыбались, глядя на нее, и даже фирменный убийственный взгляд их не отпугивал. Размышления Софии о собственном глупом положении прервало пиликание телефона. Она поднесла экран к глазам, надеясь найти в нем спасение, но это была всего лишь СМС от какого-то магазина одежды, который в честь дня ее рождения дарил щедрую скидку в десять процентов.

День рождения. Она и забыла. Наверное, каждый день года она могла бы назвать нелюбимым в той или иной степени, но этот занимал особое положение. «Если много смеяться, потом будешь много плакать» — в детстве София слышала это часто, от разных людей, но все смеялась и не верила. Пока один из ее дней рождения не забрал самого близкого человека, от которого она и унаследовала бизнес по организации праздников. Самые яркие люди угасали быстро, поэтому свой огонь она затушила, будто плеснула ведро воды на сердце. Только и остался тлеющий уголек где-то глубоко в душе, время от времени поднимающий искры в горло. Мысли о прошлом и настоящем нахлынули так резко, что ее рука разжалась, и вся сотня воздушных шаров полетела вверх.

Прохожие замерли, провожая процессию взглядом. София и сама засмотрелась, глядя, как краски улетают в небеса. Кто-то крикнул:

— Чего же вы стоите? Помогайте ловить!

Повернувшись, она увидела уличного художника, который оторвался от мольберта и побежал за зеленым шаром.

Люди отмерли и тоже принялись гоняться за шариками, но те оказывались проворнее. Дети смеялись, устроив соревнование, кто догонит первым. Парень во главе группы подростков принялась забираться на дерево, в ветках которого запутался шарик. Даже пожилой мужчина пытался тростью достать тот, что зацепился за вывеску магазина, а пожилая женщина, державшая его под руку,

заливисто смеялась. София смотрела во все глаза на происходящее и только могла моргать и как-то рвано вздыхать, пока перед ее лицом не показался уличный художник. Он протянул ей ярко-желтый шарик с нарисованным смайликом:

— Вот, удалось поймать только один, на вас похож. А давайте я вас вместе нарисую?

И художник так открыто улыбнулся, что София не поверила своему лицу, когда почувствовала, как ее губы немного неловко, отмирая, растягиваются в улыбке.

День знаний

Сабина Овчинникова

— Тоська, слезай с кровати — фартук изомнёшь! — Скрипучий бабушкин голос звучал убедительно.

— Тоська-пегвоквасница, вот умогха! — залиvisto гоготал Серёжка.

По беззаботной летней привычке косые лучи солнца взъерошенными цыплятами разбежались вдоль и поперёк скромной комнатки, в которой с самого утра толпились обитатели дома.

— Пегвоклашка, пегвокласник, у тебя сегодня пхаздник!

— Отстань от сестры! Вишь, она и сама волнуется.

— А чего мне волноваться? — покривила своей перпендикулярно прямой душой Тося. — Праздник же! Я не волнуюсь. Пусть поёт на здоровье, — благосклонно отчеканила без пяти минут ученица и, уловив момент, пока бабушка отвернулась, высунула язык.

Тоська ждала первого сентября, как, утомленные беспощадным летним зноем, ждут осенней прохлады быки и коровы. И подобно тому как последние лениво размахивают хвостами, отгоняя назойливых мух и комаров, Тося размахивала длинными руками-верёвками, бегая по дворам с мошкаркой мальчишек и девчонок, лазая по яблоням и орешникам, гоняя на старом дедовском велосипеде, которому давно полагался уже пенсионный покой. Наглядной демонстрацией врождённого духа приключений были ниточки царапин, обвивающие острые Тосины коленки.

— Не тяни гольфы! Порвёшь!

— Я не тяну, просто хочу...

— Хочу-не хочу, а я говорила: побереги ноги, не карабкайся на эти деревья. А теперь? В первый класс пойдёт не ученица, а горе луковое.

— Гохе луковое! — прыснул сидевший в кресле Серёжка.

Пару минут назад он обнаружил барбариску, опрометчиво оставленную кем-то на комод, и до этого момента старался не привлекать к себе внимания, чтобы бесшумно развернуть её и в два жевка слопать. Но луковое горе стало горем настоящим, когда внезапно накатившая волна смеха вынесла на берег деревянного пола погрызенную карамельку. Тук-тук-тук, словно пущенные по воде блинчики, предательски простучала конфета. Разбуженная от своих мыслей бабушка повернулась:

— Конфеты? До завтрака? Поди сюда, негодяй эдакий!

Тук-тук-тук — сообщили всему миру устремившиеся вдаль Серёжины босые пятки.

— А ты не стой столбом, если не хочешь опоздать на первую линейку.

Тося не хотела опаздывать, но ещё меньше она хотела идти на линейку одна. Опыта в линейках, как и в обращении с другой ученической канцелярией, у неё не было, но, по слухам, все шли на праздник в сопровождении родителей. Вот и Тося мечтала, как появится она на школьном дворе, держа мамину мягкую руку. Самую тёплую на свете. И в связи с этим родился в кудрявой Тоськиной голове план сделать небольшой крюк и забежать домой, оторвать маму от заплетания кос надоедливой Нонки — у старшей Тоськиной сестры были длинные, густые (вся в отца!) волосы, — и уговорить отправиться в школу с ней.

— Тоська, заклиная: не беги! Иди спокойно, времени с запасом. Слышишь? — стрекотала бабушка.

— Угу.

Стоило завернуть за угол соседнего дома, как укутанные в колючий белый капрон ноги понеслись в знакомую сторону. Пока бежала, Тоська представляла, как за праздничный стол сядут все они сегодня обедать. В центре на мягкое облако пюре посадят жареного гуся, набитого белым наливом и петрушкой. По бокам — картофельный и капустный пироги, покрытые строгостью румяных корок. И королева стола — хрустальная вазочка с шоколадными пряниками. Всё это будет после, а пока Тоська толкнула знакомую калитку, взбежала по ступенькам и забарабанила в дверь. Тук-тук-тук. Из тишины дома отозвалось эхо Тоськиных ударов. Ещё раз. И ещё. Где все?

Она спустилась, обошла половину дома и направилась к окну, отделяющему мамину спальню от внешнего мира с его школами, Тоськами и капроновыми гольфами. Под нужным окном — аккуратная горка дров. Недолго думая, опытная в покорении всякого рода возвышенностей Тоська вспорхнула на её вершину и принялась вглядываться... Солнце к тому моменту проснулось, светило жарко и ярко, поэтому уловить силуэты поначалу было непросто. А поверить глазам после — ещё сложнее.

Тоська увидела по-младенчески беззаботно спящую мать. Доверчиво уткнувшись в мужское плечо румяной от долгого сна щекой, она лежала на постели, не обращая внимания на задравшийся подол ночной сорочки, из-под которой были видны тяжёлые белые ноги, изображавшие какой-то знак времен наскальной живописи.

Тоськины ладони внезапно стали влажными. Она почему-то продолжала всматриваться в сюжет материнной спальни. Наверное, ждала, что от пристального взгляда та проснётся, спохватится, стыдливо одёрнет сорочку и бросится обнимать Тосю. Тук-тук-тук — откуда-то из глубины грудной клетки отозвалось эхо сердечных ударов.

— Ты чего это делаешь? Живо слезай! — скомандовал знакомый голос.

Скрипичной стрункой вытянутая Нонна подошла к калитке и готовилась пойти на линейку, как вдруг увидела застывшую в воздухе фигуру.

Тоська обернулась, но не смогла проронить ни слова. Покорно слезла. Нонна тоже молчала, отряхнула платье сестры, поправила гольфы.

— Колют?

— Не-а, — второй раз за утро покривилась прямая Тоськина душа.

— Хорошо. А теперь пойдём. Отведу тебя на линейку.

— А ты?

— Чего я там не видела? А тебе надо. Праздник же.

Вдруг Тоська почувствовала, как сестра взяла её руку и как внутри стало тепло.

День первой рыбы

Дарья Каргина

Дедушка подгоняет к подъезду «бычка», и мы с сестрой забираемся на полосатые матрасы в задней части машины. «Бычок» — старый корейский автомобиль, микровэн Daewoo Damas, уже снятый с производства. Дедушка купил его у знакомой, которая перегоняет машины из Кореи и Японии на Камчатку. «Бычком» его тоже назвал дедушка — за маленький размер (на треть меньше обычных минивэнов) и круглую переднюю часть кузова с квадратными и торчащими вверх, как рога у телёнка, боковыми зеркалами. У «бычка» есть только два кресла впереди, а сзади постелены матрасы, на которых сидят пассажиры. Когда дедушке нужно перевезти мешки с картошкой или доски на дачу, матрасы перекладываются в гараж.

«Бычок», несмотря на свои габариты — проходимый малый. На нем можно проехать по тундрыку, грязи и щебенке. По такой дороге мы и направляемся на празднование дня первой рыбы к урочищу реки Микижа. Я пытаюсь читать книжку из списка литературы на лето, ведь я перешла в пятый класс и мне страшно не справиться. Но от тряски строчки убегают за пределы страниц, и я смотрю в окно, стараясь не упустить коров, которые иногда пасутся по обочинам.

На берегу уже готовят уху и ставят юрты, в которых местные мастера будут проводить уроки рукоделия: рисовать на плоских камнях изломы гор, вышивать из бисера солнечные диски и обматывать их по кругу мехом, вырезать из дерева фигурки Кутха. День первой рыбы — праздник коренных жителей Камчатки. Считается, что с этого дня камчатский лосось заходит в реки, и жители полуострова проводят обряды, которые должны помочь им выловить больше рыбы и добыть больше икры.

Мой дедушка — ительмен, хотя в список коренных малочисленных народов его записали просто «камчадал». Но вся дедушкина семья (родная сестра, братья, племянники) значатся там «ительменами».

Дедушка говорит, так случилось потому, что они живут в далёком поселке Мильково, и в список их вносили в Мильковском ЗАГСе, а дедушка живёт в городе Елизово, в трёх десятках километров от краевого центра, Петропавловска-Камчатского, и здесь не стали разбираться. Жили твои предки на Камчатке — значит, камчадал.

Вообще-то, у ительменов есть свой язык, но ни дедушка, ни его родственники этого языка не знают. Зато, как и его предки, дедушка — рыбак и охотник. До того как родились мы с сестрой, он неделями пропадал в тундре и возвращался оттуда с медвежьими шкурами и оленьими рогами. Одна медвежья шкура лежит на полу нашего дачного домика, и зимой мне нравится валяться на ней в высокой шерсти, как в траве, и трогать гладкие медвежьи когти и сухой сморщенный нос.

Мы приезжаем к реке до начала праздника, и дедушка идёт здороваться со своими друзьями и родственниками, которые тоже уже тут. Я смотрю на репетицию камчатского ансамбля — девушки в кухлянках кружатся вокруг парня, играющего на бубне, и по очереди смешно вскрикивают. В этом танце они изображают чаек, которые летают над рекой и высматривают там рыбу.

От больших кастрюль, установленных на камнях, до нас доносится запах свежеприготовленной ухи. Дедушка говорит, что сегодня уху делают из чавычи, и потому она получилась наваристой. Чавыча — самый крупный вид лосося, икра у неё большая, ярко-оранжевая, в отличие от темно-красной мелкой икры кеты или кижуча. В прошлом году уху на празднике готовили из горбуши, и в порциях было по маленькому рыбному отрезку. А сейчас дедушка приносит нам жестяные погнутые тарелки, до краев наполненные мясистыми кусками рыбы.

Уха обжигает язык, и я отставляю её в сторону, сажусь на траву рядом с сестрой и смотрю на начавшееся представление.

Мужчины и женщины в нарядных, расшитых бисером кухлянках и торбасах плетут из длинных стволос осоки большую, в несколько метров, косу. На концы этой косы они нанизывают рыбы головы и, подтащив косу к реке, опускают её в воду. Они поют песню, странную и немелодичную, но многозвучную — присвистывают, мычат, ухают.

Духов заманивают, шепчет дедушка. Он не верит в эти обряды, и я понимаю, что сами люди в кухлянках относятся к происходящему как к игре. Но мне хочется думать, что реке важны такие ритуалы и что она каждый год ждет их, словно живая.

После наступает время конкурсов и танцев. За длинными, застеленными газетами столами гости соревнуются в скорости разделывания рыбы. Пахнет солью и кровью. Я иду мимо столов к поляне, где танцуют под грохот бубнов. Танцовщицы вскидывают руки, изображая птиц, и их тяжелые черные косы почти касаются земли. Всем раздают чай из иван-чая, и мы ходим со стаканчиками в руках вокруг деревянных лавок с сувенирами.

Через месяц мы с сестрой и родителями впервые поедem на юг к Чёрному морю, и в самолёте я буду писать сказку о том, как маленький лосось плывет в Чёрное море из Камчатских рек.

Другая, счастливая жизнь

Акулина Кузаранга

Под утро Таисия проснулась. Во дворе глухо ухала пиротехника. Таисия сунула ноги в меховые тапки, отполированные внутри до клееночной гладкости, и пошла на кухню попить воды.

За окном горели тощие гирлянды. Подслеповато моргала диодная розовая надпись на ломаном японском языке.

Таисия смотрела в окно не видя, пила воду из граненого стакана. Привычно нащупав губой отбитый скол, провернула. К лесу задом, к себе передом. Лес за новым кварталом «Заречье» точно был, но померк во тьме новогодних ночей.

Из лесу под окна Таисиного дома вышла лошадь, заржала деликатно, чтобы не перебудить весь квартал.

Таисия посмотрела вниз. С третьего этажа было не разобрать, что за лошадь, кто на ней. Тут всадник замахал ей рукой. «Мне машет», — подумала Таисия и воду отставила, потянулась к окну.

Сквозь стекло, затянутое в льдистый гипюр, видно было плохо. Всадник поднес руки рупором ко рту, заорал что-то протяжное. Вроде «спуска-а-айся».

Таисия мотнула головой — щас, мол. Решила — ненадолго. Надевать хорошие сапоги не стала, сунула ноги в боты, накинула старую цигейковую шубу, в которой выходила мусор выносить.

В подъезде затаила дыхание. Теплая известь, пришлые кошки, щи. Лестница лучше, чем лифт, после вчерашнего не просохший. Праздники.

Лошадь оказалась белой. Всадник приподнялся с седла, приветствуя Таисию полупоклоном.

— Ну, здравствуй. Я за тобой.

Локоны у всадника были до плеч, как у молодого артиста Абдулова. А сами плечи — вразлет, размашистые, ни в чем отказа никогда не знавшие, как у орла крылья. На макушке переливалась инеем корона, маленькая и витиеватая, как проволочка от шампанского.

«Мюзле».

«Прекрасный Принц. Господи, наконец-то».

Эти две мысли Таисия подумала одновременно. Первую — гордясь собой, что вспомнила сложное слово. Вторую — ошарашенно. Вторая мысль потянула за собой следующую, что надо было надеть хорошие сапоги.

Что сказать в такую минуту, Таисия не придумала. Сжимала обеими руками шубу у горла, защищаясь от ночного мороза, от хлынувшего счастья, упреждая его и стараясь, чтобы вошло оно в нее дозированно. Принца она ждала всю жизнь.

— Давай руку, — протянул Принц свою, в длинной замшевой перчатке. Такие носили автолюбители в старинных французских кинокартинах.

— Сейчас, — заторопилась Таисия. — Сейчас, сейчас.

Переступала, оскальзываясь, ботами, глядела и улыбалась. Как в детстве, во всю ширь, когда не нужно было бояться, заметит кто вставные зубы или нет. Теперь вообще можно было ничего не бояться.

— Я так ждала тебя.

— Я знаю.

— Всю жизнь так тебя ждала.

— Знаю, знаю, родная. Поедем!

— Поедем! Поехали! Только... Я ведь так ждала тебя. Посчитать если, лет пятьдесят. Я теперь с довеском.

— Чего?

— Довесок у меня теперь. Цыганенок.

— В смысле? Сын?

— Муж у меня. — Таисия махнула неопределенно вверх.

Повисла пауза. Белая лошадь возмущенно затрясла головой и отвернулась, как будто с этого момента ей все стало неинтересно.

— Так я же Принц, — сказал Принц, напирая на «я», чтобы уточнить, хорошо ли Таисия понимает происходящее. Снег, мелкий, как отходы стекловаты, заметал его могучие плечи, на которых покорно возлежал строптивый горностай.

«Норочка, поди», — подумала невзыскательная Таисия, видевшая норку вблизи только в детстве у мамы на шапке. Шапка маме не шла.

Таисия украдкой пожала плечами, руки в карманы сунула — мерзли. Шуба на груди разъехалась, подпустив холода к душе. Слова раздавались во дворе глухо, как далекие выстрелы пиротехники.

— Такие дела. Куда мне теперь без него. Столько лет. Не бросать же.

Муж Таисии, Тригоркин Сергей Сергеич, не подозревая, что решается его судьба, тревожно спал. Вчера он наелся на ночь Таисиных ягодных пирогов, выкусывая из толстого края что повкуснее, оставляя на корках брусничный упыриный след.

К утру пришла изжога, но встать попить он ленился и только комкал одеяло, недовольно вздыхая. Если бы ему сказали, что сейчас придется вылезать из тепла, а потом долго ехать куда-то, он бы не поверил. И не только не поверил, но и послал бы говорившего куда подальше. Потому что Сергей Сергеич был большой начальник. Не самый большой, но послать мог.

Таисия с ним жила хорошо. Пил муж умеренно. Жизни учил не больно. На третьей автобазе каждый его уважал. Всё Таисия успевала — на вредном производстве трудиться, петь в самодеятельности и вести дом так, чтобы не стыдно было перед людьми. Мечтала только, что приедет Принц и начнется у нее совсем другая, счастливая жизнь.

И вот она стояла на улице, постукивая ботом о бот, а Принц сидел на лошади, поигрывая поводьями.

— Знаешь, ты езжай. Я дальше сама, — сказала Таисия, подушечками пальцев дотронувшись до надежного кованого стремени. Горло морозом уже прихватило чувствительно.

— Не дури. Буди своего. Забираю обоих.

И Принц, вытянувшись на стременах, свистнул. К подъезду подкатила карета, золотая и пустая, как тыква.

Таисия, не веря своему счастью, побежала наверх, дрожащими руками дверь открыла.

— Горя, Горечка, — закричала, — Горюшка, собирайся! Там Принц. Не могу я так,

пятьдесят лет ждала, поедem, Горя, все потом,
все потом.

Сергей Сергеич, глупо выпучив глаза,
смотрел на жену.

Через некоторое время из подъезда
вышли Сергей Сергеич с Таисией, их

завернули мгновенно в шубы и усадили в
карету, где уже грел им сиденье Прекрасный
Принц.

— За знакомство, что ли, — протянул он
супругам по фужеру с шампанским.

Так и ехали. Карета уютно покачивалась,
муж грел бок. Теперь все стало как надо.
Таисия прикрыла глаза и благодарно нащупала
губой скол на граненом фужере.

Когда догорают огни

Ульяна Ананьева

Женя ненавидела Новый год. И потому каждый конец декабря был примерно одинаковым — ей приходилось оправдываться и отвечать на кучу сообщений от друзей и знакомых: «Нет, не приеду. К сожалению, другие планы. С наступающим!»

Тот же ответ ждал и Яна, с которым они встречались уже полгода. Но он почему-то отказывался оставлять Женю в одиночестве.

— Я понимаю, тебе сложно, — говорил он, — ни в коем случае не заставляю тебя веселиться. Но, может быть, спустя столько лет можно позволить себе хотя бы немного радости?

Женя чувствовала: он прав, но все равно злилась, что он так настойчиво мешает ей страдать. Потому что ее «другие планы» заключались обычно в том, чтобы закрыться от всех, спрятаться и просто сидеть, смотря в одну точку, убаюкивать свою боль. Потом дожидаться, когда за окном догорят огни салютов, и лечь спать. А уже утром загрузить себя работой.

Так продолжалось уже много лет. Но легче не становилось, и в памяти не выцветали картинки воспоминаний о счастливом времени, когда это был любимый Женин праздник и, самое главное, папин. И по какой-то издевательской шутке судьбы в этот день его и не стало.

Все произошло как-то слишком быстро. Папа становился бледнее, худее, скулы стали острыми, как акульи плавники. Но он продолжал неизменно повторять ей и маме, что все будет хорошо. Не потому, что врал, нет, он сам в это верил.

Потом были только мерзко-зеленые стены больниц и запах сердечных капель по всей квартире. И первый Новый год, который они с

мамой встречали вдвоем. К папе их не пустили врачи. У мамы из-за дрожащих рук вилка постоянно стучалась о тарелку, пламя свечи медленно гасло, тонуло в воске.

А ночью Женя сидела на полу в своей комнате, слушая, как мама тоже не спит. То встает, идет к окну, то ворочается на кровати. Женя тогда решила просить Бога за папу. Она не знала молитв, но придумывала их сама и обещала отдать все, что у нее есть, но только чтобы папа жил. Рассказывал дурацкие анекдоты, тайком от мамы покупал Жене мороженое, пах мятной пастой и гелем для бритья.

Но когда ранним утром в родительской комнате вдруг раздался телефонный звонок, Женя знала, что сегодня Бог ее не услышал, может быть, крепко спал.

А после они с мамой ехали в машине. Бесконечные огоньки гирлянд сквозь пелену слез издевательски весело мерцали. Тогда Женя решила со злости возненавидеть этот день навсегда. И возненавидела с легкостью: и оливье, и елку, и светлые локоны Нади из «Иронии судьбы». Только ненавидеть салюты никак не получалось. Папа их слишком сильно любил. И было в его глазах что-то наивное, детское, когда он укутывал Женю потеплее в санках и отбегал чуть подальше, чтобы зажечь петарду. А потом они вдвоем сидели, обнявшись, смотря на разноцветные искры, и махали рукой маме в окне кухни. И папа всегда кричал ей: «Это тебе!», хоть она и не слышала.

Женя повзрослела, но все еще крепко держалась за когда-то данное себе обещание. А теперь Ян собирался все испортить. Пришел вечером тридцать первого с кучей пакетов. Женя сидела в кресле и злилась, смотря, как Ян неумело режет овощи в оливье. Но он очень старался, и в каждом его жесте и улыбке она чувствовала бесконечную нежность, которую считала, что не заслужила.

Ян был очень милым, не похожим на других, забавным в этих круглых очках. И Жене казалось трогательным, как он иногда быстро моргал от волнения, но она тут же одергивала себя: не для нее эти сентиментальности.

За этими мыслями Женя и не заметила, как был накрыт стол и включена непонятно откуда взявшаяся гирлянда, которая теперь разноцветной змейкой оплетала горшок и ствол фикуса.

— Только без свечей. — Женя одернула Яна, который уже подносил зажигалку к золотистой свечке.

Ели молча. Женя рассматривала горошек в тарелке, словно видела его в первый раз. Только чтобы не смотреть Яну в глаза. Только чтобы он не понял, что ничего не получилось, не сработало. Все еще хотелось просто плакать, перебирать фотографии и ждать, когда день закончится.

Но он, кажется, все и так понял.

— Хочешь, я все сейчас уберу? Или, может быть, хочешь побыть одна?

— Нет, не нужно. Спасибо. Это правда все очень трогательно. — Женя оглядела комнату и повторила еще раз шепотом: — Спасибо.

— Есть еще кое-что. Но придется пойти на улицу. — Ян улыбнулся.

Женя догадалась тут же. Салюты. И сердце стало стучать чуть быстрее в ожидании, но в голове снова: «Нет, они не обрадуют, как раньше. В этом нет никакого смысла. И в празднике тоже нет смысла».

Но они с Яном убежали от навязчивых мыслей. Неслись по ступенькам вниз, а дальше по хрустящему снегу, подальше от дома.

И когда небо вспыхнуло розовыми искрами и кто-то вдалеке крикнул: «С Новым годом!» — Женя заплакала, не сдерживая больше себя, и ей казалось, что слезы теперь не соленые, а сладко-горькие. Как и воспоминания о детстве, о папе, о первом января, пахнущем ладаном. Эта боль, может быть, не уйдет никогда, но сегодня она медленно отступала, угасала в ночи вместе с золотыми огнями.

А Ян улыбался и шептал: «Это тебе», — почти беззвучно, но Женя слышала.

Пасха

Дарья Франковская

Семи- и десятиэтажки выстроены амфитеатром, роль главной сцены исполняет детский сад, в оркестровой яме расположились несколько песочниц, турники и лысое, вытопанное за много лет мальчишками импровизированное футбольное поле. К вечеру двор наполняется ароматами ужинов и пустеет.

На турнике вниз головой висит девчонка. Корочки ссадин на разбитых коленях болезненно-приятно тянутся, пальцы еле касаются земли; раскачиваясь, она рисует узоры в пыли.

— Катя!

Девочка резко подтягивается, ладони чувствуют металл и облупленную царапающую краску. Она делает кувырок в воздухе и оказывается в вертикальном положении. Взгляд быстро падает на балкон, но там никого нет. В поисках источника звука она осматривает двор, заходящее солнце лучами бьет прямо в окна и отражается в глаза. Катя жмурится, приоткрывая один глаз, видит очертания крестной и сломя голову, с криком «Христос Воскресе!» несется ей навстречу.

— Воистину воскрес!

Тяжелый стол, тот самый атлант, который был, кажется, в каждой советской семье, уже расправил плечи и держал на себе хрусталь, воду, которую папа с июля превращал в вино, компоты, салаты, красные яйца и куличи. За столом ждали дядя Миша, тетя Галя и бабушка. Родной брат и двоюродная сестра Кати играли в большой разноцветный конструктор на полу.

Все праздники в этом доме проходили по одному сценарию.

— Первый тост за повод — Христос воскрес!

— За здоровье!

— За любовь!

Дальше начинали пить за усопших дедушек — родного дедушку Кати и бабушкиных братьев. После каждого тоста шли воспоминания, связанные с ними.

— Ну, за деда! — подняла рюмку бабушка и кинула взгляд на его портрет, который занимал почетное место на домашнем иконостасе рядом с иконами Богородицы и Иисуса.

Кате был всего год, когда его не стало, но сохранилось ощущение дедовских рук, на которых она засыпала, будучи младенцем.

— Да, ведь это он выбрал меня крестной для Кати. — Очень мягко и с бережной любовью женщина посмотрела на девочку.

— Он очень тебя ждал и любил, жалко, не видит, как ты вымахала. — Папа налил себе внеочередную, горько выпил.

— Сейчас бы навел порядок, — ехидно усмехнулась бабушка.

Повисла напряженная пауза.

До этого момента Катя на всех праздниках присутствовала молча. Что-то происходило во время этих разговоров, что ей совсем не хотелось нарушать, а как встроиться, было совсем непонятно.

— Он мне сегодня приснился, — осторожно сказала девочка. Дедушка снился ей часто и обычно рассказывал сказки. Она никогда ни от кого не слышала про такие сны и думала, что это делает ее странной.

— Он тебя куда-то звал? — настороженно спросила бабушка, напугав девочку.

— Н-нет, я спросила, где он — ответил, что там, откуда недавно пришла я, — робко ответила Катя.

Дядя Миша похлопал девочку по голове и наполнил рюмки. Она почему-то почувствовала, что ей никто не поверил, и это вызвало у нее облегчение.

— За Андрюшку! — подняла следующий тост бабушка.

От Андрюшки Катя помнила запах его «Волги» — смесь пыли и бензина, а еще свет в конце темного коридора, который ее разбудил несколько лет назад, и голос бабушки: «Умер».

За непродолжительную жизнь этот свет будил ее еще четыре раза, последним был Петька.

— За Петьку!

— Да. — Тяжело вздохнув, все подняли рюмки.

Катя предприняла еще одну попытку.

— Я сегодня первый раз висела на железяке без него! — несдержанно-радостно крикнула она. — Я думала, только с ним могу, а если его нет, то не могу!

Родственники облегченно выпили и один за другим стали выходить из-за стола.

— Собери игрушки! — строгим шепотом приказала мама Кате.

— Я не играла, — нехотя проняла девчонка.

— Собери игрушки, я сказала, — подкрутив громкость шепота, повторила мать, уверенная, что ее никто не видит и не слышит.

Девочка перевела взгляд на отца, который вернулся и недовольно смотрел в спину матери. Увидев испуганный взгляд дочери, подмигнул ей и ушел.

Солнце село. Завершение играли на кухне. Открытый балкон, приглушённый свет от лампочки над плитой, все пространство в дыму от сигарет, бобинный магнитофон: «Nay Neh Nah...». Кате всегда разрешали присутствовать при непонятных разговорах взрослых. Она засыпала среди них, и ее просто уносили в комнату.

В эту ночь Катю вновь разбудил свет и голос бабушки:

— Что вы творите?! — Эта реплика была не по сценарию.

Девочка выбежала в коридор. Пожилая женщина в ночной сорочке напоминала злую и одновременно растерянную Бабу-Ягу с распушенными седыми волосами. Молодая женщина кидается на мужчину, он ее отталкивает, она падает. Катя, не дожидаясь дальнейшей импровизации в этом спектакле, заслоня мать, встала перед отцом и посмотрела ему в глаза. Ярость папы потускнела, он надел поводок на испуганную овчарку и вышел из квартиры.

Катя слышит шипение матери из-за спины:

— Тебе что? Сложно было собрать игрушки за братом?

— Христос воскресе! — обиженно сжав кулаки, бросила дочь, уходя в комнату.

Когда Кате было беспокойно засыпать, она проговаривала слова, которым научила ее крестная: «Отче наш, иже еси на небесех!..» Приходил дедушка с очередной сказкой. В эту ночь он рассказывал ей историю, как ангелы перед тем, как опуститься на землю, просматривают различные фильмы и выбирают жизнь, которую хотят прожить.

— Воистину воскресе! — сквозь дрему мягко проговорила Катя и погрузилась в

глубокий сон.

Плов для дураков

Ирины Данильянц

Тётя Люся говорит, главное — зирвак. Это бабушка её научила. Рис — благородный, длинный. Масло — раскалить. Морковь — брусочками. Мясо — поподжаристой. Зирвак — говорит тётя Люся — сердце плова. Так написано в том рецепте.

Когда я звоню тёте Люсе, всё готово. Вернее, всё, конечно, только начинается, но лук уже нарезан тонкими кольцами, морковные брусочки лежат в металлическом ковше, рис в воде и мясо на месте. Вчера — я не спрашивала, но знаю точно, — вчера она ходила на рынок. Там, в восточных рядах, она взяла немного барбариса, кулёк зиры и чёрный перец горошком. Всё это есть и так, осталось с прошлого года, лежит на полке с приправами. Но пряности — «Не называй их приправами!» — кричит тётя Люся — пряности должны быть свежие. Так написано в том рецепте. Рецепте имени моей бабушки.

Каждый год в свой день рождения бабушка готовила плов для подруг-учительниц и нас. Двигала стол в середину комнаты, доставала из серванта ребристую неподъемную хрустальную вазу, по-особенному причёсывалась. Все приходили с цветами и подарками, читали стихи — был праздник.

В конце вечера бабушка раздавала рецепт своего плова. Она росла в Узбекистане и знала толк. Плов был легендарный. Рецепт хотели все, вспоминали о нём уже перед уходом. Бабушка садилась за письменный стол и аккуратными круглыми буквами писала рецепт на двенадцати одинаковых тетрадных листочках, пока гости ждали в пальто.

Тётя Люся помнит листочки наизусть. Голосом диктора она объявляет:

«Хорошо прогреть казан!»

«Как следует раскалить масло!»

«Оставить рис в покое!»

«Хотелось бы мне быть рисом», — шучу привычно. «А приходится маслом!» — смеётся.

За год подруги-учительницы и мы теряли листочки, нужно было обновлять. 25 октября одного года учительница географии Роза Львовна сказала: «Рая, я просмотрела твои рецепты, они все в литрах и граммах, а мы тут не все училки математики, напиши-ка для дураков». И Рая стала писать для дураков — в стаканах и ложках. Шли годы. Рецептов, написанных аккуратными круглыми буквами, становилось всё больше. Листочки «Плов узбекский» и «Плов для дураков» расходились по друзьям и знакомым.

Когда бабушки не стало, подруги-учительницы некоторое время собирались вместе в день её рождения и готовили. Потом собираться стало сложно, но готовить не перестали. Мама, многие наши родственники и друзья тоже готовят плов в октябре. Юные почитатели плова имени моей бабушки выросли и разъехались, сделались вегетарианцами или просто не умеют готовить. Но листочек с рецептом есть у всех.

Тётя Люся, не отходя от телефонной трубки, провозглашает: «Закрыть крышкой и до прихода гостей не тревожить». Значит, всё готово. Если верить рецепту, гости скоро придут. И когда хозяйка внесёт казан в комнату и откроет крышку, они будут вздыхать, вдыхать, восхищаться, просить добавки, а перед уходом, бережно укладывая в карманы листочки с рецептом, жалеть, что до следующего плова еще целый год. В этот раз гостя одна, и та — по телефону.

Прижимая трубку плечом к уху, тётя Люся прячет свои листочки в книжный шкаф. Говорит, её экземпляры совсем истрепались, по самым грубым подсчетам им от пятнадцати до тридцати лет. А на днях ей позвонил кто-то полузабытый, спрашивал, не сохранилось ли

рецепта, и когда она сказала, что да, уточнил: узбекский или для дураков?

«И ведь звонили даже не на мобильный. На домашний! Представляешь?»

Представляю.

Каждый год 25 октября я представляю, что пришла к бабушке. Но не в дом с гостями, а к обычной непростительной бабушке. Допустим, после школы как всегда. «И что бы мы ели?» —

думаю я. И готовлю лучшую еду, за которую восьмилетней могла душу продать. «Нормальной» её не считал никто, даже бабушка, и ела я такое только у неё дома, после школы. Тёртая морковь, жёлтая каша с маслом и — хит! — десерт из какао-порошка, сахара и воды — подавать охлаждённым в крошечных розетках.

Интересно устроена память о человеке. Бывает, тебя нет давно, а она живёт в круглых буквах, тетрадных листочках, рецептах для дураков и миске тёртой моркови.

Праздник моего сердца

Анна Железнова

Старик Корней вальяжно раскинулся на коленях и изогнул спину. Мои пальцы летели сквозь его рыжую шерсть. За эти годы она стала жестче, но не грубее. Привычным движением я провела от макушки до слегка поседевшей кисточки на хвосте. Сердце затрепетало. Корней почувствовал и, вскочив на лапы, уткнулся головой мне в грудь.

— Всё хорошо, — прошептала я, поглаживая питомца.

Громкое мурлыканье затмевало стук сердца, пока, наконец, ритм не пришел в норму и кот снова не улегся на колени.

— Сегодня просто этот день. Ты ведь мне поможешь, да?

Острые ушки прижались, как тогда, при наших первых встречах.

Рыжий котенок дрожал, сидя на выступе за окном. Его пушистый хвостик как маятник метался из стороны в сторону, а любопытная мордочка с прижатыми ушами прильнула к стеклу и жалобно пищала.

— Пошел! — Мама шикнула на кота. Тот лишь еще громче мяукнул.

— Оставь, — вступилась я за будущего друга. — Он голодный.

— Его нельзя пускать.

— Знаю.

Мама вздохнула и, поставив чай на тумбу, вышла из спальни. Я усталилась на кота. Наши большие зеленые глаза встретились.

— Прости.

Котенок пискнул. Я подошла к окну. Стоило мне прильнуть ладонью к стеклу, как маленькая лапка по ту сторону повторила.

— Это я должна тебе спасти или ты меня?

Котенок взвизгнул. Женская рука схватила его за брюхо и убрала с выступа. Сердце забилось с удвоенной скоростью, воздух будто испарился. Я прижалась лбом к стеклу, чтобы разглядеть землю, и... успокоилась. Мама нежно гладила котенка, пока тот с упоением лакал молоко из миски. Как только она подняла на меня глаза, ее брови тут же сдвинулись, обнажая глубокую борозду посередине. Слова были не нужны. Я вернулась в кровать.

Эти простыни, это одеяло, эти сиреневые стены, когда-то казавшиеся мне лавандовыми полями, сейчас стали моей тюрьмой. Глупо было пенять на судьбу и уж тем более на маму. Я знала, что она просто хочет меня защитить.

Говорят, по статистике детей с пороком сердца рождается всего 1%. Говорят, если операцию сделать вовремя, то все проблемы будут решены. Да... Но не всегда. После двух операций только мама своим материнским сердцем будто чувствовала, что сердце дочери не в порядке.

Спорт, активные игры вплоть до салочек во дворе были под запретом. Тем не менее я всё же могла гулять, худо-бедно играть и ходить в школу. Мамина интуиция не подвела. В двенадцать мне стало плохо. Помню, было тяжело дышать, в груди болело, руки и ноги перестали слушаться, помню крик мамы и вой сирен. Помню... Темноту.

С того момента всё изменилось.

— Нужна пересадка, — сказал врач.

И потекла другая жизнь. Та, где ты жил лишь в двух комнатах: дом и больничная палата. Та, где главным словом стало «нельзя». Нельзя много пить воды, нельзя выходить на улицу, нельзя играть с друзьями. Нельзя — нельзя — нельзя...

— Машуль, есть риск подцепить какую-нибудь инфекцию. Нельзя, — грустно объясняла мама, и я писала подруге, что она не может меня навестить.

Душно, как же душно было в этих сиреневых стенах...

Но вскоре всё изменилось. Родители плакали от счастья, когда мне исполнилось четырнадцать. Вместе с паспортом я получила новое сердце.

Помню, что первый год после операции слово «нельзя» всё так же было моим главным спутником, но день ото дня его становилось всё меньше и меньше. Свобода? Да?

Но почему-то порой мне всё так же было трудно дышать, годы аккуратности не позволяли рисковать и лишний раз выходить на улицу, хоть сердце и рвалось под солнечные лучи.

Я знала, что получила второй шанс из-за страшной аварии, в которой погиб молодой студент. Знала, что имя моему сердцу Егор. Знала, что не виновата в его смерти. Знала. Но никак не могла принять такой смертельный подарок. Пока однажды к нам домой не пришла женщина. Ее седые волосы и глубокие глаза казались полыми, серое лицо стремилось

вниз, и только руки выдавали, что ей слегка за сорок.

— Маша, познакомься, это Татьяна.

Женщина подняла на меня глаза и оживилась. За долю секунды она оказалась рядом и приложила ухо к моей груди. Ее руки обхватили мои плечи и затряслись, а лицо стало мокрым. Мама Егора застыла, слушая сердце сына. Удар за ударом. Сердце забилось быстрее. Я испугалась, у меня перехватило дыхание.

— Сегодня его день рождения, — прошептала Татьяна. Сердце радостно екнуло в ответ на знакомый голос.

Женщина выпрямилась, приложила руку к моей груди и сказала: «Оно твое. Живи. Живи за себя и за Егора. Пожалуйста, живи». И, словно получив благословение, сердце успокоилось, и воздух наполнил легкие...

Старый рыжий кот мурлыкал на коленях.

— С днем рождения, — прошептала я и улыбнулась фотографии Егора на белой стене.

Так странно было осознавать, что я стала старше, чем мой спаситель. Странно, что и для меня всё может закончиться в любой момент, но я живу. Живу за двоих. И каждое утро биение нашего с Егором сердца придает мне сил. И каждый год я отмечаю два дня рождения под громкий грудной стук, наполняющий меня жизнью.

Жизнью на двоих.

Rewind

Ульяна Ананьева

Катя любила убираться. Не всегда, а только в плохом настроении. Казалось, стоит только убрать лишнее с заваленного хламом стола, как все наладится и в голове станет яснее.

Но в этот раз ничего не работало. В комнате уже не осталось пыльных полок, а назойливые мысли не рассеивались, раз за разом погружая Катю в то, что случилось утром.

Дима вернулся из армии еще более веснушчатым и розовощеким. Катя не видела его два года. За это время она, в общем-то, отвыкла от того, что он существует. Редкие письма, иногда с вложенными фотографиями — это был какой-то другой мир, застывший, там не существовало времени и самих людей, только их пишущие тени. И сейчас, когда ей предстояло сдавать выпускные экзамены в школе, прошлые чувства, которые казались такими важными, самыми важными в жизни, вдруг просто исчезли. Катя поняла это не сразу.

Димины довольная улыбка на блестящем от пота лице. Он подхватил Катю, стоящую на перроне, на руки и закружил в воздухе. «Как больно пальцами под ребра», — только и подумала она.

— Салют! Ну вот и увиделись! — Дима казался счастливым и бодрым, в военной форме, видно, что был ей горд. Кате почему-то не захотелось рассматривать его пристально. Взгляд рассеянно перемещался с разноцветных привокзальных ларьков на женщин, продававших копченую рыбу.

— Как твои дела? Как доехал? — спросила она.

Через громкоговоритель стали объявлять очередной поезд, как всегда так, что не разобрать ни слова. Дима подождал, чтобы не пришлось перекрикивать, и ответил:

— Отлично! Просто отлично. Ты не представляешь, что я тебе сейчас расскажу!

От Димы пахло резким сладким одеколоном — и Кате не нравилось, торчащие уши (и как она раньше этого не замечала) светились красным на солнце — Кате не нравилось, он шутил невпопад и подхихикивал сам над каждой своей шуткой (он что, и раньше так делал?) — и это тоже категорически не нравилось.

Только что с поезда, с сумкой наперевес, Дима отказался ехать домой. Ему хотелось подольше побыть с Катенькой. Слышать в свой адрес «Катенька» Кате тоже, к слову, не нравилось. Как назло, стоял солнечный майский день, не убежишь домой, сославшись на погоду.

— Так и мы с ребятами... — рассказывал очередную историю Дима. Они с Катей сидели на качелях в одном из дворов. Катя пинала песок ногой и все думала. Думала: неужели это в ней сломалось что-то и нужно снова нажать на кнопку, чтобы заработало. Она отчаянно вспоминала их переглядки в автобусе и разговоры после школы, свои мурашки, ревность к подруге Лизе и бесконечные рисунки в блокноте. Она что, потратила на Димино лицо столько места зря?

— Ты чего такая молчаливая? — Дима, кажется, заметил, что Катя не здесь и почти его не слушает. Его слова и правда превратились для нее в какой-то шум, точно неразборчивые объявления на вокзале. Вроде язык знакомый, но звуки в слова не собираются.

— Да что-то, знаешь, настроения нет.

— Я приехал, а настроения нет? Чудесно получается.

— Ох, ну прости, что не прыгаю от радости. — Катя снова пнула песок ногой и остановила качели.

— Так я же не злюсь, просто переживаю, — спокойно сказал Дима, явно стараясь все сгладить.

— Я тоже не злюсь, — буркнула Катя. Она все-таки злилась, только не совсем понимала, на кого и за что.

Ребята замолчали. Дима уставился под ноги, а Катя смотрела вверх. Там, над самым домом, задевая крышу, текло огромное облако в форме черепахи. Вот бы она сейчас посадила Катю себе на спину и увезла отсюда. От этих качелей, Диминых красных щек и чувства пустоты.

— На чем я там остановился? — Дима повернулся к Кате. В его распахнутых, каких-то совсем детских глазах еще не было ни капли понимания.

— Вы с ребятами что-то собирались устроить.

— Ах да. Так вот...

Кате теперь стало совестно, словно она его предала. Беспокойно болтая ногами, она разрывалась между жалостью к Диме и желанием поскорее сбежать. Второе оказалось сильнее.

— Знаешь, Дим, мне надо с сестрой посидеть. Я и так маме обещала, что ненадолго.

— Эх, жалко. Думал, еще пообщаемся. Провожу тебя хоть. — Дима остановил качели, собираясь встать.

Но Катя быстро сказала:

— Нет, не надо.

— Почему?

Катя уже еле держалась, чтобы не раскричаться и не разрыдаться:

— Просто не надо и все! Пока! — Она буквально убежала.

Через пару кварталов стало что-то давить в груди от одной мысли о том, как он остался сидеть там, на качелях, и непонимающе смотрел ей вслед.

Дома Катя закрылась в своей комнате и стала беспокойно расхаживать из стороны в сторону, как маятник в чьих-то дрожащих руках. Затем как-то машинально принялась за уборку. В комнате был привычный беспорядок — стул, завешанный вещами так, что шатался и походил на фигуру сгорбленного старика, какие-то игрушки младшей сестры на полу, залежавшийся огрызок яблока и пара кружек с недопитым чаем на столе. Это все Катино убежище, которое она, как могла, бережно охраняла. А самое ценное — блокноты со стихами и рисунками, дневники, отдельные тетрадки, куда переписаны тексты любимых песен, кассеты с музыкой.

Но сейчас любимая комната только раздражала. Солнце тоскливо выглядывало из-за шторы, точно провинившийся школьник, в золотистых лучах плавали по кругу пылинки — крошечные запятые и многоточия. Катя убиралась: сосредоточенно складывала вещи со стула обратно в шкаф аккуратными стопками, терла зеркало изо всех сил, — и ничего вокруг не замечала, даже как любопытная сестра Алиса топталась за дверью и подглядывала за ней в щелочку.

После уборки захотелось перечитать дневник. Такая родная обложка с пейзажем, осенний лес и речка, но черной ручкой она когда-то давно подрисовала в лесу двух чертиков, выглядывающих из-за дерева. Катя из настоящего — какая-то неправильная, сломанная, что ли. Зато Катя из прошлого была так очарована Димой. Вот ее стихи про безответную любовь, а это — начирканная наспех карикатура на Лизку. Тут Катя пишет про их прогулку и, как будто стесняясь даже

личного блокнота, избегает называть Диму по имени.

Страницы трепетно хранили их шуточный вальс под снегопадом, все смешки и неловкие фразы. В завитушках ее почерка все казалось правильным и красивым, а в жизни вдруг испортилось и стало каким-то уродливым меловым разводом на школьной доске.

Вдруг дверь в комнату распахнулась, и недовольное мамино лицо возмущенно проговорило:

— Пусти сестру в комнату, она, бедненькая, уже столько под дверью стоит.

У Кати даже не было желания ворчать и возмущаться. Алиса с куклой в руке бодро зашагала в ее сторону. Сейчас, наверное, будет хныкать и просить поиграть. Но неожиданно сестра, одетая в розовое платье, испачканное кашей, задумчиво спросила:

— А чего ты грустная?

— Я не грустная, мелочь. Я думаю.

— О чем?

Катя вздохнула. Она давно не делилась с другими тем, что ее беспокоило, предпочитая справляться со всем в одиночку, но сейчас захотелось. Может быть, от усталости.

— О том, что мне больше не нравится мальчик, который сильно нравился до этого. — Катя сказала это и про себя усмехнулась. Может, ей еще совета спросить у четырехлетней сестры.

— Ну и ладно. — Алису эти слова, казалось,нисколько не удивили. Она уселась на ковер и стала с серьезным видом отламывать кукле руку.

— Не ломай, я потом чинить не буду.

— Я ломаю, не чтобы чинить.

Коротко и ясно. Вот бы и Кате столько уверенности в собственных действиях. Пока же ясности не было никакой. Нужно поговорить с Димой, но как? И что ему сказать? Извини, у тебя слишком красные щеки? Или, может, мы не можем быть вместе, у тебя противный парфюм? Вопросительные знаки крючками тихонько царапали горло, но ответы никак не находились.

Алиса тем временем успешно доломала кукле пластиковую руку и теперь чесала ей свой лоб.

— Начнешь опять, мама ругаться будет.
— Катя легонько стукнула ее по локтю.

— Не будет.

— Дай-ка сюда. — Под хныканье Алисы Катя вытащила у нее из рук куклу и стала приделывать отломанную часть.

Потом, чтобы хоть как-то отвлечься, Катя начала расспрашивать Алису:

— Мелочь, ну-ка скажи мне свой адрес.

— Десятый квартал, седьмой дом...

— Хорошо-хорошо, а теперь представь, что я незнакомый усатый дяденька. Маленькая девочка, скажи-ка мне, где ты живешь?

— Десятый квартал, седьмой дом...

— Но ведь я же незнакомый дяденька.

— Нет, ты Катя, — возразила Алиса. И добавила: — Сама так научила.

Катя немного развеселилась. Забавно, что Алиса понимала все буквально, а иногда не понимала ничего и могла просто говорить то, чему ее учили. Это было использовано уже несколько раз. От чтения Ахматовой Деду Морозу до розыгрышей, когда в толстом телефонном справочнике Катя находила фамилии посмешнее, и они вместе с

одноклассниками звонили всем подряд, а Алиса говорила в трубку всякие глупости.

Катя вдруг задумалась. Так если Алиса повторяет за ней все — что ей стоит передать Диме, что между ними все закончено.

От неожиданности этой мысли Катя снова поднялась и стала расхаживать по комнате. А что? Хорошая идея. Позвонит Диме, даст трубку Алисе, и все. А если он решит, что это розыгрыш? Да какая уже разница, можно будет просто его избегать и не брать трубки, поймет уж как-нибудь. Главное, что Кате больше ничего не нужно будет делать.

— Алиса.

— Что? — Она больше не играла с куклой, а заинтересованно поглядывала на Катю.

— Выучишь парочку слов, я дам трубку, а ты передашь это мальчику. Идет?

— Плохие слова? Мама ругаться не будет?

— Не будет, но мы ей ничего и не скажем.

Алиса соглашаться не спешила, она вдруг заметила пятна каши на платье и пыталась стереть их пальчиком.

— За красное яблоко согласишься? И кассету «Покахонтас».

— Ладно. Только ты со мной ее посмотришь.

— Договорились.

Получив Алисино согласие, Катя почувствовала себя легко. Даже дышаться стало свободнее.

Нужные слова они быстро разучили. Катя пару раз ловила себя на мысли о том, что поступает уж слишком по-детски, но ничего не могла с собой поделать. Только бы не видеть

Диму больше, только бы ничего ему не объяснять.

Ближе к вечеру Катя все еще оставалась беспокойной, но старалась отвлечься. Смотрела телевизор с мамой, все посматривала на часы. Звонить нужно было не слишком поздно, чтобы Дима не спал, но и не рано — чтобы не пришел к ней домой разбираться.

А пока мелькавшая в телевизоре картинка увлекала ее все сильнее. Кажется, начинался какой-то ужастик.

— При Алисе такое смотреть не будем. — Мама переключила на сериал. Вздохнув, Катя решила вернуться к себе.

Именно в этот момент в дверь позвонили.

— Кого это принесло? — Отчим нехотя пошел посмотреть в глазок.

У Кати появилось нехорошее предчувствие, она за секунду скрылась в своей комнате. Сначала просто стояла возле двери, потом решила осторожно выглянуть.

Входная дверь была уже открыта. По доносившемуся из коридора сладкому аромату Катя сразу поняла, кто это.

— Я к Кате, можно? — Да, это точно был Дима.

В руках он держал огромного плюшевого медведя с синим бантом и упаковку белого шоколада.

Катя взяла неловко протянутого ей медведя в руки, от него тоже пахло Димой.

— Нравится? Это тебе подарок. Ты утром какая-то грустная была. И шоколадка, тоже для настроения. — Он так и не запомнил, что белый Катя не любит.

— Спасибо, да. На тебя похож.

— Чем? — Дима сразу расслабился и плюхнулся на диван.

Катя хотела сказать «такими же огромными ушами», но передумала. Так и стояла у двери. Теперь она смотрела на него сверху вниз и чувствовала себя глупо, держа в руках подарки. Шоколад еще этот. Даже через упаковку Катя чувствовала, что он сильно подтаял, видно, Дима слишком крепко держал его в руке.

Ее план разобраться со всем при помощи Алисы рухнул. Спрятаться и сбежать не получилось. Видимо, придется все-таки решать все самой.

Катя помолчала немного, делая вид, что рассматривает медведя. Но тянуть дальше уже не было никакого смысла.

— Дим. Ты только не обижайся. — Начало уже так себе, конечно, он обидится.

— Что случилось? — Дима все еще не ожидал подвоха. Сидел себе на диване с довольным видом.

— Давай мы больше не будем общаться, ладно? — Катя ожидала в ответ чего угодно, даже грубости. Но Дима просто молчал, уставившись в потолок, даже не спросил почему.

Катя раньше не ощущала так медленно тянущееся время, даже на уроках в школе оно проходило быстрее. Настенные часы же как ни в чем не бывало отсчитывали секунды.

Дима вдруг просто расплакался. Так начинала обычно плакать Алиса — внезапно,

но сразу же громко и в голос. Катя никогда не видела, как плачут мальчики, разве что давным-давно, еще в детском саду. А Дима был взрослым, высоким, твердым, прямым, почти что восклицательный знак. Катя не ожидала, что все будет происходить именно так, и теперь все никак не знала, куда ей деть медведя, себя, да и шоколад в упаковке расплавился вконец.

Булькающие рыдания Димы раздавались как будто откуда-то из живота, все бурлило и клокотало. Всклип, стон, шмыганье носом — и снова по кругу. Катя же изо всех сил вжалась в стену, хотелось исчезнуть, хоть залезть и спрятаться шкаф. Потом подумала, что в шкаф она точно не влезет. Потом отругала себя за то, что думает про глупости, пока Дима плачет в ее комнате от разбитого сердца.

Маме с отчимом хватило такта не интересоваться, что происходит, но они явно все слышали. Катины щеки горели не то от стыда, не то от волнения. Она чувствовала себя бессердечной злодейкой.

И действительно ли это все длилось так долго? Или просто один и тот же момент повторялся по кругу, как будто кто-то постоянно перематывал одну и ту же сцену на видеокассете.

После этого, казалось, комната никогда не оправится. Ее стены впитали столько горечи, столько брызг соленых слез, что никакое солнце не высушит.

Наконец, Дима встал, небрежно вытер щеку и молча вышел. Просто ушел, пронесшись мимо Кати хмурой тенью. Она растерянно посадила медведя на диван и села прямо на пол. На душе вроде бы стало легко, все закончилось, но широко улыбающийся медведь молчаливо напоминал: «Ты, Катя, злодейка».

У дивана, в углу, валялась Алисины кукла. Только ее рука вновь отпала. Катя нахмурилась: вот и стоило ей тратить время на эту дурацкую куклу, чинить ее. Зачем вообще что-то чинить, если потом все равно все сломается.



В холодильнике

Ольга Боженко

Мама у Лены очень красивая — с длинными стройными ногами, очень узкой талией и волнистыми волосами. Лена мечтает о таких же волосах, а у нее совсем прямые. Можно, конечно, заплетать косички на ночь, но это, во-первых, очень сложно, а во-вторых, все равно получаются какие-то кривые волны. Раньше, до рождения Лены, мама фотографировалась для журналов в ярких платьях: целая стопка стоит на отдельной полке в книжном шкафу. Сейчас мама шьет платья для других женщин, не таких красивых.

В этот вечер она как раз строчила что-то на своем «Зингере», а Лена устроилась рядом. Они сидели за одним столом в большой комнате. Кроме «большой», было еще две комнаты — «маленькая», где спали родители, и Ленина, без всякого специального названия. Большая была у Лены любимая, потому что здесь было мамино рабочее место — швейная машинка, несколько манекенов, горы тканей, тесемок, кружев, коробки с нитками, пуговицами и прочими мелочами.

Лена пыталась выкроить нужную полоску из бежевого лоскутка, который мама ей выделила и расчертила. Лена очень старалась, даже высунула кончик языка, чтобы наверняка справиться. Но полоска получалась безнадежно кривой. Виноваты во всем были ножницы, с ними у Лены шла борьба.

Когда она была маленькая, у нее были детские ножницы с маленькими дырочками для маленьких пальчиков. Ими было очень удобно резать бумагу. У Лены была целая коробка с «вырезками» — из своих старых «Мурзилок» она вырезала разных персонажей и играла с ними, как с куклами. Но три месяца назад Лене исполнилось шесть, и кто-то из маминых друзей привез ей из Америки Барби и Кена. И стало уже не до «вырезок». Лена очень полюбила шить одежду для Барби, а

маленькие ножницы с тканью справлялись плохо. Пришлось брать мамины, с которыми уже Лена, в свою очередь, справлялась плохо.

Мама заметила, что у Лены ничего не получается, молча взяла у нее ножницы и лоскуток, что-то быстренько подрезала и заправила в швейную машинку. Машинка резко застучала, и это было так сильно не похоже на ту тишину, которая уже долго-долго стояла в комнате, что и Лена, и папа вздрогнули. Да, папа тоже был в большой комнате, сидел в кресле с какими-то бумагами, серьезный и скучный. И совсем не такой красивый, как мама. Все у него было наоборот: ноги короткие, талия непонятно где и волос совсем немного, не то что волнистых, а вообще.

Мама уверенными движениями прострочила швы, отрезала нитки, — платье для куклы было почти готово, осталось теперь только обметать. Протянула Лене:

— Давай примерим?

Лена стала снимать с Барби старую одежду, а мама наблюдала, как будто задумавшись о чём-то. Потом взяла куклу у Лены. И тут позвонили в дверь. Теперь уже мама вздрогнула. Голая Барби упала из маминых рук на пол, Лена полезла поднимать. Из-под стола услышала, как папа открыл дверь, и дядя Ваня, сосед со второго этажа, сказал:

— Пошли, Коля, привезли!

И папа, перед тем как выбежать на лестницу, сообщил маме и Лене: «Привезли!» На старый холодильник мама долго жаловалась, что он маленький и неудобный.

Громко вздохнула, когда по телевизору рекламировали холодильники. Подбрасывала папе объявления в газетах. Потом наконец не выдержала и просто потребовала купить новый. И вот!

Мама с Леной смотрели в окно, как папа и дядя Ваня волокли холодильник через весь двор. Потом слушали, как его несут по лестнице. Папа иногда говорил слова, которых Лена раньше не слышала, наверное, это что-то, связанное с большой и сложной техникой. Наконец втащили огромную коробку в квартиру, в кухню. Папа достал из буфета бутылку «Столичной» и протянул дяде Ване. Мама подтолкнула папу, и он сразу вспомнил:

— Вань, а давай еще старый выкинем, а? Заодно уж?

— Не, Коль, я это... спину, кажись, потянул, не могу больше.

И, крепко зажав в большой руке бутылку, дядя Ваня ушел. Мама была недовольна:

— Ну ты балбес! Ты бы ему еще вчера эту бутылку отдал, сейчас бы мы с Леной сами этот холодильник тащили. И что теперь? Он будет здесь стоять?

И тут Лена, решительно сделав шаг вперед к родителям, спросила:

— А можно в старом холодильнике будет жить моя кукла?

Мама пожала плечами. А папа покопался в книжках, что-то прочитал, что-то открыл, объявил, что всё безопасно, и холодильник был перенесен в Ленину комнату.

У Лены в жизни появилась новая игра. Теперь у Барби была не просто куча нарядов, у нее был самый настоящий дом! Лена отмыла каждый уголок в холодильнике, чтобы там не пахло колбасой, не было пятен от варенья и не валялся засохший укроп. Она не раз слышала название «Белый дом» — то в разговорах взрослых, то у папы по радио. Никто не мог

нормально объяснить ей, хорошо это или плохо, но это абсолютно точно подходило к дому ее кукол, и так он и стал называться. Наверху была морозилка с дверцей, невысокая, куклы не могли там стоять, а только лежать или сидеть, и Лена назначила морозилку спальней для Барби и Кена. Основную часть холодильника разделили полкой всего на две комнаты, зато с высокими потолками. Верхняя стала гостиной, а нижняя — кухней. Ящики для овощей и фруктов были отведены под огромное количество одежды Барби.

Самым необходимым и срочным из мебели оказались стол и стулья для гостиной, и Лена попросила папу помочь. Сделали из фанеры стол и три стула — для Барби, Кена и один для гостей — вдруг кто придет?

Папа увлекся, казалось, не меньше Лены. Ему понравилось создавать уют в этом доме. После мебели для гостиной папа стал мастерить кровати и диваны. Собирал их из картона, которого много осталось от упаковки нового холодильника. А Лена потом обклеивала их цветной бумагой — получалось очень красиво. Даже мама сказала, что это «мемфис», Лена не поняла, но не стала спрашивать.

Однажды, когда папа выравнивал край кровати, он порезался. Лена испугалась, потащила папу на кухню, достала из холодильника зеленку. Пока открывала пузырёк, вся перемазалась сама и папу перемазала. Кроме самого пореза, в итоге залила ему зеленкой пол-ладони. Но папа не злился. Он улыбался, а Лена дула на зеленую руку, чтобы ему было не больно.

Барби и Кен тем временем решили пожениться. Ведь у них уже был свой дом, а свадьбы еще не было. Для Барби Лена с маминной помощью сшила шикарное свадебное платье из старой тюлевой занавески. Кен был в своей яркой пляжной форме — он вообще только в ней и ходил, потому что в ней его привезли, а Лене не нравилось шить для Кена. Отмечали свадьбу на столе в большой комнате. Лена расставила там все цветы с подоконников — кактусы, алоэ и несколько гераней. Гостиными были большой плюшевый тигр и несколько кукол-великанш. Лена видела свадьбы только в кино, но она

знала, что нужна речь. Мама отказалась, поэтому говорил папа. Он называл Кена и Барби брачующимися, говорил что-то очень скучное про любовь и верность и еще что-то там про союз, испытания и взаимопонимание. Было смешно, мама даже выбежала из комнаты, Лена подумала — наверное, чтобы посмеяться. Наконец Кену можно было поцеловать Барби, и потом заиграла музыка. Куклы по очереди танцевали с Кеном и пили что-то из стаканчиков, которые когда-то были крышками от пузырьков маминой валерьянки.

После праздника куклы отдыхали в Белом доме. И Лена закрыла холодильник, чтобы их никто не беспокоил. Как всегда, помешало покрывало, и Лена отодвинула его, но, закрыв дверцу, опять расправила. Это мама, расстраиваясь, что холодильник совсем не вписывается в обстановку комнаты, постелила на него бежевое покрывало, в тон обоям. Лене оно не нравилось и все время мешало, но она не могла признаться в этом маме. Раз мама сказала, что так красивее, значит, так оно и есть, и можно потерпеть. Это для Лены было привычно — мама со своим чувством вкуса одевала её не как всех детей, а по-особенному. Вся её одежда была как будто для взрослых, только маленького размера. И Лене было скучно это носить, но было похоже на маму.

Однажды ночью Лена проснулась от звуков голосов в коридоре. Она подошла к двери своей комнаты и осторожно присела на пол. Спросонья плохо понимала, что происходит, но всё равно пыталась слушать.

Папа говорил нервным, но тихим голосом:

— И что, опять поздняя клиентка? И телефона у нее не было? А когда уходила из ателье, еще не знала, что задержишься? Я наизусть знаю все твои отговорки!

Мама почти кричала:

— Пусти меня! Долго ты будешь делать вид, что тебя волнует что-то, кроме твоих чертежей?

— Давай, давай, обвиняй меня!

— Пропусти меня, я сказала! И не ори, разбудишь ребенка!

На слове «ребёнка» Лена скрипнула дверью, и её обнаружили. Папа, в майке и трусах, держал маму за плечи. Мама была только с улицы, в своем темно-синем приталенном пальто, оно ей очень шло. Папа отпустил маму, и та подошла к Лене:

— Ты почему еще не спишь, Леночка? Ну раз уж не спишь, мама принесла тебе подарок. Забирай, целуй маму — и быстро в кровать!

И мама полезла в сумку, достала оттуда маленького резинового пупса, подходящего для Барби. Потом поцеловала Лену, подхватила на руки и отнесла в кровать.

На следующий день у Барби и Кена был скандал. Посередине гостиной у них лежал младенец, и они не знали, что с ним делать. Кен предлагал ребенка оставить, а Барби спорила — всё равно он будет волноваться только о своих чертежах, а до ребёнка ему не будет дела! А ей, бедной Барби, придётся ради этого ребёнка работать допоздна и по ночам возвращаться домой. Скандалили долго, переворачивали мебель, с ребёнком так ничего и не решили.

Через несколько дней Лене понадобилась мамина помощь. Мама сидела в коридоре на полу и очень тихо говорила по телефону. Лена попросила:

— Мам, помоги мне с подстилкой для собачки!

Мама слегка вздрогнула:

— Что, Леночка?.. Иди к себе в комнату, я сейчас приду.

И Лена пошла к себе в комнату, но мама так и не пришла. А скоро хлопнула входная дверь, и послышался папин громкий голос:

— Я дома!

Через минуту уже и сам папа появился у Лены в комнате:

— Так, что тут у нас?

Лена сидела около Белого дома. В руках у неё был кусочек, отрезанный от ковра, края у него осыпались.

— Вот, мне нужна подстилка для собачки.

Папа осмотрел кусочек, потом осмотрел испорченный ковёр. Улыбнулся, вздохнул, опять улыбнулся:

— Сейчас сделаем тебе подстилку для собачки!

Достал спички, обжег края, отдал Лене. Она перенесла всю одежду в один ящик для овощей, а в другой положила подстилку — теперь там будет жить собачка. Лена была довольна. Вдруг заметила, что в дверях стоит мама.

— Зачем вы испортили ковер?

Папа вдруг соврал:

— Это я разрешил.

Мама, кажется, не поверила:

— Ну конечно... — И добавила, обращаясь к Лене: — В следующий раз, когда решишь что-нибудь испортить, спрашивай меня, а не отца.

Папа вышел из комнаты. А мама как будто немного смягчилась и стала рассматривать, что творится в Белом доме. Лена почувствовала приближение беды, она же ещё не рассказала маме, что произошло, когда она была вчера в гостях у своей подружки Кати.

— А где же ребёночек нашей Барби? — спросила мама.

— Я поменяла Кате. На собачку, — призналась Лена и заплакала.

Она уткнулась лицом в мамину юбку и плакала очень тихо, так что мама, наверное, даже не заметила. Мама гладила Лену по голове одной рукой, и от этого она плакала ещё больше. Как она могла поменять мамин подарок на собачку! Но ведь с собачкой согласились Барби и Кен... Мама посмотрела на холодильник и увидела, что покрывало валяется рядом на полу. Она аккуратно высвободилась от Лены и стала пристраивать покрывало на крыше Белого дома.

Утром Лена слышала, как мама складывала на кухне диван. Мама, кажется, думала, что Лена не знает, что его теперь раскладывают каждый вечер. Лена поняла — сейчас мама будет убирать плед и может заметить дырку. И точно, потому что с кухни мама напрямик отправилась в Ленину комнату. Когда она вошла, Лена притворилась, что спит. Мама заглянула в холодильник и вздохнула. Лена знала, что мама там увидела — Кен спал в гостиной на диване, накрытый лоскутком от пледа. Сквозь полуприкрытые глаза Лена видела маму. Мама стояла в центре комнаты, у нее был усталый вид. Она осматривалась вокруг так, как будто впервые видит эту комнату. Она пощупала тигра, потрогала Ленину одежду на стуле. Покрывало с холодильника было сброшено, но мама, наверное, не заметила, потому что на этот раз не стала его поднимать. Она вышла.

Лена не понимала, достанется ли ей, когда она проснётся. С одной стороны, это уже вторая испорченная вещь подряд, и значит, мама должна ругаться. Но почему она её сразу не разбудила? Однажды утром, когда Лена вот точно так же притворялась, что спит, а мама обнаружила у неё в комнате общипанную герань, она стала кричать и будить Лену. Лена тогда никак не могла объяснить, зачем она общипала все листочки с герани. А это было волшебное дерево, оно исполняло желания, Лена загадала быть красивой, как мама. И после каждого листочка ей казалось, что ещё всего один — и будет по-прежнему ничего не заметно, а потом вдруг как-то получилось, что ни одного не осталось. Так почему же сейчас

мама не стала скандалить? Ведь плед она точно любила больше, чем герань?

Днём никакого скандала мама тоже не устроила. Но это потому, что она заболела и легла в постель. Лена с папой пошли гулять. Это было долгожданное катание на колесе обозрения — Лена выпрашивала его уже несколько месяцев. А сегодня мама наконец разрешила, но сама не пошла — плохо себя чувствовала. Так что Лена каталась с папой вдвоём. Она столько всего увидела сверху! И всё запоминала, чтобы рассказать маме, которой, наверное, было обидно лежать дома и болеть. Прямо с порога квартиры Лена закричала:

— Мамочка, я каталась на колесе, высоко-высоко!

Но никто ей не ответил.

Ночью Лена проснулась от грохота в большой комнате. Она побежала туда, вдруг это мама вернулась. Нет, был только папа. Он стоял посреди комнаты, у его ног лежал голый манекен, а рядом валялись обрывки платья. Лена спросила:

— Где мама?

Папа чуть-чуть помолчал, а потом вдруг улыбнулся и сказал:

— Мама уехала в командировку, в другой город, скоро приедет, через несколько дней. Она скоро позвонит нам и всё расскажет. Пойдем-ка укладываться спать.

На следующий день Кен взял с собой собаку и пошел охотиться на тигра. Он не раз был на краю гибели, но каждый раз чудом спасался. А потом все-таки поймал тигра. Кен отдыхал, а Барби разделявала тигра с помощью Лены и маминых ножниц, которые

наконец-то начали слушаться. Шкуру тигра постелили на полу в гостиной. Мясо было не похоже на мясо, и Лена решила его выкинуть. Но Кену сказала, что продали на рынке.

Прошло недели две. Папа почти научился готовить на завтрак яичницу, но было не угадать. Однажды ему совсем плохо удалось — желток растекся, сосиски подгорели, и Лена отказалась это есть. Тогда папа вдруг улыбнулся и сказал:

— А знаешь что? Давай мы это выбросим! Давай лучше поедим мороженого!

И гордый своей идеей и тем, что когда-то сделал запас, открыл морозилку. И тут он увидел её — Барби, покрытую инеем. Папа спросил:

— Что это?

— Барби уехала в командировку, в другой город. — Лена сказала это очень спокойно, по-деловому. А папа почему-то расстроился.

Скоро Лене надоел Белый дом. Однажды вечером она закрыла кукольную семью в холодильнике, накинула на него бежевое покрывало и включила в розетку, сама не зная зачем. А потом залезла в кровать и стала читать книжку про муми-троллей. Так и заснула. Но спала Лена недолго, ее разбудил звук телевизора. Хотя было холодно и лень вылезать из-под одеяла, она все-таки встала и пошла в большую комнату. Папа спал, сидя на диване. Рядом на полу стояла тарелка с остатками бутербродов и валялись несколько пустых бутылок из-под пива. Плед тоже был на полу. Телевизор работал и показывал какие-то спортивные передачи. Этот папа ни о ком не думает, кроме себя! Лена подошла к телевизору и выключила звук, теперь можно было спать. Она вернулась в кровать, залезла под одеяло. Потом вздохнула, снова встала, вернулась в большую комнату, подняла с пола плед, отряхнула его от крошек и укрыла папу.

Жить!

Елена Богданова

— Славное море, священный Байкал!

Славный корабль — омулёвая бочка!

Ну, Баргузин, пошевеливай вал,

Плыть молодцу недалечко.

Долго я тяжкие цепи влачил...

— Ну заголосил, затянул свою заунывную!
Детей разбудишь.

— А тебе-то что, баба, сиди тихо! Мне уж
что, в своем доме и сказать слово нельзя?

— Да говори ты хоть всю ночь! Вон,
можешь с хиузом выть на пару!

— Принеси-ка чекушку лучше! Что-то не
спится мне.

— Что такое, Василий, что думаешь?
Говори. — Лицо женщины, до этого такое
мягкое, теплое, сразу напряглось и покрылось
сетью мелких морщинок. Она знала своего
мужа: выпивал он только по делу, на
праздники, да и то немного. Соседки ей
завидовали: ну и мужик достался Наталье — не
пьет, не бьет, куркуль еще тот, хозяйство с
каждым годом все больше, одних наемных
работников шесть человек. Как так бывает?
Везет же кому-то!

— Не темни, Вася. Думаешь, вернуться
могут? Не хочу я их видеть больше.

— Могут и вернуться. Кто их знает. Прямо
тебя и спросят, приходите им или нет. —
Василий зло улыбнулся, скорее оскалился.

— Хоть бы лето было, на заимку подались
бы с детьми, и запасов полно, переждали бы
спокойно.

— А про хозяйство ты не подумала?! Вот
баба дура, или мне здесь одному остаться?
Пока живем. Вернутся так вернутся. Пять
лошадей увели, запасы оскудили. Проживем,
сказал тебе.

В печке потрескивал огонь, в избе было
тепло натоплено. На печке спала младшая
дочь, поскуливая во сне, как щенок после
долгих игр, трое старших мальчишек спали в
дальней комнате. Дом был построен дедом
Василия, который прожил девяносто пять лет
и умер в этом доме. Василий любил этот дом —
добротный, из сосны, непродуваемый в любой
ветер и мороз. Любил, как поскрипывают
половицы пола, когдаходишь в красный
угол к иконе перекреститься, любил свое село;
Ангару, куда ходил на рыбалку; тайгу, где
охотился. От отца ему и его старшему брату
досталось большое хозяйство со скотом, одних
лошадей только было пятнадцать голов.
Нисколько не разбазарил он то, что досталось,
а только приумножил. Дальше Иркутска
Василий не был нигде: ездил туда на ярмарку,
местным купцам соболь сдавал по зиме, да и
незачем ему было ездить далеко, и не
хотелось. Был он мужик неглупый, но не
понимал, что происходит сейчас, и когда это
закончится, и чем, и главное — что делать-то
теперь? Надо что-то предпринимать? Ну, ушли
беляки из села, увели лошадей, поели
припасы: по их разговорам Василий понял,
что дело худо у них — бежит армия, бежит
Колчак.

— Вась.

— Что тебе?

— Боюсь я.

— Ну, бойся! На то ты и баба, чтоб бояться!
Иль пожалеть тебя? — Василий заулыбался, это

было видно по глазам — рот его закрывала густая черная борода.

Они прожили с женой больше пятнадцати лет. Конечно, не было уже того, что по молодости. Вспомнил, как он ездил в гости в другую деревню к ней за несколько верст, свататься. Друзья смеялись, что в своем-то селе поди девок нет.

— За детей боюсь я.

— Детей не тронут они, но сиротами могут оставить.

— Жили хорошо, никого не трогали, пахали, сеяли. И нас пусть не трогают! Что они там удумали? Власть им та, да не та. Царь уже не царь! Пусть там в своих городах и меняют эту власть. А у нас своя власть. Что пожнем, так и поживем. Вот такая власть. Не ездили мы в их города и знать бы не знали туда дорогу. Так нет, сами заявили. И подавай им и ночлег, и запасы доставай, и наливай, еще и лошадей давай, а то своих-то загнали. А у нас свой царь — шаман, да соха в руки.

— Ну, запричитала. Не голоси ты раньше времени! Может, обойдется все. Мало мы пережили. Ладно, все, пошли спать, завтра утром в Тангуй поеду за доктором, совсем Манька плохая.

Наутро, только первые слабые лучи розового мартовского солнца показались на востоке, Василий поднялся, подбросил дров в печь. Дома было уютно и тепло, Наталья собирала сытный завтрак: напекла шанег, заварила густой брусничный чай, поставила на стол плошку жирных томленых сливок. На душе у Василия было погано: предчувствие чего-то худого и непоправимого. Он пытался отогнать скверные мысли, но не мог. Не хотелось разговаривать с женой. Наталья почувствовала его настрой и не стала приставать с расспросами, она все поняла по вчерашнему разговору. Ей не спалось полночи, вспоминала детство и юность: как всегда быстро пролетало короткое сибирское лето, как с подружками бегали на Ангару, и ее чуть не унесло однажды течением, но вытащил ее Василий, оказался с братом недалеко, приезжал в их деревню к родственникам и слышал крики подруги. Вытащил он тогда ее из водоворота — сильный, молодой, завидный

жених, еще и хозяйство у родителей богатое. Тогда подруга смеялась: ну, раз спас, значит, жениться надо. Он и нагрянул со сватами через месяц. Наталья успела к тому времени расстроиться, поплакать, уж больно он ей в душу запал, но не ехал, значит, не ее судьба.

Ей не хотелось думать о плохом, что может быть с ними, с детьми. Их жизнь была настолько устроена! Все у них было: жили в достатке, работали, пусть грамоте не обучены, зато как только в селе открылась школа, четверо их детей пошли туда. Она считала, что учеба эта и не особо нужна детям, живут же как-то они без азы-веди, но муж настоял, и она, как всегда, с ним согласилась. Старшие дети ей рассказали про алфавит, про то, как буквы складываются в слоги, а потом в слова. И как забавно у них все получалось и складно! Отгоняя тяжелые мысли, она стала думать о каждодневных делах: их единственная кормилица, корова Манька, занемогла, никак не могла оклематься после отела. Василий уже хотел на мясо рубить, но она уговорила его съездить за доктором — жалко животину, плодovitая корова и молоко жирное дает.

— Вася, а карабин зачем берешь? Ты же не в лес.

— Надо, мать! Время такое. Не помешает.

Она накинула тулуп и вышла проводить мужа на улицу: хоть и конец марта на дворе, а весной и не пахнет, морозно, снега навалило за ночь.

На печке заворочалась младшая дочь, позевывая и потягиваясь, высунула из-под одеяла свое по-детски припухшее после сна личико. Любимица семьи, единственная доченька при трех старших братьях, Аннушка. Отец — как она ласково называла его, «тятка мой», — души в ней не чаял. А она забиралась проворно к нему на коленки, обнимала за сильную шею, дергала за густую бороду. Похожа она была на любимую бабушку отца, которая его вырастила после ранней смерти матери. Кареглазая, остроносенькая, как лисичка, с густыми темно-русыми волосами. Не только внешне она походила на прабабуку, но и характером: мягкая, податливая, но на своем настоит, по-тихому своего добьется, смекалистая была и везучая. Как ни возьмет ее отец с собой на рыбалку, так сразу пару-тройку щук поймает или ведро

омуля на Ангаре. И на охоту пару раз брал на рябчика, из карабина научил стрелять. На зверя не брал — ребенок еще, только на птичку забавы ради. Но мать так ругалась, узнав, что дочка стреляла, раскричалась на весь двор, что отец решил: ну этих баб, пусть дома сидят.

Ей повезло, что она была четвертым ребенком в семье: трое старших были мальчишки, братья, и на них легла большая физическая нагрузка, они помогали отцу по хозяйству. А ее берегли как могли. Ей одинаково нравилось помогать мамке печь шаньги и ходить с отцом на рыбалку. Но были и обязанности, которые требовали больших сил и не очень нравились Аннушке. Доить коров спозаранку. Так не хотелось слезать с теплой печки, высовываться на улицу, на мороз, когда ресницы моментально белеют от стужи.

В школу Аннушке ходить нравилось, буквы учить, в слова складывать, а еще очень ей нравился учитель Петр Петрович. Рассказывал он очень интересно про разные города, про жителей, что живут там, про царя, про детей царя, про Москву и самый красивый на свете город Санкт-Петербург, который сейчас называется Петроград. И уносила Аннушка от рассказов Петра Петровича далеко, и не верилось ей, как же это люди в больших городах живут, где не двадцать домов, как в их селе, а сто двадцать, а может, и того больше. Рассказывал про войну и революцию, которая произошла в Петрограде, и рабочие свергли царя. Мысли Аннушки путались на этом месте, не все она понимала: а как же сейчас царь с детьми своими и где. Она пыталась как-то у тятки все выпросить про революцию, но он так огрызнулся на нее, что она даже обиделась и ходила надутая на него долго.

Мамка, мама, мамка, быстрее бежать, еще быстрее, убежать отсюда, все-все забыть, уткнуться в мамкин фартук, домой, еще быстрее. Вот своротка и наконец-то мой дом, околица, калитка.
— Мама, мамочка моя, роденькая, спаси меня! Мамочка, ты где? Дверь закрой, мама! Пospей!

— Доченька моя, что с тобой? Доченька, дитячко мое, скажи мне, тихо, тихо, на-ка водички выпей, или берёзовки дать? В погребе стоит. Пей давай, пей, да не захлебнись ты. Эка как тебя разнесло-то.

Аннушкин крик переходил в вой, стон и как будто мольбы. Еще немного, и девочка задохнулась бы от того, что сидело внутри нее и мешало говорить, плакать, дышать. Наталья наглаживала темно-русые волосы девочки, утром туго заплетенные в одну косу, а сейчас взлохмаченные, мокрые от пота и слез.

— Мама, в школу я больше не пойду никогда. Нет школы, все. М-м-м.

— Как же, доченька, ведь ты уже читать умеешь, и буквы пишешь, и меня учишь. Как не пойдешь-то? — Наталья тяжело вздохнула.

— Мамка, все, нет больше ни школы, ни Петра, м-м-м, Петровича нашего, не-е-ет. Где карабин папкин? — И Аннушка опять зашлась в приступе нехватки воздуха. Она не могла выплакаться, горло сдавило изнутри.

— Ничего я не пойму, а ну-ка, говори мне, смотри ты на меня, кутенок, что там у вас? И где Алексей, Егор? Они в школе еще?

— Не знаю я, удрали они или нет, — всхлипывая, произнесла Аннушка.

— Анька, а ну садись, садись вот здесь-ка и давай говори мне все, а то пойду, кур пора кормить, некогда мне сопли твои утирать! — Наталья хотела наругать ребенка, но сомневалась, надо ли, уж больно бледной и испуганной выглядела дочка, которая еще два часа назад уходила в школу довольной и здоровой.

— Мама, мама, где папа? Он сильный, он поможет.

— Кому поможет? В Тангуй он уехал, Манька у нас заболела, поехал за дохтором. Так что в школе?

— Пришли дядьки в школу, много дядек, и схватили нашего учителя... — Девочка опять

зашлась в приступе удушья.

— Да что ты, доча, что говоришь-то, господь с тобой! Какие дяди? Не те, что жили у нас два месяца? — Голос Натальи начал дрожать.

До нее стало доходить, что беда пришла в село: только от прошлых гостей оправились, два месяца как пожили, и опять! Холодок пробежал по животу, где зарождалась новая жизнь. «Господи, дай пережить это! Только дай пережить!»

Залаляли громко собаки, выстрел, одна завyla в предсмертной агонии. Дверь в дом громко распахнулась, засов слетел с петель, студёный воздух стал заполнять дом.

— Эй, есть кто живой? Народ? Встречай Красную армию! А кто против и не за нас, голова с плеч слетит!

Наталья высунулась из кухни, руки дрожали.

— О, баба! Ну давай, накрывай столы, хозяйка! Есть еще кто в доме? Где мужик твой? Заберем его к себе, будет с нами народ освобождать, а если против, пуля в лоб и концы в воду, ха-ха-ха! — зашелся в диком смехе парень лет двадцати трех, белобрысый, с белыми ресницами и неживыми светло-голубыми глазами.

Наталья сначала подумала, что он пьяный, а может, и был он пьян — его мотало из

стороны в сторону. Он метался по всей избе, кричал, открывал двери пинком сапога, искал хозяина.

— Хорошая у тебя изба, светло и тепло, здесь останюсь и командиру нашему скажу. Доставай припасы! Да не смотри ты так, зенки вылупила, стоит как оглобля, под зад тебе дать, что ли, ха-ха-ха, накрывай столы. А ты вроде ничего еще бабеха, а ну, дай разгляжу получше.

И он стал надвигаться на Наталью сверху, как орел, нашедший себе жертву и парящий над ней, предвкушая вкусный обед, зная, что уже никуда она не денется, а она стояла как вкопанная и от страха не могла пошевелить ничем, в голове не было мыслей, пустота и тишина.

И вдруг звук, который прервал эту тишину в голове, и белобрысый красноармеец упал перед ней сначала на колени, посмотрел на нее с удивлением, как будто не мог поверить, что это он падает, а не она. Ухмыльнулся последний раз в своей жизни, и его долговязое тело свалилось на пол перед ней, и тонкой струйкой из спины потекла кровь.

Она увидела — наконец-то она смогла что-то видеть, слышать и понимать, — она увидела своего мужа с карабином, из которого шел дымок после выстрела.

— Собирайся быстро, не бери ничего лишнего. Дочь собирай, я за мальчишками. Уходим на заимку, спасаться надо!

Мегвежья правга

Ашот Оганесян

Только что закончилось оперативное совещание: привычные лица, дежурные фразы, стандартные отчеты. И так каждый понедельник, не считая других бюрократических сборищ, присущих крупной компании. Пандемия медленно шла на спад, и всех руководителей уже вызвали в офис. Запрет на очные встречи в организации еще не сняли, поэтому каждый сидел в своем кабинете, а совещания проводились по Zoom. И без того не слишком живые холеные лица больших начальников теперь и вовсе превратились в говорящие аватары.

Атмосфера медленно душила. «Воздух» я находил в путешествиях: старался уехать на природу и прислушаться к себе. Из-за избытка энергии я «отключал голову», только когда очень уставал. Лучшего всего это удавалось в походах с высокой физической нагрузкой. Позади остались трекинги в Исландии и Непале, велотуры в Норвегии и Швейцарии. Планировал я поездку и этим летом, но из-за пандемии границы закрыли.

Жена предложила поехать в отпуск в Сочи. Я согласился, но был против пляжного отдыха: Кавказ — это горы, подберу что-нибудь! Решили так: детей — пятилетних близнецов — оставим маме, неделю отдохнем вместе, а потом я найду себе приключение по душе на следующие несколько дней.

Ближайшие выходные я изучал Кавказский заповедник. Прекрасные места, хорошо известные советским туристам, были сегодня незаслуженно забыты. Великолепная природа находилась всего в десятке километров от пляжей с пластиковыми павильонами едаден и рядами шезлонгов, на которых с раннего утра лежат полотенца, как бы гарантируя их владельцам место после завтрака.

Я обзвонил турклубы. Тщетно: никто не хотел идти в автономный нагруженный поход с чудаком из Москвы — «пик сезона, нам проще забросить на джипе стайку

инстадевочек, они пофоткаются на горе, выложат в Сеть и будут счастливы. Никаких проблем. А с вами одни хлопоты за те же деньги». Наконец, я нашел горный клуб.

— Понял вас, не повторяйтесь. — Менеджер задумался. — Знаю я одну чудную, спрошу. Она сама на вас выйдет, если возьмется.

После еще двух дней поисков я почти смирился, что в этот раз останусь без гор, когда вдруг на телефоне возникло сообщение с незнакомого номера:

— *Добрый вечер. Вы интересовались походом?*

— *Здравствуйте. Да, если речь о Сочи.*

— *Я — Маша. Что ищете?*

— *Природу, нагрузку и тишину.*

— *Высоты боитесь?*

— *В Непале на 4500 ходил.*

— *Я не про это. Ладно. Сможем выйти не 24-го, а 25-го?*

— *Это принципиально?*

— *У меня 25-го день рождения.*

— Давай на «ты». Я всегда отмечаю ДР в горах.

— Ок.

— Я подумаю над маршрутом. На связи.

Неделя с женой прошла славно: мы поселились наверху, и наследие Олимпиады очень порадовало. Я изредка переписывался с Машей, обсуждали детали похода. Накануне выхода от нее пришло сообщение:

— У тебя двухместная палатка?

— Да.

— Не хочу свою таскать. Ничего?

— Ты про ночевку? Нормально.

— Не съем, не парься.

— Я несъедобный.

Встретились рано утром на трассе — друг Маши взялся забросить нас на машине к точке старта. Мой гид оказался миниатюрной светловолосой девушкой с серыми глазами и прямыми махагоновыми бровями. Она была одета в свободную льняную рубашку поверх тонкой флиски и черные леггинсы. На крепких ногах контрастно светлели выдавшие виды серые трекинговые ботинки: они словно срослись с хозяйкой за годы общего труда и небезосновательно считали себя ее главной опорой. На шее виднелся кулон — волк, вписанный в пентаграмму. Правое запястье охватывали браслет из мелких темно-коричневых бусин и тонкая коралловая нить. Завершало образ небольшое кольцо в носу. Маша оставляла неоднозначное впечатление: никак не комфортная провожатая, скорее — рысь начеку.

— Привет! Закидывай рюкзак. — Она поздоровалась со мной, как с давним другом. Ее приятель просканировал меня темными глазами: мол, что за чел идет с моей Машей, достоин ли?

Через час мы были на месте. У кордона пересобрали рюкзаки: приятель, увидев одну палатку, метнул взгляд в Машу, она едва заметно кивнула ему. Он еще раз заглянул мне под кожу, пожал руку, обнял Машу и уехал.

Идти было не тяжело: высоту набирали плавно. Утренний лес, пение птиц и глубокий воздух дарили покой.

— Какой маршрут сегодня? — Надо было как-то начать разговор.

— Пройдем семнадцать километров, наберем метров пятьсот высоты. Для первого дня вполне.

— Я не боюсь нагрузки. Только так и отдыхаю.

— Псих. Впрочем, сама такая же.

— Давно водишь?

— Лет восемь. Хожу очень много. Но стараюсь не брать коммерческие группы.

— Почему?

— Не знаю даже. В горах моя душа, а в душу за деньги не водят.

Маша остановилась возле ручья, выбивавшегося из-под крупного валуна. Набрав в бутылку воды, она протянула ее мне. Вода была ледяной и вкусной.

— Где твоя душа была раньше?

— В маркетинге. — Маша засмеялась. — Я впервые приехала в Сочи во время подготовки к Олимпиаде. Лично открывала тут два

крупных отеля. О, какой это был дурдом!
Самые яркие и трудные мои годы!

— При чем тут горы?

— После Олимпиады меня как выжгло. Я поняла, что больше так не могу. Однажды выбралась на пикник в местные горы, и, выйдя утром из палатки, поняла, что пропала навсегда. В итоге мы с мужем остались здесь, а я стала амбассадором заповедника. Как выдается минутка — я в горы. Двое детей, непросто, но мне это жизненно необходимо.

— Детей с собой, не?

— Старшего пару раз брала. Приобщаю потихоньку к природе.

— У меня тоже двое. Природу в Москве не видели, но фанатеют от животных. Все музеи обошли, фигурки зверей собирают, научные названия наизусть знают.

— Я тоже зверей люблю. Рисую иногда, когда хожу одна. Акварель — она как горы: нужно слиться всем нутром, только так и почувствуешь.

Мы вышли из леса. Солнце стояло уже высоко. Маша сняла флиску, накинула рубашку на майку и водрузила на голову синюю панамку. После привала двинулись дальше по склонам высоких холмов, поросших травой и цветами. За перевалом оказалась потрясающая долина: горы по ее краям плавно сбегали вниз, а узкая тропка между ними забирала вверх, устремляясь к темнеющей вдаль вершине. Ковер из разнотравья стелился далеко вперед: июльская зелень пестрела солнечными макушками девясиллов, белыми шапками головчаток и розовыми корзинками альпийских астр. Учтиво склонившись, встречали редких гостей нежно-фиолетовые колокольчики. Растительности становилось все больше, и уже скоро мы шли по грудь среди сочных стеблей и вымахавших полевых цветов. Это было невероятно: ты словно находился в сказочном королевстве, которое стоит здесь тысячу лет и будет стоять впредь, чего бы там ни придумали эти странные люди. День и час были не важны: время будто замерло, а в воздухе бесшумно играла какая-то изначальная музыка. Музыка вечности.

Маршрут становился все сложнее. После очередного подъема мы встали на плато. Я прилично устал. Несмотря на тяжелый рюкзак, Маша шла легко и быстро, мне стоило усилий поддерживать ее темп.

— Почему ты согласилась взять меня? — спросил я, отдышавшись.

— Я как-то сразу поняла, что ты свой человек.

— Это как так?

— Интуиция. Без нее в горах никак. А еще ты грамотно писал на русском.

Я поперхнулся:

— Чего?!

— Того. Грамотность — вежливость избранных. Короче, для меня принципиально.

— Так же, как с днем рождения?

— Зря смеешься: последние годы я все свои дни рождения отмечала в горах.

— В палатке с незнакомым человеком?

Маша пристально посмотрела на меня.

— Что ты мне сделаешь в горах? — Она перевела взгляд на обрыв. — В моих горах.

На ночевку встали возле реки. Заходящее солнце окрашивало медью двуглавую вершину на другом берегу. Быстро темнело. Пока я возился с палаткой, Маша приготовила ужин. Гречку с тушенкой смели в момент, в руках уже дымились кружки со сладким чаем. Мигом накатила усталость и поволокла за собой в сон: даже висевшие над горой звезды сделались какими-то наливными. Я протянул Маше рассеиватель для фонаря Petzl:

— Поздравляю!

— Ух! Вот зачем ты спрашивал фирму моего налобника. Спасибо!

Маша ушла в палатку и вскоре затихла. Я потоптался у тамбура:

— Можно?

Никто не ответил. Я осторожно залез внутрь. Маша завернулась в спальник и не издавала ни звука, даже дыхания не было слышно. «Умеет же отключаться», — позавидовал я, предвидя свои привычные ночные раздумья. Было зябко. Я застегнул мешок до подбородка и лег на бок. Спустя мгновение кто-то выдернул меня из розетки и накрыл пуховой шалью беспокойную душу.

Встали в пять утра — штурмовать крутую гору стоило до жары. Быстро поели, собрались и вскоре стояли у почти отвесного склона, заросшего высокой травой. Непонятно было, как вообще можно подняться на него, а тем более с грузом.

— Не ссы, галсами пойдем. — Маша подмигнула и двинулась вверх.

Тропы не было и в помине, Маша проминала ботинками мокрую от росы траву, я шел за ней. Двигались практически боком и очень медленно набирали высоту. Спустя полчаса решили передохнуть, но даже сидеть на таком склоне было трудно. Мы только начали подъем, а я почти обессилел: сказался вчерашний день. Маша всем телом дышала впереди, но останавливалась, только когда теряла меня. Я дотаскивал себя до нее, и мы снова шли вперед.

Два следующих часа запомнились задранной вверх головой («где вершина, твою мать?!»), саднящим плечи рюкзаком, срывающимися на склизкой траве грязными ботинками и судорожным хватом за полуметровые стебли каких-то лопухов в

попытке вытянуть себя выше. Машу я едва видел: ориентировался больше на смятую траву и звуки. Ближе к вершине растительность поредела, мы молча выпили воды и рывком оказались наверху. Маша сбросила рюкзак и села на камень. Ее оливковая майка потемнела на спине: лямки пропотели сложенными крыльями хищной птицы. Я рухнул рядом.

— Надеюсь, больше не будет такого?

— Ты просил нормальную нагрузку. Это было нормально.

— Да иди ты!

Маша звонко засмеялась. Она явно была тут своей.

Другой склон горы был пологим и спускался в очередную идиллическую долину, окруженную острозубыми горами.

— Нам туда. — Маша кивнула в сторону сизого озера за небольшой скалой. — Поставим лагерь и сходим в радиалку. О! Вон он бродит, увалень!

— Ты о ком?

— Мишка там ходит. Смотри возле камней.

— Точно. Еду ищет? — Стало не по себе: до медведя метров триста.

— Да, ягоду смотрит. Чего напрягся? — Глаза Маши весело сверкнули из-под полей шляпы.

— Зверь все-таки. Помню твои слова, что не было случаев нападения кавказского медведя на человека и больше стоит опасаться егерей, но...

— Расслабься! Передохнем и пойдем. Они трусливые, главное — сильно шуметь! — Маша закрыла глаза и отдалась пальце солнцу.

— Сколько раз, говоришь, ты встречалась с медведями? Десять?

Тишина...

— Пора! Долгий отдых — вред, —
скомандовала она вскоре.

— Но медведь как раз на этом спуске.

— Мы его слегка потревожим. — Маша уже
пошла в сторону косолапого. — Э-э-й!
Мишкааа! — крикнула в ладошки рупором.

— А-а-а, — вернули горы. Зверь
подслеповато водил головой: не видел нас.

— Э-ге-гей! — Маша усилила крик,
продолжая спускаться. Я шел следом.

Небольшой, видимо, молодой медведь уже
хорошо различим: блестящие глаза-пуговицы
смотрят прямо на нас. Увидел!

— Чего это он? — В голосе Маши
растерянность: зверь начинает двигаться
навстречу. — Мишка, стоять! — совсем по-
детски кричит она. Медведь ускоряет шаг.

— Маша, что такое?

— Не знаю... — Она не сводит глаз с
хищника. — Ори давай!

— Аааа! Ууу! Пошел! — нелепо летит в
долину. Медведь останавливается на холме.

— Уууу! Вон! Ууу! — ревет Маша. И сразу
мне: — Бей палками!

Лязгаю скрещенными над головой Leki:

— Прочь! Проваливай! Ууу!

Звон. Крики. Страх.

Вдруг медведь встает на задние лапы. Мы
замираем, зверь тоже. Еще миг — и он бежит
на нас.

— Твою мать! — Маша разворачивается,
стремглав пролетает мимо меня на вершину —
и со всех ног вниз — туда, откуда мы недавно
еле поднялись.

— Маша! Маша! Ты чего? Что делать?!

— Беги, бля! — доносится удаляющийся
голос.

Крутой склон, камни, трава, тяжелый
рюкзак бьет в спину, ноги Маши мелькают
далеко впереди, падаю. Копчик! Больно!
Вставай! Беги, беги! Взгляд назад — где зверь?
Морда на вершине? Показалось! Не
оборачивайся! Подворачиваю голеностоп.
Беги!

— Пиипеец... — Маша тяжело дышит.

Быстрый ручей захлестывает камень, на
котором я стою на коленях. Ледяная вода
отключает ноги, ледяной водой обливаю
голову. Обоих облепила мошкара — не
замечаем: ушли, спаслись!

— Он не побежал за нами, не побежал. —
Маша в оцепенении.

— Бежал же.

— От зверя не уйдешь. Вот я дура! Нельзя
бежать! Зачем он на задние лапы встал?!

— Что ты психуешь? Ушли — и слава Богу.

— Я столько лет в горах, нельзя, нельзя...

— Пойдем лучше подальше отсюда.

— Он не придет уже, не бойся. — Она
берет себя в руки.

— Кто-то говорил, что здешние медведи не нападают.

Маша не отвечает.

Долго идем молча.

— Хочу мужу позвонить.

— Здесь нет связи.

— На перевале будет. Родной голос нужен.

— Понимаю. — Я тоже хочу услышать детей. Опереться.

Снова идем в тишине. Организм чужой: голова пустая, мышцы не держат. «Какой же я идиот! Чуть зверю в лапы не угодил. А чего ты хотел? Приперся в дикую природу и решил, что все будет по-твоему? Только потому, что ты честный, а не как эти все? Уважаешь труд, себя не жалеешь, тренированный, терпеливый... Медведю-то что с этого? Дааа, конкретно место указали. Это тебе не выход из зоны комфорта, а оплеуха по самомнению. Медвежьей лапой!»

Дорога дается с трудом, из-за медведя придется сегодня брать сложный перевал. Путь преградила река, слишком широкая для брода — много снега в этом году — что ж, еще один крюк. Когда все это кончится... Небо темнеет, падают холодные капли, слышны перекаты: только не гроза! Подходим к скале. Плохая она: голая, камни крупные, мокрые. Маша говорит, что сразу за ней долина, а там и перевал, за которым уже встанем. Еле беру середину скалы. На скользком камне качнуло: рюкзак дернул вниз, едва удержался. Страшно и плохо мне. Дышу на небольшом уступе. Маша с опаской смотрит сверху:

— Дай мне свой рюкзак.

— Отстань.

— Дай, говорю!

— Отстань! — С усилием ставлю ногу на следующий уступ, выжимаю, еще, еще...

Сидим наверху. Впереди пологий участок с крупными камнями, потом перевал и все. Господи, неужели сегодня будет все?

— Я поэтому спрашивала, боишься ли ты высоты. — Маша как будто немного осунулась. — Реально стремная скала.

— И поэтому решила взять мой рюкзак? — Здесь уже можно поиграть в «мужика».

Маша молча берет свои вещи и идет вперед. И я иду тоже.

Спустя час мы на перевале. В небе вижу красивую крупную птицу. Красивая... Мне уже все равно: сил совсем нет.

— Это нервяк сработал, физиухи еще полно. — Маша с телефоном уходит за камень. Достает свой — одна палочка связи.

— Привет! — радуется мама. — Рада, что ты в порядке. Сейчас дам детей.

— Пап, привет! — сообщают хором сыновья, коверкая буквы. — Ты где?

— В горах. — Детские голоса немощью отзываются в теле: больше сегодня ни шагу.

— А ты зверей там видел?

— ...

— Видел?

— Да. Орла видел.

— Там нет орлов! Это был сип белоголовый, да?

Подходит Маша. Устало улыбается, подбадривает: пришли уже, двести метров сбросим и встанем.

Идем по сыпуче, ноги никакие. Внезапно Маша аккуратно ускоряется с телефоном в руке: что-то снимает. Прищуриваюсь — вечернее солнце слепит глаза — недалеко от Маши стоит крепкий тур. Чуть позади него еще двое: статная самка и маленький туренок, нетерпеливо пересыпающий камушки циркульными ножками. Силуэты животных сияют мягким теплым светом. Спешу к Маше. Из-под ноги срывается камень и громким перекатом летит вниз. Туры в унисон скачут вверх. Маша укоризненно качает головой.

Палатку поставили на удивительно красивом плато: позади взятые горы, впереди резкий обрыв и река в долине. Быстро и молча ужинаем. Становится тихо и снаружи, и внутри. Маша готовится ко сну, я слоняюсь неподалеку. С турами засоседились: бродят совсем рядом. Подхожу ближе. Библейской кротости козленок беззаботно стоит на краю обрыва и с интересом изучает «венец природы» в моем лице. Невероятный закат огнем разливается за хребтом. Шорох. Оборачиваюсь: Маша отводит взгляд и прячется в палатке.

Оперативное совещание, Zoom, лица, слова. Мое лицо тоже здесь, скоро будут и мои слова. Сегодня третий день, как я вернулся. Как будто полгода прошло. Время вновь остановилось. Но не так, как в горах. По-другому. Та музыка больше не звучит, теперь только белый шум. Сознание человека не воспринимает отсутствие времени: что вечность, что небытие — одно и то же. Но. Когда ты занят нелюбимым делом, время не ощущается, оно словно мертвеет. И ты мертвеешь следом. Каждый день тянется невыносимо долго, а неделя за неделей, месяц за месяцем, исчезают в никуда. Когда же ты растворен в происходящем, все наоборот: время вновь не ощущается, но оно живое, ибо ты цельный и созвучен вечности. И вдруг каждый день летит быстро, но насыщенно, а неделя кажется огромным сроком, за которой произошло столько всего удивительного.

Достаю из портфеля плотный конверт — Маша вручила перед отъездом и попросила открыть в Москве. С плотной зернистой карточки на меня влажными акварельными глазами смотрит молодой тур на фоне пылающего неба.

Музей памяти

Валерий Верн

— Ну иди погуляй, — уговаривает с кухни мама. Она стоит в заляпанном мукой переднике перед сковородкой с его любимыми пончиками. — Второй день дома сидишь, про рыцарей своих читаешь.

— Да иду... — тихо бормочет Олег. Он уже минут десять топчется у двери, упирався взглядом в новые сандалии на ногах. — Мам, можно кеды?

— В такую жару? Хватит, иди. Каким должен быть рыцарь?

— «Рыцарь должен быть мужественным. Трусость — самое тяжёлое обвинение», — вслух вспоминает Олег. Вдохнув, он толкает дверь. Медленно выползает через тёмный коридор на улицу. И сразу прижимается спиной к соседской двери.

— Это кто у нас? Новенький? — Олег, вздрогнув, замечает справа на широком балконе лысого мужчину в зелёной майке. Тот наводит на мальчика толстые стёкла очков и вдруг густым басом рокочет:

— Лев Батехин. Солист хора Приволжского военного округа. Доложите имя, возраст и пол!

— Олег. Двенадцать лет. М-м-мальчик.

— М-м-мальчик, печенье хочешь?

— Нет.

— Захочешь — приходи! Договорились?

— Договорились! — улыбается Олег.

Сзади вдруг кто-то шарахает по фанерной двери ногой, и та больно толкает Олега в спину. Он отпрыгивает. Дверь получает ещё один удар, сердито грохочет и распахивается. Из подъезда выскакивает рыжий мальчишка, в панаме и с пластырем на переносице. Ростом гораздо меньше Олега. И тоже в сандалиях.

— О, здорово! Переехали? А меня батя за продуктами послал! Айда вместе! Или сначала двор покажу? Меня Веник зовут. — Мальчишка строчит без остановки, попутно стягивая панамку и запихивая её в авоську...

Спустя тридцать пять лет, в Стамбуле, брожу по старинным улочкам Чукурджумы. Глазею в лавках старьевщиков на османские раритеты и ширпотреб 70-х. Чашки с блюдцами, значки, отрывные календари, солонки, напёрстки... Невесть как дошедшие сюда олимпийские мишки и лыжники Ленинградского фарфорового завода. В этом районе ещё живы деревянные дома, заросшие плющом сараи и крохотные палисадники, а через окна проглядывают ковры во всю стену, нелепые трюмо, шифоньеры с жёлтыми газетными вырезками на боках. И здесь, в натуральном музее прошлого размером в несколько кварталов, меня вдруг оглушает родной с детства запах земли и ветхого дерева. Остаётся решить — дезертировать на яркий беззаботный Истикляль. Или остаться здесь, вспоминая и волнуясь. Чувствуя, что ещё несколько шагов — и вот он...

Двор

Двор показался Олегу огромным. Сейчас он был наполовину залит утренним августовским солнцем. Вторая сторона пахла сыростью и старым деревом. Внутри, окружённые двухэтажками, разместились домики поменьше, а в центре — серая трансформаторная будка с черепом и молнией. Асфальт был исчерчен «классиками».

— Ходим купаться в затон. На рынок за семечками. Играем в войнушку, в индейцев, в казаки-разбойники, — тараторил Веник. — Взрослые вечером под фонарём в лото режутся или в дурака. Вон там Чемодуровы. У них аквариум, мяч «Гала» и перископ от подводной лодки. Смотрел в перископ? А в углу видишь хибару? Там зеки живут, Эдик и Слава. Все в наколках. Один раз Эдик пришёл в кровище. У зеков кровь чёрная, потому что они чифирь пьют. И матом кроют. Знаешь, как материться?

— Конечно. Я сто раз слышал.

— Ну что ты слышал?

— Да всё.

— Я тоже слышал. Всё вообще.

Завтрак у бати Веника получался поздним. Венька показал, где живёт цирковой акробат Серёжа. В прошлом году его напарница разбилась, но Серёжа всё равно вышел на следующий день, без страховки. Он ездит везде, даже в Югославию, поэтому у него джинсы настоящие и календари с голыми женщинами. Ещё Серёжа карате занимается, зелёный пояс.

— Но это секрет, понял?

— Могила.

— Брюсли, слышал?

— Вроде да.

— Про Брюсли нельзя говорить. Арестуют.

— Почему?

— Тайное оружие. Его поймать не могут, по воздуху ходит. А тренируется знаешь как? Заходит в воду по шею, весь день стоит-бьёт руками. И по песку бегают.

— Где бегают?

— Леший его знает. Он ещё бедным помогает. Я тоже в карате пойду. А ты дрался когда-нибудь?

— ...Неа. А ты «Мечь и Закон» смотрел?

— Три раза ходил! Так, дядю Лёву ты видел. Он весёлый, пластинки с балкона крутит. Тут Каравацкие, дядя Вадим фотокорреспондент. Там Ковальковы, у них пианино. А вон, в полуподвале — бункер Гитлера.

— Как это?

— Там... Блин горелый, от бати влетит! — опомнился Веник.

— Погнали!

Выскочив из двора, мальчики столкнулись с двумя девчонками. Те уставились на Олега. Одна светленькая, в белой футболке и короткой коричневой юбке. Другая — темноволосая, глазастая. У неё всё было тонкое — тонкие косички до плеч, тонкое простое платье. И тонкие, очень красивые колени.

— Салют, красавицы. Откуда в такую рань? — не растерялся Веник.

— Салют, мальчиш! Привет, рыжий! — в тон ему откликнулась светленькая. — Много будешь знать — не вырастешь! — Девочки засмеялись, обогнули мальчишек и побежали во двор.

— Олька, беги потише, сверкаешь! — крикнул Веник вдогонку.

— Дурак! Я не сверкаю, у меня юбка кримпленовая, — ответила светленькая, крутнувшись на бегу в воздухе.

— Сами дуры, и уши холодные, — пояснил Веник товарищу. — Олька — моя. Но всё, надоела. Ссориться будем. А вторая — Ирка Ковалькова.

— А Ира с кем дружит? — Олег почувствовал, как загорелось лицо.

— Ни с кем. Она тихоня.

— А сколько девочек всего во дворе?

— Леший их знает. Толку от них...

Дружба

Веник на бегу спросил Олега о его делах. Тот рассказал о коллекции значков, пойманной с дедушкой щуке и книжке про рыцарей Круглого стола. Зачитал правила из кодекса чести: *рыцарь держит слово; не бьёт упавшего; не отказывается совершить благородный поступок...*

В ответ Венька сообщил, что ему тоже двенадцать, всего без пяти месяцев. И он рос нормально, пока бабка из Риги не переехала.

— Каша каждый день, я расти и перестал. Домой загоняет. Сандали вон детсадовские купила. И панамку.

— Зачем панамку?

— У меня веснушки. Чуть обгорю, кожа слзлит. Так она не даёт ошмётки сдирать. А нос вообще заклеила. Фрекен Бок, а не бабка. А знаешь, какое у меня имя полное? Вениамин. Тоже её работа...

В хлебном они прошлись вдоль полок, тыкая в буханки большой двурогой вилкой. Купили батон и городскую булку.

— Теперь айда в гастроном!

— Слушай, а почему «Бункер Гитлера»? — напомнил Олег.

— Игорь Петрович. Кличка «Адольф». Такой гад... Рядом с бельём не играй, в сараях

не прячься, на асфальте не рисуй. Родителям стучит. Мы против него диверсии проводим!

— Как?

— Ну, сапоги к полу гвоздями прибили. Голубя дохлого на дверь повесили. А раз он шёл по Ленинской, мы с крыши ему под ноги череп скинули. Адольф аж подпрыгнул!

— Череп? Ничего себе!

— Ага. На пустыре нашли. С рогами.

— А чей?

— Леший его знает. Может, коровы. Или как его, Мефистополя...

В гастрономе Веник взял молока и попросил отпустить любительской «с довеском». Продавщица, ухмыльнувшись, добавила к большому куску колбасы ещё пару ломтей.

— Налетай, подешевело! — гордо объявил Венька на улице, развернув серую бумагу. Колбаса пахла на весь район.

— На улице? Руки немытые. Нельзя!

— Можно, если осторожно, — мудро парировал Веник.

В кодексе чести про это правда ничего не говорилось. И мальчишки, разломив булку и положив сверху по куску колбасы, стали есть прямо на ходу...

В моём музее памяти — бутерброды с любительской колбасой, молоко в треугольных пакетах и булки за 6 копеек. Там длинные проходные дворы, где летом шампиньоны и ростки клёнов пробивают исчерченный мелкáми асфальт. А зимой, поддёртые шестами с гвоздём, тянутся верёвки с каменными от мороза простынями. Там блестят и пахнут клейкие тополиные почки, из-за тонких дверей слышится прокуренный

кашель. В моём детстве такие же вот отрывные календари и солонки. И лото с бабушками под фонарём. И вообще — то же ощущение времени и быта, даром что столько вёрст и столько лет отсюда. Там дядька повторяет присказку, в которой нам, малышам, понятны только предлоги: «Бананы ел, пил кофе на Мартинике, курил в Стамбуле злые табаки. Они по мне... они по мне... они по мнению моему горьки. Они вдали от родины горьки».

Любовь

Дома Олег оставил нетронутой тарелку с пончиками. Прилипнув губами к медному крану, жадными глотками напился холодной воды. Упросил-таки маму выдать ему кеды. И снова помчался во двор.

— Здравствуйте, молодой человек! — На скамейке под балконом дяди Лёвы сидел какой-то старик. Тёмный костюм, светлая рубашка застёгнута под горло. Редкие волосы кривой чёлкой свисали на лоб. «Адольф» — догадался Олег.

— Здрасьте.

— Здраваться со старшими первым вас не учили? Нехорошо. Папа ответственный работник, стыдно должно быть.

Откуда Адольф уже в курсе работы отца? Тот действительно был «ответственный работник». За что он отвечал, Олег не знал. Но отец всегда возвращался поздно, долго сидел насупившись, помешивая ложкой в стакане с чаем. Или читал книгу — в последнее время «Философский камень».

— Здесь у нас не анархия, — гундел Адольф. — А контроль и дисциплина. Придётся соответствовать.

— Извиняюсь, — пробурчал Олег.

— Сами себя извиняете? Надо говорить: «Извините, пожалуйста».

— Извините, пожалуйста, — по слогам произнёс Олег, глядя старикану в лицо и не мигая.

— Так-с, мы ещё и переговариваемся. Очень умные? Или очень взрослые... Ну посмотрим!

Олег развернулся и побежал к ребятам.

Пацаны уже собрались на брёвнах у сараев. Веник представил нового друга. Олег пожал каждому руку. Были два Лёшки, совсем мелкие. Толстый Игорь Корнеев, на год младше Олега. Диману и Серёге было по десять.

Девочки впятером чуть подалее прыгали через верёвочку, придерживая края платьев руками. Ира там тоже была. Иногда девчонки сбивались в кучку, шептались и поглядывали на новенького. Когда мальчишки уже собрались пошляться по крышам сараев, к ним приблизилась Олька:

— Давайте вместе поиграем.

— Больно надо, — протянул Веник. — Во что?

— Ну в штандер.

— Надоело в штандер.

— Ну или в пионербол.

— Надоело в пионербол.

Решили играть в «двенадцать палочек». Первым водил Димка, и Олег поразил всех, резко рванув из укрытия и разбив палочки, как только Димка отошёл. Играли долго, и всегда отличался кто-то из мальчишек или из старших девчонок. И только Ирке не везло. Девочка раскраснелась, запыхалась, злилась. Платье прилипло к спине. Но каждый раз она не успевала, её замечали и застукивали.

Когда водил Серёга, Олег решил спрятаться за трансформаторную будку. До него этого никто не делал — боялись, что может убить током.

За будкой он оказался не один. Ирка понеслась следом и, забежав в укрытие, взглянула на него исподлобья.

— Ты смотри с той стороны, я с этой, — шёпотом предложил Олег. Они заняли места по углам.

Серёга сначала ходил в другую сторону и уже застучал двоих. Теперь он направился к будке. Видя, как напряглась и попяtilась Ирка, Олег понял — вода близко и идёт с её стороны. Если он, Олег, сейчас рванёт, то точно успеет первым. И он уже было двинулся. Но оглянулся.

Ира смотрела на него, и в глазах были обида и отчаяние. Что делать? *«Рыцарь не отказывает тем, кто просит о помощи»*. Он поманил девочку, за руку притянул к себе.

— Я отвлеку, а ты беги, — прошептал он ей на ухо. Для этого пришлось прислониться вплотную. Олег почувствовал её дыхание, разглядел волосики и капельки пота на шее. Его трясло. Не от страха, от чего-то другого. Выиграть вдруг стало очень важно.

Они поменялись местами. Вперёд! Он выскочил из укрытия и треснул кулаком по стене будки. Серёга опешил, потом заорал «Олееее!», развернулся... но Ирка уже летела впереди, и даже со спины было видно, какая она счастливая.

Война

После обеда парни забрались на крышу сарая, чтобы обсудить план диверсий против ставки Гитлера. Идей было много.

— А давайте сделаем штаб! — вдруг сказал Венька.

У всех загорелись глаза.

— Ух ты, штаб! — мечтательно произнёс один из Лёшек. — А где сделаем?

— Можно в сарае у Каравацких, они не пользуются, — сообразил Корней.

— А назваться можно «Рыцари правды», — предложил Олег. — Эх, знамя бы ещё...

— Знаю! — заорал Веник. — На школе два флага висят!

К школе отправились вечером. Олег с Серёгой стояли на шухере. Дождавшись, когда не будет прохожих, Корней подсадил Веньку...

Мальчишки неслись по Садовой, по очереди передавая тяжёлый флаг друг другу. Чтобы он развевался, как в кино, бежали быстро.

В сарае знамя закрепили на стене.

— Поклянёмся, что будем верны нашему делу, — произнёс Венька. — Клянусь.

— Клянусь! — отозвался Олег.

— Клянусь, клянусь, клянусь, — подхватили остальные.

Стемнело. Взрослые выползали из домов. Кто-то сидел на лавочках, другие за длинным столом под фонарём. «Стульчики!», «Дедушка!», «Барабанные палочки!» — доносилось оттуда.

Все умолкли, когда появились два милиционера в сопровождении семенящего за ними Адольфа. Они направились к двери Олега.

Через минуту оттуда выглянула мать: «Быстро домой!»

Отец сидел с неожиданными гостями на кухне.

— Подойди. Кто придумал снять флаг?

«Нет для рыцаря вещи более отвратительной, чем предательство», — стучало в голове.

— Будешь молчать?

«Нет для рыцаря...»

— Ну?

— Я придумал.

— Марш к себе.

Олег, шатаясь, ходил по комнате и старался что-то расслышать. Хриплый визг Игоря Петровича был громче других голосов: «Дискредитация... государственный символ... рыцари правды, видите ли... партия... колония... фронтовик». Слышались спокойные вопросы милиционеров и тихие ответы матери. Отец молчал. И это было самое страшное.

Адольф вновь что-то затынул, но тут его наконец перебил чеканный голос отца. Теперь Олег различал каждое слово. «Я вас послушал. И вы послушайте. Дети играют — не в карты, не в домино. А в рыцарей. Это, по-вашему, плохо? Партию приплели. Вам самому не стыдно?»

Отец продолжал говорить. Но Олег уже ничего не слышал. Он присел на кровать, вцепившись в край матраца. Лёг на бок. Комната плыла...

В городе моего детства теперь не играют во дворах. Хотя там и сейчас ещё доживают век идущие под снос дома, низкие сараи-дровяники и покрытые ржавой жёстью

мезонины со шпилем. Там так же пахнет деревом в старых кварталах, а весной к двум рекам, как здесь к морю, по крутым спускам улиц в ручьях мутной воды несутся горелые спички и фантики от карамелек...

Олег очнулся, почувствовав руку мамы на лбу.

— Всё хорошо. Раздевайся, ложись.

— А милиция?

— Ушли. Вениамин флаг принёс. Переживает за тебя. Хороший парень. И девочки заходили. Одна тараторка такая. А вторая молчала. Красивая. Отдыхай давай, надёргались. Отец вон корвалол пьёт.

— Mam, что такое «философский камень»?

— Не помню. Папу спроси. Кажется, камень мудрости. Или он всё в золото превращает...

Мама ушла. Стало совсем тихо. Олег в полудрёме вспоминал свой бесконечно длинный день. Думал о том, спит ли сейчас Веник. Гадал, кто из пацанов мог оказаться предателем. Обещал себе ничего не бояться. И ещё обязательно раздобыть философский камень и подарить... его... Ир...

Ни отца, ни Веньки, ни Ирки уже нет. Да и вообще тот мой музей — исчезающий, в нём ничего не может прибавиться, может только уйти. Ковры и шифоньеры, знакомые лица, голоса друзей, дворы и палисадники. Учителя, не дождавшиеся слов благодарности. Мечты и книги.

Город-музей вытирается, пустеет. Перетекает в память запахов — самую стойкую и необъяснимую из всех. Ту, что может спать годами, а потом вдруг проснуться в старом стамбульском квартале и совсем растревожиться от криков босфорских чаек.

Skunnu

Галина Роголёва

Лидочка привыкла уже к этому прозвищу. Так, сначала вроде бы шутя, мимоходом, сосед её обозвал. У него самого-то кличка чудней не придумаешь: «Нехай»! Настоящее имя никто и не помнит. «Нехай» — эта присказка у деда в речи — с рождения, наверно. Он из курских переселенцев — у забайкальцев такое слово не водится. От Нехая к Лидочке и прилипло: Скиппи да Скиппи. Вся деревня вскоре стала кликать, даже малышня сопливая.

Австралийский сериал по телеку шёл с таким названием — по имени главной героини. Больше тридцати серий! Скиппи — это кенгуру. Милая, смешная и умная. До того она всем полюбилась, что улицы по вечерам пустели, как когда-то при «Семнадцати мгновениях весны». Прыгает, скачет по зелёному-презелёному, аккуратно постриженному лугу заокеанское животное, жизни радуется. В нашем степном, продуваемом всеми ветрами посёлке сроду такой зелени не было. Лидочке даже казалось, что она запах травы на том лугу чувствует. Не нашенский запах, а как будто духами «Быть может» оттуда слегка наносит. Духи эти польские, Господи, когда ж это было! — отец маме с Москвы привозил. Лидочка бутылёк пустой потом долго в портфеле, чуть ли не до окончания школы, носила...

А траву в парках Австралии специальными машинами подрезают, и такие ровные, чистые поляны образуются — загляденье! По этой ну прям изумрудно-сказочной траве кенгурушки скачут, и в больших карманах у них на животе детёныши сидят. Хо-ро-шень-кие!

Лидочка росточка небольшого, но крепенькая. Волосы светлые, а глаза тёмные, лукавые такие — азиатские — и подводки не надо! Из-за глаз у Лидочки постоянно какие-то неувязки — в детстве мальчишки дразнили на разные лады, а недавно мужчина восточной наружности в электричке прицепился: «Какой ты национальности?» Она: «Русская я». А он — сердито даже: «Зачем ты своей нации стесняешься!» Ну, намешали её предки бог знает в каком колене разных кровей:

бурятских, тунгусских, монгольских — в Забайкалье таких издавна гуранами¹ обзывают — так что с того?! Пол-посёлка ведь у нас — гураньё!..

Между прочим, skip, — Лидочка в школьном словаре русско-английском подсмотрела, — прыгать, скакать означает. Выходит, Скиппи по-нашенски «попрыгунья» или «попрыгушка» будет? И при чём же тут она — Лидочка? Ой, да понятно при чём! Ведь у неё с Коляшей, когда сериал начался, трое ребятишек уже было: четырёхлетние двойняшки Анечка-Манечка и годовалый Ванечка. Имена детям Лидочка сама давала, они ей песней слышались: Анечка-Манечка-Ванечка! С Коляшей как после школы поженились по большой любви, так и начали рожать — обоим по двадцать с небольшим, а уже многодетные!

Мужа её с малолетства и свои, и чужие только Коляшей зовут. Мать, как в деревне судачат, нагуляла Коляшу по молодости и бабушке подкинула. Коляша мамку-то мамкой никогда не называл. Когда маленький был — Валькой кликал, как бабушка. Теперь вообще никак. Мамой была бабушка. Она своих ребят, а их семеро, держала в большой строгости, даже жёстко, может, потому и разбежались все за лучшей долей — кто на север, кто на юг. В деревне тётку Марю, она же Колиха по мужу, все боялись и за глаза гром-бабой звали. Но к Коляше бабушка относилась... сердечней не бывает. Она его в честь деда Коли и назвала. Тот с войны весь израненный вернулся, оттого недолго протянул...

Лидочка с Коляшей лет с пяти неразлучны. Дома их рядом были, вот и не вылазили из общей песочницы меж дворами, а потом за ручку в школу пошли. У Лидочки из родных никого не осталось: после ранней смерти матери — «надорвалась в 90-е», бабушка тоже вскоре ушла, — Лидочка едва успела школу закончить... А папка ещё раньше на заработки подался и с концами сгинул.

Вот теперь она с ребяташками своими и прыгает-скачет, выкручивается как может. Ни нянек, ни детсада, ни бабушек. Коляша с восьми до восьми на работе — курсы монтеров путевого хозяйства окончил и на железной дороге безопасность движения обеспечивает.

А Лидочке — корову подоить, детей покормить, постирушки в баньке организовать, летом — огород полить, зимой — печь протопить... Ещё куры и поросёнок, собака и котёнок... Да мало ли дел на селе — от зари до зари! Бывало, бежит в магазин: Ванечка на маминой груди дремлет, шалью привязанный, двойняшки по обе стороны за подол цепляются или, как те кенгурята, впереди мамы скачут... Не тогда ли сосед это прозвище к ней приклеил?

Только к ночи, когда семейство утихомирится, Лидочка стул к трюмо придвинет, косынку с головы съёрнет и выпустит наконец на свободу красу свою гордую — волосы то ли медного, то ли медового цвета рассыплются по плечам, по груди — до колен. Сколько раз постричь собиралась, да Коляша ни в какую не даёт... Посидит она так, расслабившись, заплетёт слабенько косу и к мужу, уже заснувшему с устатку, под бочок...

— Ли-и-доч-ка! — оборвал её мысли крик за окном. Набросила куртку на плечи и выскочила из дома — к калитке. А там Вовка Круглов, одноклассник, возле иномарки стоит. Откуда? Он же после их свадьбы с Коляшей вроде в Приморье укатил!

На свадьбе Круг смурной какой-то сидел. А перед отъездом в Приморье с букетом марьиных кореньев к ним с Коляшей заявился, но того, как назло, дома не оказалось. И вот те на! — что-то невнятное тогда Круглов начал бормотать. То ли Лидочка замуж поспешила, то ли он бы ей больше дал. Чего бы дал-то? И всё обнять пытался да причитал:

— Ты понимаешь, что поспешила? Ты понимаешь, что потеряла?

Лидочка и не понимала и не хотела понимать. Никогда ей Круглов не нравился. Хоть и ростом Коляши повыше, и в плечах пошире, и поглазастей, и на язык резвее. Да она его симпатии не замечала. Со смехом

тогда отшутилась. Всего доброго Вовке на дорожку пожелала. А вот теперь... теперь-то чего заявился? Лидочка мигом у калитки оказалась. С улыбкой приветствовала:

— С приездом, Володя! Надолго прибыл?

Тот, весь такой «при параде», рукой полукруг назад обвёл — в сторону сверкающей красной полировкой машины:

— Да вот, за тобой прикатил, как обещал!

Лидочка рассмеялась:

— Всё шутишь!

— Нет, не шучу! Я Коляше обещал приехать и приехал! Он же мне тебя проспорил — за машину...

— Вова... — пробормотала Лидочка, всё ещё доверчиво и с улыбкой.

А тот посерьёзnel:

— Не веришь? У меня и расписка есть!

Лидочка руками замахала:

— Ну чего ты глупости несёшь! У меня ребяташки в доме одни, борщ на плите закипает... Нету времени шутки шутить. Коляша на работе — приходи к вечеру, посидим, наших вспомним... — И, подмигнув, добавила: — Чайком побалуемся!

Вовка было, за калитку взялся, чтоб зayти, но тут то ли Анечка, то ли Манечка с крыльца закричали:

— Мама, суп убежал, мама, суп убежал!..

Лидочка, спохватившись, прощально Круглову рукой махнула и побежала к дому суп спасать...

После в хлопотах по хозяйству почти забыла о Вовкином визите. Но, когда Коляша с работы вернулся и она начала ему за ужином привычно докладывать о прошедшем дне, вспомнила и красную иномарку, и дурацкие Вовкины слова: «За тобой прикатил». Она со смехом начала это рассказывать мужу, не замечая, как он меняется в лице.

— Вот, значит, как повернул! — прихлопнул Коляша по столу ладонью. — Ну, погоди, разберёмся...

...Ночью Лидочка резко проснулась. Слегка в постели поёрзала и холодок со спины почувяла. Рукой повела — нет Коляши. По нужде пошёл? Ночник включила: три часа... Где он? Ноги в тапки сунула, халат накинула... В детскую заглянула — сопят все... На кухню прошла — никаких следов Коляши. Случается, что он по ночам перекус устраивает. Но нет, на столе чисто...

До утра промаялась. И чуть свет по соседям побежала — пропал Коляша!

Только к вечеру милицейская машина к дому подкатила. Знакомый участковый — брат Коляшиного бригадира — сообщил: Вовка Круглов в больнице в реанимации, а её благоверный — в следственном изоляторе, сам под утро в отделение милиции с повинной явился.

От этих известий Лидочка, как подкошенная, под ноги милиционеров и рухнула. Дед Нехай со своей Таисьей, благо она у него фельдшерица, едва Лидочку в чувство привели да валерьянкой отпоили. А милиционеров уговорили не трогать девку пока. Пообещали утром отправить её в милицию — рассказать, что о случившемся знает. Сами они ни о чём не ведали.

Наутро Лидочка, пристроив ребятишек у соседей, побежала в милицию. К Коляше её не пустили. Сбивчиво поведала следователю о визите к ней Вовки Круглова и о реакции мужа на её рассказ. А когда выходила из кабинета, столкнулась с бригадиром путейцев — вызвали, видно, по повестке. Лидочка кинулась было к нему, но...

— Натворила ты, девка, делов! Земля-то слухом полнится, — оттолкнул её взглядом Фёдор. — Допрыгалась, Скиппи! Довертела хвостом! Круг не успел явиться, как уже вся деревня знала, что за тобой прибыл... Кем я Коляшу теперь на околотке заменю?! А ребятишки как без него? — Увидел реакцию оцепеневшей Лидочки и, всё же смягчившись, добавил: — Беги в больницу, уговаривай своего Круглова, чтоб забрал заявление!

— Он же в реанимации, — прошептала Лидочка.

— Да в палате он, в хирургии — с разбитой мордой и ещё с чем-то... Менты тебя вчера припугнули, а ты, видно, их ещё больше своим обмороком, — хмыкнул Фёдор, — мне братан уже всё рассказал. Характеристику вот несус, спасать надо Николая.

... Через пару часов Лидочка спешила домой, озабоченная оставленными детьми. Но забинтованная голова Круглова, затёкшие глаза, распухший нос и несвязный гундосый лепет — то о своей вине, то о вине Коляши, — не давали ей вдохнуть полным вдохом. Хотя Круглов и пообещал не заявлять на мужа, Лидочка боялась, что явка с повинной самого Коляши сыграет против него.

Дома ждала её Колиха. Она чуть ли не в первый раз к ним явилась. Сидела на диванчике за кухонным столом. Ребятишки, к Лидочкиному удивлению, совсем породственному облепили бабку: близняшки по бокам, Ванечка прикорнул у неё на коленях.

— Допрыгалась, попрыгушка, как там тебя — Скиппи-Скоппи? — зашипела старуха. — Ишь, каки фортели под тихушку выкинула! Вся деревня гудом гудит! Если парня моего посадят, ребятишек у тебя не будет!

— Бабушка-а-а... Круглов простил Коляшу! Отпустят его. Вовка сам признаёт, что виноват! Отпустя-а-ат! Простите меня, прости-и-те!

Осторожно подхватив из рук бабки спящего Ванечку, Лидочка сквозь слёзы с опаской смотрела, как та тяжело поднялась с диванчика. Близняшки с готовностью подвинулись, пропуская её, и тут же кинулись

к маме. Бабка задумчиво пригладила ладонью клеёнку на столе, оперлась о него обеими руками, выпрямляя затёкшую от долгого сидения спину и наконец глянула на невестку известным всему посёлку жёстким взглядом:

— Всё поняла? Чтоб тише воды, ниже травы посиживала эти дни! Мне ведь быстро донесут, сама знашь, каки вокруг глаза да уши!

Лидочка только молча кивала, прижимая к груди сына.

Уже ухватившись за дверную ручку, Колиха оглянулась и многозначительно изрекла:

— Добра слава-то лежит, а худа вприпрыжку бежит! Попомни!..

Приласкав и уложив детей спать, Лидочка, как обычно, присела к трюмо. Распустила и причесала волосы, заплела их на ночь в косу. Мысли бессвязно прыгали, лишь какая-то молоточком выстукивала одно и то же: Коляша, вернись, Коляша, только вернись... Уже юркнув под одеяло, явственно услышала вдруг мамин голос: «Ох, Лидочка, что теперь люди скажут?»

Людского суда мама боялась больше всего. Лидочка порой даже обижалась и сердилась на мать: «Тебе люди важней меня?» Но сейчас она, может, впервые почувствовала мамин страх за будущее дочери и желание оградить её от беды. «Мама, мама, мама...» С этим и уснула.

Утро выдалось солнечным и на редкость для забайкальской весны безветренным. У Лидочки на такую погоду всегда настроение было на высоте. Быстро управилась по хозяйству и, пока не проснулись ребятишки, заглянула к соседям с благодарностью за вчерашнюю поддержку. Те уже чаёвничали. Тётка Таисья привычно подвинула табуретку к столу, жестом приглашая в застолье.

— Ты, Лидия, на людей не обижайся — погудят-погудят да сдуются. У нас всегда есть о ком посудачить. А то как же, и у магазина не за чем будет толкаться! — Дед Нехай не

удержался от наставлений: — Ты про дитёв думай. Они у тебя на первом месте. А мы уж всегда под боком, когда надо, выручим по-соседски.

Таисья согласно поддакивала мужу, подставляя госте угощение.

— И не бери сильно в голову, — продолжал дед, — мужики они того: подерутся, помирятся да опять растопыряются! Глядишь, не сегодня-завтра Колька твой зайвится. Ему наукой это, да и ты теперь с оглядкой будешь. Жизнь-то она учит.

После гостевания у соседей Лидочке малость полегчало. Да и дети не давали кукситься. А ближе к обеду прибежала Настя — Лидочкина ровесница и первая сплетница на деревне. Чуть не с порога запричитала:

— Ну ты как? Съездила вчера в милицию-то? Чё говорят? Вовка правда живой? Он чё, тебя со всеми ребятишками увозить собрался? А Коляшу теперь посадят? Ой, Лидка, чё говорят-то про вас!

Лидочка и слушала и не слушала. Ей уже не до сплетен было. Вчерашний день — хозяйству в урон: и дома надо прибраться, и ребятишек обиходить — искупать, обстирать. Они с утра от мамки ни на шаг — никогда ведь одни не оставались. Занимаясь своими делами, Лидочка односложно отвечала на Настины вопросы-уловки, из которых явно следовало, что их с Коляшей беда не сочувствие у земляков вызывает, а вроде как становится для всех развлечухой. Раньше Лидочка и сама легко включалась в подобные суды-пересуды. Теперь же физически ощутила их несправедливое, злое равнодушие. Кое-как выпроводила она Настю. Та вроде даже недовольная ушла — нечего и рассказать-то людям! Бросила только с порога:

— Ты, Лидка, в себе-то не держи — делись, легче будет!

Лидочка лишь отмахнулась. Что-то менялось сегодня и в ней самой, и вокруг. Реакция Коляши на Вовкины «шуточки», вчерашний визит бабки Марей, мамино ночное «чё люди скажут...» Наставление соседа Визит Насти... Что теперь со всем этим

делать? И как же легко можно в помоях искупаться! А всем ведь так приятно в нехорошее поверить...

Только вечером, усевшись перед трюмо, хлопнула себя по лбу: Евтушенко! «Голубь в Сантьяго»!.. Лидочка бросилась к книжной полке. Пролистала тоненькую даже не книжку — брошюрку в бумажном переплёте, всматриваясь в свои подчеркивания. Вот же, вот:

Рос шепоток заспинный, нехороший —

приятно в нехорошее поверить:

ведь сразу возвышаешься ты сам.

Лидочка прижала книжку к груди. Будто пелена с души спала. Что же мы с Коляшей такие простофили?! Да нет, не мы, это я чуть счастье своё не проскакала! Эх, Скиппи ты

Скиппи... Права Колиха, прав дед Нехай: с оглядкой надо жить! С умом, значит. Ей и Татьяна Ивановна — их классная — на выпускном говорила: «Нельзя быть такой восторженной, Лидочка! Очень уж ты открытая, простодушная. Нелегко тебе будет во взрослой жизни...»

А Лидочка будто утонула в своём счастье. Безоглядно верила, что все ей этого счастья желают... Вот теперь и аукнулось. Что же, на все замки надо закрыться? Как жить? Что менять?

Заплела Лидочка свою косу вечернюю. Свет погасила. Подушку взбила. Коляшину рядом пристроила. Погладила нежно. Возвращайся, Коляша! Будем заново жизнь начинать... Не хочу я больше быть Скиппи.

1. ***Гура́ны** — народность в Забайкалье, образовавшаяся в результате смешанных браков русских с бурятами, эвенками, монголами, даурами, маньчжурами. Слово *гуран* заимствовано русскими из бурятского языка и означает «самец сибирской косули». [↑]

Счастье есть

Заира Муртазова

Счастье можно найти даже в тёмные времена, если не забывать обращаться к свету

Дж. Роулинг

— Так хочется, — говорит мама, — увидеть хотя бы одного полностью и по-настоящему счастливого человека.

Молчим. Наблюдая за стремительно сменяющимся видом из окон такси, начинаем перебирать про себя всех родственников и знакомых. Найти счастливого не так-то просто: про каждого находится причина, почему он не может быть полностью счастливым. Кто-то болеет сам, у кого-то болеют близкие...

— Может, Аминчик? — не теряя надежды, вспоминаю девятилетнего племянника. Почему-то кажется, что дети априори счастливые.

Мама немного задумывается и смеется. И вправду, совсем неподходящий вариант. Можно привести тысячи примеров, когда Аминчик крайне недоволен жизнью (разрядилась батарейка, задали учить большой стих, день выдался слишком скучным, родители не дают долго играть в игры и т.д. и т.п.).

Я развожу руками. Выходит, полностью счастливых людей нет. Не делюсь своим открытием с мамой: она пожила дольше моего и уже давно об этом знает.

А потом мне думается, что в жизни каждого человека обязательно бывает если не день, то хотя бы миг абсолютного счастья. Он у каждого свой — этот миг. Радуга за окном, звонок близких, сданный экзамен, первые шаги и первое слово ребенка, подобранный с улицы котенок, покупка новых мелочей — что это, если не счастье? В этот миг преображается все на свете, преображается сам свет,

преображается человек. И о нем, конечно, нужно помнить. И о нем непременно нужно рассказывать. И я считаю, что лучший вопрос, который можно задать человеку, это не «как дела?», «что делаешь?» и «где ты работаешь?», а вопрос о его счастливом моменте.

Я набралась смелости и задала этот вопрос своей маме, тетям, сестрам, подругам, коллегам. Итак, расскажите о каком-нибудь счастливом моменте из вашей жизни?

— Когда мы учились в школе, меня с сестрой на каждое лето отправляли к бабушке с бабушкой. Они жили в горах, далеко от жары и комаров... И вообще далеко от всего. Под конец учебного года от ожидания каникул внутри нас начинали расти пружинки. От них хотелось прыгать и скакать. Еле доучивались последние майские дни. Жутко тянулись. В горах мы веселились один месяц. А потом... понимали, что тоскуем по дому и родителям. Каждый раз. Мобильных телефонов ещё не было. Добираться тоже далеко: восемь часов на машине. Поэтому нас отправляли с кем-нибудь на попутке (обычно это были родственники или односельчане, ехавшие на свадьбу или похороны). Таким же способом и возвращали нас домой. Чуть ли не в последний день каникул. Так или иначе, оставшиеся два летних месяца мы, маленькие дети, умело скрывали, что скучаем по мамепапе и хотим домой. Потому что бабушке с дедушкой нельзя об этом знать. Обидятся и пригрозят тут же отправить нас обратно. На автобусе. А обижать их нам не хотелось.

В один из таких дней бесконечного остатка лета мы выбрались за пределы поселка. За ягодами. Собрав ежевику (больше мы ее, конечно, ели, чем собирали) и почему-то устав, мы плелись домой. Пешком по грунтовой дороге. Издалека завидели машину. Порадовались: вдруг нас подвезут? Машина и вправду остановилась. Рядом с водителем

сидел дяденька, которого мы знали. Он и попросил нас подбросить. Мы утрамбовались сзади рядом с двумя другими пассажирами. Машина сразу же тронулась, и я обомлела — женщина рядом... прямо как моя мама: худая и стройная, с вьющимися прядями, смеётся маминым смехом и говорит ее голосом, и на ней почему-то мамино платье. А рядом... рядом сидит мужчина — точь-в-точь наш папа. Что? Я ахнула. Мама! Пружинки. В машине сидели мама с папой и смеялись над нашим потрясением.

— Мне в голову сразу приходит момент рождения старшего сына. Я тогда была ужасно измучена и почти ничего не понимала, но когда пришла в себя и увидела его рядом, забыла абсолютно обо всем и наконец поняла, что моя жизнь больше никогда не будет прежней.

Конечно, это кажется банальным, но именно это самый счастливый момент в моей жизни. Сейчас я часто устаю, грущу и даже иногда плачу, вспоминая о своих беззаботных годах до появления детей. Но отвечая на этот вопрос, я поняла, что несправедливо не ценю то, что имею, потому что раньше я мечтала и молилась, чтобы у меня была крепкая семья и дети.

— Иногда в жизни так случается, что горестные и счастливые моменты шагают бок о бок и приходят к нам, сменяя друг друга, словно калейдоскоп. Мое счастливое воспоминание такое же. Оно живет в моих мыслях рядом с несчастливыми. Но не перестает быть заветным.

Поздняя весна. Мы с подругой мчимся в аэропорт, подгоняя таксиста всеми силами и способами. С химиотерапии возвращается мой брат, и я никак не могу опоздать на встречу с ним. Мы прибываем на место вовремя, однако выясняется, что самолет задержали, и мы ждем его больше двух часов. Дует теплый ветер, в здании аэропорта полно людей, и мы, сидя на корточках, разливаем из

предусмотрительно взятого из дома термоса чай и пьем его вприкуску с пирожными ChocoPie.

Я помню запахи, вкусы и звуки. Они в моем сознании слишком обостренные, такие, что непохожи на воспоминания. Будто я проживаю этот момент прямо сейчас. Куча таксистов кричит, словно чайки, выстроившись у дверей аэропорта. Эхом разносятся анонсируемые ими направления маршрута. Мы ждем брата так долго, но когда он появляется в зоне видимости моего слабого зрения, я удивляюсь, словно он пришел слишком быстро и неожиданно. Весь мир вокруг становится таким красочным. Воздух наполняет легкие до предела, и мне кажется, что еще чуть-чуть, и я взлечу ввысь, как персонаж мультика, проглотивший надутый воздушный шар.

Я так часто вспоминаю этот вечер. Не хочу его повторять, но отчаянно жажду сохранить в голове на долгие-долгие годы.

— Ну, хороших воспоминаний много. Даже сложно выбрать. Расскажу про день, когда я пошла на премьеру фильма «Мстители: Финал». Я увидела заветную заставку к фильму, услышала ее начальные звуки, и мое тело покрылось мурашками. Я предвкушала, что в ближайшее время окунусь в мир Марвел и его ещё одной истории. Что буду наслаждаться режиссерской работой, игрой актеров и, конечно же, любоваться своими любимыми персонажами. Мне хотелось и смеяться, и плакать, прыгать, всех обнимать. Я понимала: в день премьеры фильма в кинозале собираются такие же, как я. Настоящие ценители киновселенной Марвел. И мурашки от этого бежали ещё быстрее.

— Самое счастливое воспоминание у меня совсем недавнее. Это момент, когда врачи приложили к моей щеке мою новорожденную дочку. Я испытала непередаваемые эмоции, с которыми, думаю, ничего не сравнится. А еще вспоминаю, как на следующий день с

трепетом ждала нового свидания с дочкой. Я лежала и все думала, когда ее привезут в мою палату и я наконец в трезвом и спокойном состоянии ее увижу.

— Я теперь о счастье говорю в прошедшем времени, и первое, что приходит в голову, это выставка Айвазовского в Третьяковской галерее. Очереди были гигантские, и с первого раза мне пробиться не удалось. Но на обратном пути с форума, прямо из аэропорта я отправилась к галерее. Быстро захватив картошку и кофе, по знакомому маршруту. Я увидела, что никого нет: значит, точно попаду на выставку. И когда вместе с аудиогидом я ходила по прохладным залам, на стенах картины любимого художника, я испытывала абсолютное, полное счастье. Потом еще много раз картины Айвазовского встречались мне в музеях, но тот момент был таким точно сконцентрировано счастливым, что о нем воспоминания никогда не исчезнут.

— Очень-очень давно, летом, когда я только переходил в 11 класс, мы поехали на охоту. Остановились высоко в горах, вокруг было очень красиво. На охоту вышли ночью. Нужно было долго сидеть и ждать. Я лег в бушлате на голую скалу и уснул, а проснулся уже на рассвете. Свет падал так, что долина осталась внизу, под горами. Восходило максимально красное солнце, плыли облака.

Я почувствовал спокойствие и беспечность. Не нужно было сдавать экзамены или куда-то спешить. Можно просто сидеть и смотреть. Этот миг я могу назвать счастливым.

— Конечно, человек в разном возрасте может быть счастливым абсолютно по разным причинам. Например, для маленьких детей счастье — это получить подарок на праздник.

Однажды наш класс решил организовать небольшой новогодний огонек, в котором могли принять участие все желающие, в том числе наши мамы. И вот настал этот долгожданный праздничный день. Мы собрались в классе, накрыли сладкий стол, много смеялись и шутили. А еще устраивали конкурсы с призами. В конкурсе загадок можно было выиграть красную шапку Деда Мороза. И именно я ответила на вопрос правильно и получила такой замечательный приз.

Не знаю почему, но в этот момент я была невероятно счастлива.

— Думала над вопросом, гуляя по парку. Действительно, какое воспоминание мне кажется счастливым? Я вообще считаю свою жизнь счастливой, а мелкие и крупные проблемы есть у всех. Но все же я выделила одно. Мы с мужем в браке почти шесть лет и очень ждали появления нашего ребеночка. Но так вышло, что в начале моей беременности у меня обнаружили гематому, и это грозило выкидышем. К счастью, я поменяла врача, мне назначили лечение, и на первом УЗИ мне сказали, что гематома ушла, малышу ничего не угрожает. Мне показали кроху, и я была счастлива, что он с нами.

— Сначала я подумала, что счастливых моментов в моей жизни не было. А потом — что, может, вся жизнь была счастливой, и потому я не могу вспомнить чего-то конкретного. Но нет, такие конкретные счастливые воспоминания все-таки нашлись. Это день, когда мой сын на отлично окончил школу, день, когда дочка получила золотую медаль и дни, когда они привезли домой красные дипломы об окончании университета. А еще я надеюсь, что самые счастливые моменты все-таки ждут меня впереди: женитьба сына, рождение внуков. Может, еще есть время?

А еще я чувствую счастье в самых обычных моментах. Смотрю, например,

сейчас, как два маленьких котенка играют с другой кошкой — не своей мамой, а та их вылизывает, и ловлю себя на мысли, что улыбаюсь. Когда нюхаю сирень, когда поет где-то вдалеке соловей или когда захожу в огород и вижу, как красиво цветут деревья. Может, это счастье?

— Мой счастливый момент в жизни связан с тем, что у меня родился первый ребенок. Во время беременности я часто болела, и врачи говорили, что малыш будет нездоровым. А он родился самым обычным. Был апрель, мы выписались домой, и я гуляла по огороду с дочкой на руках. Все вокруг было таким зеленым и ярким, распускались цветы, щебетали птицы, над головой расстилось бескрайнее голубое небо, а я была счастлива.

— Радости моей не было предела. Во мне все ликовало и пело: «Я поступила!». Это была моя вторая попытка. Год я горевала по поводу провала. Надо же было завалить последний экзамен, тогда как первые три были сданы на «хорошо»! Но теперь это неважно, ведь я студента 1 курса английского отделения факультета иностранных языков! Ощущение высоты и полета. Хотелось, чтобы вся вселенная знала об этом! Я не могла дожидаться, пока доеду домой и сообщу радостную весть родным и подругам. А ведь мобильников тогда не было! Электричка, в которой я ехала из Махачкалы в родной Избербаш, тащилась от станции к станции, словно черепаха. «Скорее, скорее!». Я оглядывалась по сторонам: «Все ли видят мое счастливое лицо?». По-моему, окружению было несложно догадаться, что у меня произошло что-то хорошее. Счастье распирало меня!

Много воды утекло с тех пор. Было много счастливых событий и моментов радости. Но яркий след оставил именно этот день, о котором я всегда вспоминаю с теплотой!

— Каждый миг жизни со своими радостями и, конечно, неудачами, проблемами, трудностями — куда же без них — это счастье. Не было бы их, и невозможно было бы понять и почувствовать, как ты счастлив ежедневно и ежечасно. А неприятности забываются, они нивелируются нетленными ценностями: дружбой, любовью, красотой окружающего мира. Так что унывать не стоит, а только наслаждаться тем, что тебе подарена эта самая жизнь в окружении родных и друзей. Это и есть самое большое счастье. А самое счастье-счастье для меня — это рождение детей и внуков.

— Счастливые моменты в нашей жизни наступают очень часто, хотя мы не всегда это замечаем. Счастье и вправду в мелочах. Возможно, моя история не покажется кому-то счастливой, но мне она запомнилась именно такой. У меня есть две тети, которых я люблю так же сильно, как маму (так дружно нас воспитала бабушка). Однажды на плановом УЗИ у моей старшей тети совершенно неожиданно обнаружили нехорошую болезнь. Мы сталкивались с подобным не в первый раз и по своему опыту уже не надеялись на легкий путь выздоровления. Походы по врачам не приносили никаких результатов, никаких прогнозов они не давали — нужно было делать операцию. И когда ее сделали, хирург обрадовал нас новостью о том, что новообразование доброкачественное. Его удалили, и теперь можно было вообще об этом беспокоиться. Мы не могли нарадоваться своему счастью. И эти воспоминания для меня сейчас счастливые, хотя рассказываю я о них со слезами на глазах.

А еще счастье — это возвращаться домой и обнимать своего ребенка, видеть живых и здоровых родителей, нарвать цветов в своем саду, заварить ароматный чай и пить его с авторским лимонником. Сидеть в кругу семьи и рассказывать о том, как прошел твой день. Благодарить бога за каждый вздох и за то, что проснулся живым. Сегодня, например, я пришла с работы и нарвала в саду роз. Насчитала 17! Они такие красивые! Я собрала их в аккуратный букет и теперь с нетерпением жду утра, чтобы подарить его одной

замечательной девушке. Просто так, без повода. И меня переполняет счастье, когда я представляю, как она будет радоваться.

Я думаю, что последние два года научили нас быть благодарными. Я хочу пожелать каждому, прочитавшему эти строки, мирного неба над головой. Пусть солнце всегда восходит над нашими головами!

Почти все, кто рассказывал о своих счастливых моментах, заканчивали фразой:

«Наверное, это не подойдет, сейчас постараюсь вспомнить что-нибудь другое». А мне хотелось кричать, что их рассказы прелестны и что нет ничего более подходящего, чем их истории.

Мне хочется, чтобы впереди были еще более счастливые моменты. Чтобы раздел памяти, в котором мы храним самое теплое и светлое, постоянно пополнялся и расширялся. А самое главное, чтобы мы помнили, что счастье в мелочах, что иногда оно такое неуловимое, почти прозрачное есть в жизни каждого.

— Да, мам. Полностью счастливого человека нет. Но зато так много просто счастливых людей! Мы все счастливы, представляешь?

Только не знаю, как рассказать

Ларуса Пругникова

Кажется, недавно, но уже двенадцать лет назад, когда мы возвращались с открытия первой биеннале современного искусства на Урале, моя подруга Лена сказала:

— Я — крёстная мать! Как крёстная, хочу, чтобы ты попробовала что-нибудь написать о том, как вы жили, как росла Алиса.

— Господь с тобой, Леночка. Что «как жили»? Как все мы жили, как дышали. Ты мне напомнила: «Я как мать говорю и как женщина».

И вот Лены не стало на белом свете. Теперь я могу с ней разговаривать или молча, или вслух, только через небо — тихо сам с собою. Мой муж часто посмеивался: как вы на своём тарабарском языке так легко можете объяснять друг другу — птичьи междометия, интонации, неочевидный вход в одну тему, а выезд в другую. И зять тоже как-то пошутил: вы обе очень любите Гоголя! Ну и хорошо.

Познакомили нас, когда я училась в десятом классе. Наша семья переехала из частного дома бабушки в новую квартиру: 60-е годы — строительный бум хрущёвских пятиэтажек. Нарядный дом из белого кирпича, толстые стены (папа говорил: в четыре кирпича), широкие подоконники. Несколько домов образовали большой двор. У родителей тоже наступило новое активное время — знакомства, походы в гости и новые дружбы. И как-то раз неожиданно мама приводит дочку друзей, у которых они были на празднике.

— Познакомьтесь, пожалуйста. Сидит эта барышня в другой комнате, книжку читает. Я говорю, пойдём, дорогая, я тебя познакомлю с другой читательницей.

И всё. Нам всегда нравилось делиться этой историей. Я говорила про пленение мягким взглядом её карих глаз — больше ничего не помню, а Лена — ещё про забываемый мой халатик в синий горошек.

Теперь я одна в той же квартире. Из того же окна видна улица уже не с домами 19 века (основательный каменный первый этаж и деревянный второй, и у каждого — где простенькие, где глаз не оторвать — окна с наличниками), а высотки Екатеринбург-сити и Ельцин-центра. В солнечный день отраженные от огромных стёкол лучи проникают вглубь моей квартиры и рисуют свои весёлые картинки прямо на дальней стене. Вечером я часто не задёргиваю шторы. В сумерках высотки радуют меня жёлтыми полосками офисных окон, а в полной темноте — бесконечными танцами бегущих по ним ввысь огней. Люблю фотографировать луну, то висящую между зданиями, то прилипшую к одному из боков, то прямо над крышей, в короне из красных огоньков самой высокой башни.

Понимаю, что сейчас и мною повторяется бесконечная история сожалений: мало знаю подробностей из детства Лены. Но зато мы быстро поняли, что у каждой из нас золотое слово детства — бабушка. Лена родилась на Чукотке. И у всех первый вопрос: как вы там оказались? Там её папа служил в гражданской авиации на аэродроме, который в годы войны был запасным воздушной трассы для перегона самолётов из США в СССР по ленд-лизу. Оттуда её увезли маленькой, и до десяти лет Лена жила с бабушкой, дедушкой и прабабушкой в посёлке Курганской области. Эта украинская семья, как раскулаченная, за двадцать четыре часа была отправлена на север (что тут скажешь — родители моего папы из Сибири с детьми так же варварски были выселены, как он говорил, на какие-то болота). После реабилитации не все разъехались по родным местам, не всем было куда возвращаться. Это был посёлок, построенный

бывшими заключёнными. Климат там помягче, чем на севере Урала, лето долгое, жаркое. Девочка Лена — вольный казак — в дружбе со всей живностью во дворе, огромными сладкими помидорами в огороде и полной свободой привольной жизни на природе. Лена говорила: мой рай на земле! Бабушка Леля — фельдшер, иначе говоря, круглосуточный работник в посёлке; внучка любила быть «хвостиком» и потом вспоминала, что кругом все — почти родня. Одним словом, ребёнку было хорошо, и многое он делал только по своему разумению.

Одну историю я помню хорошо. Родители — они уже переехали в Свердловск и решали вопросы с жильём и работой — привезли дочери-школьнице подарок. Тогда это был советский шик. Красный шерстяной спортивный костюм. У олимпийки отложной воротник с белой полоской застёгивался на короткую молнию и превращался в стойку. И самостоятельная школьница, никому не говоря, отправилась на лыжах, натянув эту красоту на голое тело в майке. Конечно, продуло, замёрзла, сильно заболела. Бабушка Леля долго её лечила. Когда родители забрали Лену, уже в 60-х годах бабушка с дедушкой вернулись на Украину.

Про своё детство я помню, конечно, лучше. До четырнадцати лет я жила с родителями и бабушкой на улице Щорса. В 50-х годах это была почти окраина, улица заканчивалась трамвайным кольцом — конечная остановка с депо. Бойкое было место, потому что за депо размещался рынок — бурлила торговая жизнь послевоенная «толкучка». Много деревянных рядов с разложенными на них кофтами, носками, резиновыми ботами, валенками, домашней старой утварью; прямо на земле или на газетах — картонные коробки с пуговицами, ещё чем-то цветным, рядом примусы. Много людей ходили туда-сюда с вещами, продавали или обменивали на те, в которых больше нуждались. У входа всегда один или два инвалида на деревяшках с подшипниками и железная кружка рядом. Детская боль из жалости и страха — скорей уходили. Мы бегали на «толкучку» за леденцами — любимые петушки на палочке. Но живых петушков, а также курочек, кроликов, голубей там тоже продавали. Мне казалось чем-то невозможно храбрым, когда моя двоюродная сестра Лёля, подросток, с подружкой взялись продать курицу бабушки и справились.

Родители работали, рано уходили, поздно приходили. Моё дошкольное детство — бабушка рядом. Встанешь — она уже во дворе, в огороде или на кухне: полуподвал нашего дома с двумя комнатами наверху, сенями, кладовкой, лестницами — вниз на кухню и выход на улицу. Зимой — печка натоплена, и в постели уже лежит тёплый лифчик с резинками для чулок.

У меня была чудесная бабушка, из тех, кто мал золотник, да дорог. Родом она из вятской деревни, глубинки России, где ещё до революции окончила только два класса церковно-приходской школы. Зато она обладала природной мудростью, не раз спасительным для нас здравым смыслом. Мой папа иногда приговаривал, что вот бы его тёще ещё и образование. Был у неё один персональный дар — всех наряжать. То самое искусство кройки и шитья, когда в 40-50-е годы приходилось из чего-то вырезать кусочки, сшивать, перелицовывать, и старое большое перешивать в новое, но поменьше. И бабуля моя, человек добрый, весёлый, дружелюбный, когда её приглашали в гости, задерживалась частенько на несколько дней, потому что надо было привести в порядок всё то, что оборвалось и обносилось.

В первый класс мама повела меня в школьном наряде, который тоже красиво смастерила бабушка. Моя родная школа — восьмилетка выглядела очень приветливо. Двухэтажная, желто-розового цвета, с большими окнами, стояла немного в глубине просторного, даже с тремя соснами, двора, поделённого на спортивный и садовый участки. Школа была недалеко, всего через несколько домов от нашего, на другой стороне улицы. Я любила из дома сразу переходить на школьную сторону. Дорога широкая: половина её разъезжена машинами, которых тогда было очень мало, в двух направлениях, а половина — пустырь. Там чудеса: камни, железки, какие-то палки — мы там рыться очень любили. Зимой вообще красота! И, если в это время моя ещё незнакомая Леночка топала в валенках в свою сельскую школу, я в валенках (как говорила бабушка — самокатках) любила медленно в ранней утренней темноте пересекать, выгаптывая тропинку, это снежное раздолье, и снежок, местами освещенный от фонарей с номерами домов, казался мне осыпанным огоньками бриллиантов из бажовских сказов.

Жизнь в этой школе — большой, безопасный, интересный, детско-пионерско-комсомольский мир, — осталась в 50-х годах.

Восьмой класс. 12 апреля 1961 года. Контрольная по математике. Было правило: написал, положил листы и вышел из класса. Иду тихо по коридору. Дверь учительской открыта, учителя машут: иди сюда, Гагарин! Помню, что дальше мы шумели, совсем сбитые с толку, ликующие и огорошенные уже всей школой. И в какой-то из этих эмоциональных дней бабуля рассуждала, что, конечно, Гагарин же бога не видел и по-вашему бога нет, а по-моему — пусть есть! Не сохранила я икону бабушки — небольшую, всю золотистую — теперь очень жаль. А Юра — мой муж, и он постарше меня, — рассказывал, что, когда в ЦУМе загремел голос Левитана, — он в это время покупал мечту, магнитофон «Днепр», — первое что пролетело в голове — война, а второе — у меня же деньги в долг.

Восьмой класс — выпускной в нашей школе. Уже несколько лет школьное фойе украшал огромный стенд: семилетний план химизации всей страны. Какова химия — такова жизнь! Яркие цвета каких-то жидкостей в колбах и узких пробирках, высокие трубы: мне нравилось всё это рассматривать. И уроки химии нравились. К концу года было решено — в новую школу пойду в химический класс.

И вот мы с Леной живём в одном дворе, а учимся в разных школах. Они, правда, рядышком, через дорогу, по одну сторону центральной площади города. Её школа №9, которой сейчас больше 160 лет, бывшая мужская гимназия — огромная, с шестью параллельными классами; наша школа №12 — традиционной советской конструктивистской постройки — бывшая женская гимназия. У нас в параллели было всего два класса со специализацией: химический и радиомонтажный. И как-то само собой к десятому классу сложилась компания навсегда любимых людей.

Всё бы жить, как в оны дни —

Всё бы жить легко и смело,

Не высчитывать предела

Для бесстрашья и любви...

Когда-то меня дочка спросила:

— Какое для тебя было лучшее советское время?

— Алиса, а ты помнишь в «Римских каникулах» с каким чувством ответила Одри Хепбёрн: «Рим, конечно. Рим!» Вот и я так же: 60-е, конечно, 60-е годы!

Во мне живёт то светлое время, тот многообещающий свежий воздух. Вспоминается, как в одиннадцатом классе в школе возник свой радиоузел, когда наша жизнь наполнилась, стала пронизанной звучанием Битлз и уже другой быть не могла; как в школе появился свой музыкальный ансамбль, и для нас он был прекрасен.

Мы поступили в разные вузы, но не потерялись. Лена давно уже стала общим другом в нашей компании. Нас можно назвать младшими детьми оттепели. Это время дружбы и бесконечного чтения: кто что выписывал из толстых журналов — «Юность», «Новый мир», «Иностранная литература», а «Литературную газету» — каждый. Конечно, мы любили вместе собираться, потому что надо всё выплеснуть на своих, понимающих и разделяющих. Хрестоматийный пример: «Мастера и Маргариту» нам удалось прочесть сразу, в журнале «Москва» из рук в руки. Именно о впечатлении от этого романа как прочитанном о чём-то, во многом непонятном, очень важном и неотпускающем, и получается вспомнить в первую очередь. Мы ещё не подозревали, сколько там цензурных купюр и какой полный текст уже будем перечитывать как книгу. Но когда я передавала эти два журнала следующему в очереди бывшему однокласснику, я уже выписала себе в блокнот: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана...», чтобы иногда перечитывать вслух, словно это музыка. В те годы в городе открылся невероятный магазин «Поэзия». Это наша юность, но тогда я правда не помню равнодушных хоть к кому-нибудь: Окуджава, Вознесенский, Ахмадулина, Рождественский, Евтушенко. Такое совпадение поэтов составило целое время.

Хочется самой себе напомнить, что это не только вольный воздух молодости. В целом, политический настрой в обществе — желание перемен. Папа с газетой «Известия» по вечерам и разговоры с обсуждением, как развиваются Косыгинские экономические реформы. И даже наш любимый гастроном на улице Вайнера: там мы часто обитали в кафетерии — натуральные кофейные и шоколадные запахи; нарезка «Докторской» колбасы — только тогда был неповторимый позднее, натурально качественный вкус; появились прекрасные мясные полуфабрикаты, и ещё, трудно поверить, но бывшие свердловчане заказывали по случаю привезти наши сосисочки в Москву — момент качества мясной продукции на Урале!

Мы с Леной завели моду и несколько раз ходили к друг другу на лекции, когда они читались потоку. Я к ней в пединститут на зарубежную литературу, она — ко мне в политехнический, на химфак. Увлёклись, но ненадолго. Была у нас и другая задумка. Пастернак уже забирал наши души:

Ещё кругом ночная мгла.

Такая рань на свете,

Что площадь вечностью
легла

От перекрёстка до угла,

И до рассвета и тепла

Ещё тысячелетье

Надо самим оказаться на нашей площади. Родителям сказали, что хотим ночевать у Иры — одноклассницы Лены — надёжный человек, без телефона. Не боялись, перед рассветом отправились, прошли огромное расстояние; на площади оказались, когда серость уже меркла, растворялась и становилась прозрачной. Дошли по центру до УПИ: улица Ленина упирается в политехнический институт. И только там нам навстречу попались два рыбака со своими снастями. Обрато нас уже вёз ранний трамвай, а как появились дома — память сейчас не подсказывает.

Я постараюсь выполнить, не сразу, но по порядку, пожелание Лены. Попробую рассказать: как Лена работала учителем в деревне, как вышла замуж за Вову и как они жили в Монголии; как мы жили в другие годы; как росла наша Алиса и как Лена её любила, гордилась ею и называла «солнце моё незакатное».

Устин Семенов

Оксана Малахова

Тобольск принял колонну ссыльных хмуро: над городом висела серая снежная туча, а вдали на холме мутным матовым блеском светились купола колокольни в Кремле. Им велено было остановиться у барака с высоким крыльцом, на которое наспех водрузили стол, будто кафедру. «Дождались, — думал Устин, почесывая в затылке. — Куда-то нас всех погонят теперь?»

Среди ссыльных и каторжан прошел слух, что на заводы никого не возьмут, мол, все места уже заняты.

— Авось и к лучшему, — говорили они между собой. — Сразу на поселение попадем, как раз к зиме знатно заживем.

Еще делились подслушанными в городе новостями: ожидают большую ссылку — бунт на Дворцовой площади в Петербурге закончился арестами.

— Самых рьяных в Сибирь отправят, вот бы глянуть, что там за народ в Петербурхах, — сказал один старик-каторжный. Он шагал, сильно припадая на одну ногу.

По всему было видно, что прием ссыльных в Тобольске был отлажен: сначала из толпы вывели колодников. Их тут же препроводили в соседнюю избу, местную тюрьму для каторжных. Судьба их была незавидная: выходить из избы можно было только для выполнения тяжелых каторжных работ. Говаривали, после года такого труда выживет лишь треть от прибывших: кто-то даже приговора не дождется — умрет в колодничьей избе от дифтерии или чахотки.

Оставшихся заключенных вызывали к крыльцу по одному: сверяли имена и приговоры, старательно вписывали все подробности в большую книгу. Тут же измеряли рост, брили и проверяли состояние

казенной одежды и обуви. Изношенные лапти или халаты забирали и выдавали новые.

Больше всего хотелось посидеть, но пока переключка продолжалась, садиться запрещалось. Тонкой струйкой тянулись заключенные к писарю. Там же узнавали свою дальнейшую судьбу.

Устин стоял среди таких же, как он: кто нарушил закон, стал изгоем в обществе и окончательно исчез из жизни своей семьи. Здесь были убийцы и конокрады, бродяги и беглые работники уральских заводов. В такой компании трудно отчаяться — Устин надеялся, что Сибирь примет его по-доброму. Раз уж удалось пройти столько верст, хватит сил и на новую жизнь. Старую он почти не вспоминал: еще в начале этапа, бывало, задумывался о семье: жене Матроне, детях. Младшей, Пульхерии, как раз должен был исполниться год. Устин и его попутчики часто коротали время, рассказывая о своих родных, но спустя месяц в дороге лица родных стали видеться как в тумане. Думал о них, и голова начинала трещать. По прибытии в Тобольск Устин решил больше о них не вспоминать. Переживет.

Стоя в очереди, Устин разглядывал плешивый затылок стоящего впереди кривого бродяги. Такого на завод точно не возьмут, а вот его могут. Тогда неизвестно, как скоро ему удастся наладить жизнь и, может быть, снова жениться. Ну, будь что будет.

— Имя?

— Устин сын Федоров.

— Фамилия?

— Салиенко.

— Другие фамилии или прозвища?

— Семенов, — неохотно ответил Устин.

— Приговор?

— Тридцать ударов и на поселение в Сибирь, — скороговоркой произнес он.

— Женат?

— Раньше был, теперь холост, — вздохнул Устин.

— Определен в ведомство сухопутных сообщений. Иди вон к тем, что по левую руку от барака. — Писарь махнул рукой, указывая путь.

Измерили рост и отпустили. Устин проследовал к кучке молодцеватого вида арестантов. Среди остальных они выделялись силой и статью: видно, что отбирали самых крепких и привыкших к труду.

Наверное, на завод, — подумал Устин, и его надежда пожить привольно в Сибири стала медленно угасать.

Когда толпа ссыльных перед бараком исчезла, пришел военный и приказал строем следовать за ним.

Ссыльные вновь пошли по городу: строем идти получалось не у всех, и вскоре строй смешался. Впрочем, шли они недолго — перед ними стоял военный гарнизон. Их встречали как долгожданных гостей — это Устина очень смутило: из шеренги военнослужащих вышел один высокий господин в звании майора и сообщил арестантам, что наутро их примут в военнорабочий отряд, и с этого самого дня они перестанут быть ссыльными и превратятся в трудовой военный батальон. Им выдадут одежду, обувь и даже жалование. Далее последовали длинные речи о важности дорожных артерий, а также труда рабочих для всей большой страны. Но это, казалось, уже никто не слушал.

Майор Шмит — так звали говорившего — завершая свою речь, упомянул, что сразу после присяги начнутся военные учения. После чего

всех развели по избам. Засыпая в тот день на постели, Устин думал о том, что закончился долгий путь в Сибирь, и уже завтра он проснется новым человеком.

Утром, еще затемно, Устину и остальным насельникам барака пришлось выйти на мороз. Собрали всех в большой избе в стороне от барака. Там при свете лучины у большого стола суетились двое солдат: каждому заключенному выдали суконные рубахи и брюки на завязках, рабочую куртку и шапку, онучи, солдатские сапоги и овчинный полушубок. Да еще черный галстук в придачу. Каждый отметил в особом журнале, на бумаге арестанты ставили крест — писать свое имя почти никто не умел. Устин тоже подписался как мог.

Переодеться и завязать галстук нужно было тут же, на месте, после чего военнорабочие отправились в церковь к обедне. После целования креста прихожане церкви стали расходиться. Священник вышел на амвон и жестом подозвал к себе группу ссыльных. На аналой он положил Евангелие.

Военнорабочие произносили текст присяги на верность Императору следом за чтецом, тянувшем каждое слово, как было принято в церкви. Там же выбрали старшин из грамотных: им выдали дорожный журнал и велели описывать работы, а также все замечания к военнорабочим.

Был после присяги праздничный обед в доме причта, на столах простая, но сытная еда, вино. За стол к Устину подсел один из ссыльных.

— Яшкой меня звать. Ты тоже киевский? — начал он.

— Устин, да, из Кобиляк, — представился Устин.

— Что, вместе будем спину гнуть с тобой, — задумчиво сказал Яшка.

— Не пойму одного: за кого нас тут держат — то страшат, то угощают, — возмутился

Устин. — Что за служба у нас?

— Говорят, тяжелая. Ты хоть знаешь, что здесь за места? В распутицу тракт размывает так, что до Тюкáлы не доехать, вот нас на него и поставят. Будем жить с конями посреди болот, — размахивая руками, описывал Яшка.

— Бреешь. А чего же тогда за стол да с вином? — удивился Устин.

— Так ведь новолетие сегодня. А завтра, вот увидишь, палками по хребту — да кряжити будем, — с мрачным видом добавил Яшка.

На следующий день начались учения. Сначала строевая подготовка на плацу — не зря назывались бывшие ссыльные теперь военнорабочими — а затем так же, строем пришли они в высокий амбар, где хранились инструменты и конская сбруя. Каждый получил свои инструменты: фашинные ножи, фляги для воды, ранцы. Их надлежало беречь, а если испортятся или потеряются, приходилось отчитываться перед мастеровыми — выдавали их одни на восемь, а другие и на двадцать лет.

Учения теперь шли каждый день с перерывом на воскресные дни и церковные праздники. Начальство торопилось: новые батальоны нужно было распределить по участкам до начала распутицы.

Порой ссыльные смеялись: чему учиться-то. Лопата и топор всегда были главными крестьянскими помощниками. Сам Устин, когда женился и переехал в село из соседней слободы Павловки, поставил для себя и Матроны Петровны новый сруб. Но военнорабочих учили также, как пользоваться ватерпасом, домкратами и кронциркулями, — вот тут всем хватало мороки. Наконец стало теплеть, скинули тулупы, можно было весь день проводить вне казарм и не замерзнуть. Пришел приказ о распределении.

Из батальона ссыльных образовали несколько отделений, каждое закрепили на разных участках Московского тракта от Тобольска до Каинска. Устину и Яшке достался перегон между Абатском и селом Крутым.

«Хорошо! — думали они, — не придется снова в дальний путь собираться».

Повседневный труд Устина не пугал, тяжело приходилось, когда уходили далеко от селений. Полдня уходило на то, чтобы поставить вдоль дороги шалаш. Готовили на костре, часть продовольствия распределялась сверху, что-то добывали сами. Много охотились и рыбачили, благо места там были рыбные.

После двух лет работы на дорогах стал Устин думать про то, где ему жить, когда закончится служба, где обосноваться и построить семью. Да и устал от кочевья, а товарищи его стали расселяться на окраинах соседних деревень. Яшка Непомнящий обосновался в деревне Чикишевой, жену завел, стал в гости приглашать после церкви. К участку, на котором трудился, он приезжал на телеге, благо недалеко. Устин знал, что к военнорабочим местные жители относились настороженно. Сколько раз эти ссыльные покушались на имущество местных семей — не сосчитать. А некоторые бежать пытались через болота. Только их обычно ловили и увозили в Тобольск. Там воров и беглецов судили строго: «прогоняли через полк» по два, а то и по три раза. После такого только в госпиталь, лечить окровавленные спины и лица, к работе возвращались нескоро. Устин знал одного, Ивана Гордиенко, приехал следующей партией и был принят в их отделение. Бежал однажды в болота, но свои же сдали его старшине, и был потом Иван бит шпицрутенами.

Решение пришло неожиданно. Однажды осенью поехал Устин по ягоды в рям. Клюква там росла и брусника. Топко было, поэтому он привязал Соболя, так звали упряжного коня их отделения, к сосне неподалеку и пошел пешком. С собой взял корзину и стал складывать ягоды. Шел он долго, брал клюкву и не заметил, как вышел к открытому месту — там заканчивался рям и начинались поля. Вдалеке увидел Устин жилые постройки, сразу было видно, что деревня большая и зажиточная: заборы были высокие, крыши покатые, огороды между усадьбами — просторные. Устину захотелось подойти поближе и посмотреть на деревню.

Пройдя через сжатое поле, Устин оказался на берегу речки, которая вытекала, по-видимому, из соседнего болота. За горкой речка в речку впадала еще одна, столь же узкая

и неторопливая. Он приближался к деревне, вот уже виднелся мост через речку, рядом водяная мельница, она напомнила Устину его мельницу в родном селе на речке Макшиболото. Какие там были места: плодородные, привольные! «Как живут теперь мои? Наверно, думают, что я умер, не пережил ссылки. А я живой!» — задумался Устин.

Тут его окликнули. Старуха вышла из дома на окраине деревни и махала ему, пока он смотрел на мельницу.

— Откуда ты такой? — крикнула она.

— Да мимо шел, я с тракта, рабочий, — ответил Устин и пошел ей навстречу.

— Рабочий? — переспросила старуха.

— Дорогу вам до села строим, чтобы доехать могли, — объяснил Устин.

— Кожитесь, значит. Я-то, милый, никуда не хожу, про вас ничего не знаю. Покормить тебя надо бы, зайдешь в избу-то? — засуетилась бабка и гостеприимно распахнула калитку.

— Нет-нет, у нас еды много, вот ягоды еще набрал. С тобой могу поделиться. — И он протянул корзинку старухе.

Та взяла ее и засемила в избу, но вскоре выглянула за дверь и отдала корзину с клюквой обратно.

— Я себе положила маленько. Одна живу, ни к чему мне большие запасы, — вздохнула старуха. — Как зовут-то тебя?

— Устином, а тебя, бабушка?

— Марья Лаврентьева, я тут живу, муж-то мой давно уже помер, да дочерей замуж выдала. Заходи, если еще в деревню заглянешь. Видел мельницу? Ее мой свекор

строил. А деревню нашу звать Челдак, как и речку.

Устин попрощался со старухой, обещал навещать ее иногда, пока рабочие ночуют неподалеку. На обратном пути за рядом отвязал своего коня, и, пока ехал к шалашу, снова вспомнилась прежняя жизнь. «Парни мои, Андрейко, Евтихейко, Феофанко, уже взрослые совсем, старшему почти двадцать. Скоро тоже отделятся, дом будут строить. У деда своего всему научились — с отцом-то вот как вышло: попался на воровстве и все тут», — думал Устин. Больше всего душа болела за дочерей, младшая совсем не запомнила отца. Будто его и не было. «И за Матрону Петровну обидно, хорошо мы жили, ладили. — Устин вспомнил жену и вздохнул. — Устал я жить бобылем, — думал про себя Устин. — Поселюсь в этой деревне, а вдруг жизнь переменится, веселее станет».

Вскоре пришла весть от мастерового, что распускают батальоны военнорабочих — не прошло положенных пяти лет, признали их службу ненужной, а содержание — слишком затратным. Бывшим ссыльным разрешили обосноваться по домам, и тогда Устин понял — надо ехать в Челдак. На первое время попросился к старухе Марье пожить. А вскоре встретился в Ильинской церкви с девицей Софьей, дочерью ссыльного без прозвания. Жила она в семье старшей сестры Пелагеи Полозовой, родители давно умерли. Через священника отца Григория Устин посватался к ней, и вскоре тот их повенчал. Тогда же перевели Устину в крестьянское сословие, отбыл он свое наказание. Устин и сам не заметил, как начал строить дом для своей семьи в Челдацкой деревне. Старался применить все знания, полученные за время строительства дорог, и вскоре на высоком берегу речки Челдак выросла новая усадьба. Семеновская, так ее называли местные жители.

Спустя годы никто из местных и не помнил, что были такие военнорабочие, что жил на свете когда-то Устин, ссыльный Киевской губернии, зато все знали, что за косогором близ деревни находится Семеновский сад. Там поле под сенокос и высятся яблони. Возможно, те самые, которые Устин посадил на своей сибирской земле.

Фигура отца

Мария Баженова

Похороны выдернули ее из будней. Нарушили привычную колею: пятитдневка, выходные, пятитдневка, выходные (умножь последовательность на десять), отпуск, пятитдневка, выходные, пятитдневка, выходные. «Саша, когда я умру, тебе придется самой вызывать сантехника. Саша, когда я умру, кто будет звонить и разбираться с отоплением? Саша, когда я умру». «Мама, перестань, ну что за дешевые манипуляции? Куда тебе умирать? Ты здоровее меня и всех моих друзей, всех наших родственников и знакомых». Но она умерла. А человек не может родиться без бумажки, не может умереть без бумажки. «Саша, когда я умру, найми агента, он все сделает сам». Дельный совет, мам, дельный совет. Ты шарила в бюрократических правилах лучше любого специалиста. Если бы смерть приходила за людьми с договором, ты нашла бы лазейку, подпункт, оговорку, слабость, ты перетряхнула бы все предложения, перетасовала бы каждую сомнительную формулировку, и смерти пришлось бы уйти с нулевой продажей. «Какое горе, какое горе! Как вы только справляетесь!» Любезные, сочувствующие комментарии на похоронах. Пьяные поминки. Похлопывания по спине. «Саша, говорите, девяти дней не будет?» «Не будет». «Саша, а традиция? Память?» «Извините, я уезжаю». Саша соврала. Уехать она должна только через двадцать дней, командировка в Берлин с возможностью окончательного переезда, но именно на девятый у нее назначена первая встреча. Первая из трех. Мама к смерти относилась легко. В бога не верила. А во что верить самой Саше, Саша не знала. Три встречи. Три свидания. Три предположения.

Саше пять лет. Детский сад с тошнотворным запахом пригорелой каши. Грубые воспитательницы. И подружка с жиденькими косичками и жгучими вопросами. «А как зовут твоего папу?» «Папу?» «Ну, у тебя есть папа?» «Нет, у меня только мама. Я без папы». «Без папы невозможно». «А я вот есть». Лезет и лезет эта приставучая. «Мой папа то, мой папа се. Мы с папой ходили на каток. Папа мне подарил куклу Барби в платье русалочки. У папы сильные руки, и усы смешно колются, когда он меня целует». А у Саши мама. Лучшая мама на свете. Красивая, умная, нежная. Мама

из журнала с фотомоделями. Мама, знающая уроки из будущей Сашиной гимназии на уровне со всеми учителями. Мама. Создатель и творец. Если есть такая мама, папа из уравнения исключается. Папа в уравнении — глупая неизвестная переменная. Тьфу на папу. До чего только дети не додумаются. Другая девочка на вопросы про родителей ответила, что вместо папы у нее дедушка. Дедушка ее папа. Потребность в ответах заставляет детей заполнять собственные головы массой, похожей на ту самую пригорелую кашу. Питательная дрянь, ничего не скажешь. Так что там насчет отца, Саша? Разве тебе не интересно?

Предки. Шнурки в стакане. Родаки. Олды. В школе Саша пролистывала русскую классику. Читала наискосок. Но в вузе попался толковый преподаватель. Сухонький, маленький, с пронизывающим взглядом через очки с толстыми стеклами. Василий Петрович Аллигаторов. Руки сложены в замок, поверх белой рубашки неизменная жилетка. Его за глаза даже прозвали «Жилетка». Но для Саши он всегда был только Василий Петрович, который требовал от студентов мысли, который считал похвалу обязательным условием для роста, который не ругал, а разбирал ошибки на слагаемые. И Саша ударилась с головой в русскую классику.

После одной из лекций Саша задержалась в аудитории. Василий Петрович заполнял журнал. Саша терпеливо стояла рядом. «Александра, если вы так и будете бояться прервать мой увлекательный отчетный процесс, чья полезность известна исключительно забвению, мы с вами превратимся в наглядные пособия для кабинета биологии».

— Василий, — Саша запнулась, — Петрович, скажите, пожалуйста, почему там все настолько плохо с отцами?

— Где? — Василий Петрович отложил журнал, повернув его так, чтобы подошедший

к столу мог прочитать, что это за журнал. — В русской классике? Или в мире?

Саша смутилась. Неужели можно себя выдать через такие элементарные вопросы? Раскрыть чужой натренированной наблюдательности свои карты и с волнением ждать, что тебе с достоинством позволят доиграть партию. Но Василий Петрович уловил, что задел пульсирующую тему.

— Саша, мир меняется. То, что раньше казалось необязательным, теперь является определяющим. То, что раньше не включали в счет, теперь указано в первых строчках. А русская классика всего лишь отражает мир. Конечно, она и формирует его так же. Но все же больше отражает. Я в это верю. А вы?

Он высокий. Выше Саши на голову, а Саша не из низких. В отличие от мамы. Вот откуда в ней росту добавила природа? И его тоже зовут Саша. Александр. Александр не смотрит в меню, он знает, что заказать. «Я тут часто бываю. Кухня шикарная». Шишикарная. Произносит он это прилагательное, растягивая гласные. Саша тоже так растягивает гласные. «Только про блюда с орехами не могу знать. Аллергия». И у Саши аллергия. Александр берет салфетку и начинает складывать журавлика. Журавлик не получается. Александр откровенно скучает. Саша это наблюдала за собой. Ее тоже скука заставляет пытаться складывать оригами из бумаги, не предназначенной для оригами. Журавлик Александра эволюционирует в некое малоизученное наукой существо. Салфетками надо рот и руки вытирать, а не журавликов клепать. «Как, говоришь, ее зовут?» — спрашивает Александр. «Звали». «Звали?» «Она умерла». «Умерла? Соболезную». Да нифига ты не соболезнуешь, папа. Подразумеваемый папа. Псевдопапа. «Вы совсем ее не помните?» Саша невольно всегда отражает собеседника. Если собеседнику скучно, Саша присоединяется. Оба в скуке, да не в обиде. Александр чешет левое ухо. Саша замечает у него родинку на мочке. У Саши такая же. Если взять линейку, окажется, что родинки расположены одинаково. По центру мочки. «Понимаешь, Маша». «Саша». «Ой, прости, Саша, их так много было. Всегда так много было. Я не настаивал, они сами. А отказывать женщине, ну, такое». Саша усмехается. Неужели мама могла выбрать подобного? Любовь зла, полюбишь и безответственного? Сначала отказывать там «такое», потом отказывать тут «такое». Вот и сидишь в

ресторане, ждешь счет еще до того, как принесли заказанное. Потому что твоя гипотетическая дочь интересна тебе ровно настолько, насколько интересна внешняя политика Тринидада и Тобаго. Ни насколько.

Десятилетняя Саша высокая, как четырнадцатилетняя Саша. Выше всех девочек и мальчиков в классе. Ну, с мальчиков спроса нет, мальчики в этом деле частенько опаздывают. А вот девочки могли бы и поднажать. Чего это Саша одна тянется к звездам. Саша стоит в магазине у холодильников с мороженым. Мама уехала на несколько дней. Оставила Саше деньги. «Саша, купи себе нормальную еду, пожалуйста, не спускай все на чипсы и сухарики. Не надо проверять рекламные лозунги». Laus такие вкусные, что хочется поделиться! Эстрелла слишком вкусные, чтобы делиться! Возвращается мама домой, а на столе пять видов одних чипсов, пять других, и Саша, которая проводит исследование под стать доктору рецепторных наук: пытается определить, чего ей захочется больше, делиться, не делиться, а главное, какими и с кем. Потом болел живот. Розовая таблетка мизима. «Мизим для желудка незаменим». Возможно, эта фантастическая равнодушие к рекламным лозунгам в дальнейшем и приведет Сашу в область маркетинга, но сейчас Саша у холодильников вовсе не ради лозунгов. Саше просто хочется мороженого.

«Какое мороженое на меня смотрит?» — думает Саша. «Максибон, Бонпари, Крутышка, Митя или Даша. Взять с печеньем или без, параллелепипед или с вафлей. Такое смешное слово “параллелепипед”, параллелепипед, параллелепипед, па-ра-ле-ле-пипед».

«Если холодильники так долго держать открытыми, они ломаются». Рядом с Сашей незаметно появился мужчина. Прямой длинный нос, веселые глаза, ямочка на квадратном подбородке. Саша чувствует, как краска приливает к щекам. Саша ненавидит краснеть. Вот бы изобрести кнопку: жмешь на кнопку, и лицо белое, а то рак вареный, помидор огородный. «Извините», — бормочет Саша, быстро хватая сахарную трубочку и идет к кассам.

Саше всегда с мужчинами неловко. Саша не знает, как с ними говорить. Саша дружит с девочками. С мальчиками полная катастрофа.

Чем они увлекаются? Машинками? Пистолетами? Какие смотрят мультфильмы? Они смотрят «Табалугу»? Саша хотела бы подружиться с мальчиками, но сложно дружить с тем, кто привык смотреть в парту и молчать. То есть с Сашей, вот, сложно. Даже косичек у нее нет, чтобы за них подергать. А этот мужчина у холодильника. Есть ли у него дети? Он так похож на какого-нибудь папу. Да, у него точно есть дома дочка или сын.

«Девочка, ты куда пошла? — кричат Саше с кассы. — Оплачивать кто будет?»

С выхода на Сашу грозно надвигается охранник. Его потертая форма, замызганные штаны и перегар так контрастируют с этим свежесбранным длинноносым незнакомцем у холодильников. Саша в испуге сжимает мороженое. «Все хорошо, я оплачу». Это ОН. Чей-то папа. Спаситель. Герой. Оплачивает мороженое. Ласково улыбается. «Девочка, скажи спасибо», — требует кассирша. «Спасибо», — еле слышно произносит Саша.

Саша выходит на улицу. Майское солнце греет по стандартам июльского. В этом году удивительно теплая весна. В руках раздавленное мороженое. В кармане деньги, подтверждающие, что Саша не вор, как подумали сотрудники супермаркета. Но на них плевать. Подумал ли так ОН? Вот что важно. А то угостил мороженым, а сам осудил. От расстройства Саша подходит к мусорке и выбрасывает туда злополучную сахарную трубочку.

«Саша, что у нас за офис на кухне?» Так мама называла коробки, мусор. «Саша, нам уже звонят в дверь офисные сотрудники, они пришли работать. Время выбросить офис на помойку». Саша осматривает «коробку» Сергея. Второго как бы отца. Нет, его офис не похож на коробку. Это светлая, просторная комната с панорамными окнами, кулером, кофемашиной, цветочками на широком подоконнике. Стекла сияют. Их регулярно моют крепкие ребята, профессиональные мойщики-альпинисты. Офис расположен на десятом этаже. Сергей в костюме. Или костюм на Сергее. «Сергей, а кто ты без костюма? Что делает тебя тобой? Насколько твой костюм ты?» Саша улыбается своей глупой шутке. Но уж очень костюм дорого выглядит. С того момента, как Саша перешагнула порог кабинета, прошло двадцать минут. И каждые две у Сергея звонил телефон. Он и сейчас

говорит по телефону. Речь его звучит примерно так: «Да, падает, надо брать вбок, цифры, многозначное, ага, формулы, критерии только на половину». Сергей убирает трубку. «Здравствуйте, Саша». Он протягивает руку. «Саша, вот стул, и поближе». У Сергея в голове острые ножницы, которыми он выстригает часть предложений. Он занятой человек, он не тратит время на ля-ля. Его должны понимать и так. Его обязаны понимать и так. Саша сейчас не на встрече с отцом. Саша на собеседовании. Впрочем, Сергей идет делать кофе сам. «Саша, сейчас мертвый сезон, квартал замыкаем, дедлайны, я дома не раньше глубокого вечера, о разном бы в начале квартала, а так мы с вами на коленках, а не по нормальному. Сахар? Корица? Вы что хотели, спрашивайте, я отвечу». Саша знает, что у Сергея еще есть четверо детей. Знает и то, что четвертый объявился так же, как Саша. Теперь работает в дочерней фирме. Сергей устроил. Сергей возвращается за рабочий стол, отхлебывает кофе. Через пять лет его схватит инфаркт посреди совещания, и врачи запретят до конца жизни пить любой кофеиносодержащий напиток. «Саша, как она умерла?» И Саша рассказывает. Как мама спустилась по лестнице, как споткнулась и упала, пролетела тринадцать ступенек, пыталась схватиться за перила, ободрала руку. Эта попытка схватиться поменяла траекторию падения, и мама ударилась виском. Нашла ее соседка через час. Пульса нет, дыхания нет. Лицо спокойное, серьезное. Перед падением Мама сказала «блять». Ладно, ладно. Саша не знает, говорила ли мама что-либо вообще. Было ли у нее последнее слово. А матом она, в принципе, не ругалась. И Сашу укоряла. На что Саша отвечала: «Мама, иногда это так необходимо. Хорошо, от чистого сердца ругнуться». «Саша, у меня таких ситуаций не бывает». Вот, мама, видишь, появилась. Во время Шашиного разговора Сергей молчливо смотрит в окно. Взгляд блуждающий. Может, он вспоминает. Вспоминает молодую Шашину маму. Вспоминает ту ночь, когда они могли сделать Сашу. Им было хорошо вместе. Им было жарко и мокро. Саша допивает кофе. Саша больше не хочет отвлекать Сергея от цунамиподобного дедлайна. Саша врет, что они еще увидятся. У Сергея опять звонит телефон, поэтому на прощание он машет рукой и делает жест в виде телефонной трубки. Мол. Созвонимся, спишемся.

Потерянное поколение тридцатилетних. Жизнь как грядка, ориентиры как сорняки. Революция смыслов. Человек внезапно понимает, что у него есть дыхание, и перестает дышать. Потому что инерция — это

уют. Лучше бы тебе не задаваться вопросом «а счастлив ли я?», так как утвердительного ответа на него еще не придумали. И потом: если счастлив, ты это знаешь. Тут знание оппозиционно вопросу.

В прихожей Николай сразу указывает Саше на тапочки. Три пары тапочек. Маленькие тапочки с геометрическим узором, средние серые тапки и огромные синие тапищи. «Я не знал, какой у вас размер ноги». Саша надевает средние. Квартира у Николая чрезмерно чистая. Такая квартира, по которой ходишь с белой подошвой, и подошва не пачкается. Николай суетится, как будто Саша — представитель проверяющих служб, как будто у Саши в руках чек-лист и право свернуть бизнес Николая. «Саша, вы пьете кофе? Саша, вы пьете чай? У меня есть всё!» Они садятся. Саша в углу, Николай так, чтобы в любой момент подорваться и принести, что потребуется. На стене висит фотография: Николай, мальчик-подросток и женщина. Последние азиатской внешности. Николай замечает Сашин интерес. «Это моя жена и сын, сыну сейчас семнадцать. — Николай ищет возможность начать. Николаю много хочется сказать. — Саша, ваша мама, никто не смеялся над моими шутками, так как она. Прямо убедил меня, что я умею шутить. Смех у нее был щедрый. Она его с горкой насыпала, не взвешивая. Я, Саша, я же давно хотел сам вам написать. У моего сына, Лёни, одноклассник столкнулся с тяжелым разводом родителей. Лёничка говорит, что его одноклассник переживает страшно. А я все думаю, как это важно, с родителями связь поддерживать. Детям нужны отцы. Мамы то, как правило, в наличии. Отцов же убивают, исключают. Как

узнал, что у Лизы есть взрослая дочь, а мужа нет, сразу стал думать, что, возможно, я отец. Лёнин одноклассник, такой хороший мальчик, на успокоительных. Как вот вы, Саша, не причинил ли я вам травму своим отсутствием? Вы, наверное, хотите знать, как мы с Лизой встретились, почему расстались?»

Саша смотрит на Николая. Мужчина около шестидесяти. Лысеет. Зеленая рубашка в темно-зелёный горошек. Саша вдруг понимает, что ей уже не очень важно, по какой причине Николай отсутствовал в ее жизни. Азиатский мальчик улыбается с фотографии. Значит, Лёничка. Леонид. Саша подается немного вперед. «Вы лучше расскажите о сыне. Чем он увлекается? А учится хорошо? У вас есть любимые совместные занятия? Вы ему на ночь читали сказки? Он темноты боялся? Вы ему позволяли бояться или убеждали в концепции “настоящего мужика”, который ничего не должен бояться?»

И они говорят. Они говорят о Лёне. Саша видит, как Николай гордится сыном. С каким трепетом перечисляет его заслуги, успехи, с какой нежностью вспоминает его ушибы, провалы и поражения.

Саша уходит от Николая за полночь. На пороге Николай зачем-то дает ей на память фотографию Лени. Леня на ней с медалью. Леня не выигрывал ничего. Медаль ему дали, как утешительный приз. Уже в Берлине Саша повесит фотографию на стену. Саша хочет, чтобы Лёня периодически ей напоминал: главное не победа, главное участие.

Шура. Начала жизни

Маргарита Беляева

О каждом человеке можно написать множество текстов. В границах своей земной жизни человек бесконечен, как бесконечна вселенная. Каждый день в его жизни происходят определенные события, он о чем-то думает, мечтает, принимает решения, сомневается.

Чего-то боится, чем-то восхищается.

Гордится, завидует, радуется, ненавидит, сочувствует. Его жизнь записывается в свиток в руках Бога. И в свой для каждого час Господь раскрывает свиток и видит всю жизнь человека, написанную не в виде человеческих слов, а в виде

Образов Небесного Царства, которые невозможно описать нашими, земными словами.

Александра Павловна Огренич, моя мама, родилась 10 апреля 1924 года на Украине, в деревне Калантаевка Раздельнянского района Одесской области. Она была четвертым ребенком в крестьянской семье, где до нее умерла девочка, Шура. Потому и назвали маму Шурой. И по святцам в самый раз.

Она родилась семимесячной, очень слабой, поэтому ее мать, Мария, думала, что ребенок проживет недолго. Когда ее сестра Дарка собралась ехать в Одессу, Мария попросила купить марлю. На вопрос: «Навищо?» (зачем?) ответила: «Бо умрэ».

Но дите выжило. Старшие девочки — Даша, Еля и Ганя, — качали его в казане, из которого кормили свиней, таскали по двору, совали в рот тряпицу с разжеванным хлебом, чтоб не плакало. Оно начало ползать, вставать на ножки и на путь, определенный судьбой.

Семья была небедной, очень работающей, но жили экономно. Мария поднималась в 4-5 утра, растапливала печь, пекла плацнды с картошкой, тыквой. С ними Павло, тато (папа) Шуры, уходил на весь день в поле. Мария по хозяйству — и тоже шла в поле. Хозяйство было большое: с десяток коров, две лошади, свиньи, куры, гуси. Но яйца, сметана, творог, масло и мясо прежде всего уходили на рынок,

в Одессу. Надо было постоянно что-то покупать: мыло, соль, керосин, да мало ли чего, и, конечно, копить. В 1913 году семья купила бричку!

По наследству Павло досталось десять десятин земли. Справлялись в основном семьей, но в посевную и на сбор урожая нанимали батраков — безземельных или малоземельных крестьян, которые работали за часть урожая или за деньги.

В то время был обычай выбирать на работы хороших едоков за столом. Если ест хорошо, значит, и работать хорошо будет. Так выбирал и Павло. По сути происходил жесткий отбор, считавшийся нормой. Я не раз слышала об этом в семейных разговорах, и меня беспокоил вопрос: «А тому, кто не был выбран, каково было? А больным и немощным, тем, кто не мог работать?» И еще: «Может быть, поэтому семья мамы так пострадала и бабушка даже просила подаяния? Может, в наказание?» Только сейчас, набирая эти строки, я понимаю, что отбор был оправдан. Чтобы прокормиться, надо было быстро управиться с работой. Будет хлеб — будет жизнь и ее радости. Тогда и слабым, на милость или в долг, достанется.

Достанется, да не всегда достаточно. А вот бедных и нищих всегда было много. В Калантаевке, как и во всех других деревнях Российской империи, если семье нечем было кормить детей, вновь родившееся дитя оставляли в сарае, пока не умирало оно там от голода.

Со слов моей тети Ели, были и ленивые, «босяки». Именно они были первыми среди деревенских активистов, кто по приказу властей забирал у зажиточных крестьян землю и дом, выгонял семьи на улицу, уводил скот. Но это будет позже, в коллективизацию.

У меня есть фотография 1913 года, сделанная на Пасху. У деревенской мазанки сидят на лавке мои прабабушка Марца и

прадедущка Олекса Сташевские, родители Марии. Они просто одеты. Голова прабабушки покрыта белым платком, глубоко надвинутым на лоб. Прадедущка в лаптях. Обветренные, в глубоких морщинах лица. Улыбаются. Натруженные руки послушно лежат на коленях. Позади стоит Мария — молодая стройная красавица. Она смотрит в объектив, слегка наклонив голову. Высокий чистый лоб, правильные черты лица, светлые глаза, темные густые волосы — такие называли «конскими». Поверх нарядной блузки украшение: крупный крестик в двойной цепочке с подвесками. На руках у нее первая и пока единственная дочь Даша.

Мария родила Шуру, когда Даша была уже невестой. В таком возрасте рожать считалось стыдным.

Пройдет немного лет, и Даша, а затем Еля выйдут замуж. Даша будет жить в соседней деревне, Еля в Одессе.

Осенью 1929 года в СССР началась масштабная коллективизация, проходившая одновременно с раскулачиванием.

Шуре пять лет. Ее семья признана кулацкой. В один из дней власти приказали не пускать во двор коров, пришедших с пастбища. Коровы стояли у ворот, мычали, и из глаз у них текли слезы. Тяжело даже представить, каково было хозяевам смотреть на них и не открывать ворота. Рыдания, плач детей, крики.

Коров увели в колхоз, где не было чем их кормить. Вскоре всех порезали.

У крестьян Калантаевки стали забирать зерно, в том числе посевной фонд. Последовал голод.

Зимой, под конвоем, Павло и Марию вместе с другими такими же несчастными отправили на спецпоселение. Отобрали дом и хозяйство, выгнали на улицу детей, Шуру и Ганю. При этом жителям деревни было запрещено брать «кулацких детей» к себе домой.

Стояли рождественские морозы. Маленькие девочки пяти и восьми лет шли по

деревне и плакали от страха, холода и голода. Они не знали, куда идти. Никто их к себе не пускал. Приближалась ночь. И тут, проходя мимо маленькой хаты, они услышали голос старушки: «Диты, вы чии будете, Огреничив? Ступайте сюды!» Покормила детей чем могла и обогрела. Не побоялась.

Когда отправленных на поселение сажали в поезд, бабушке удалось бежать. Вернувшись в село, она в слезах стала везде искать детей. Нашла.

Единственным выходом было идти в Одессу. Пешком, 60 км. Этот путь Шура запомнила на всю жизнь. Ноги едва передвигались. Она все спрашивала: «Мамо, колы прийдемо?» Мама показывала на высокое дерево вдали и говорила: «О-он там прийдемо». А дорога все не кончалась.

Еды не было. Проходя через деревни, Мария с двумя детьми просила милостыню. Кто-то захлопывал окно, но кто-то редкий и подавал кусок хлеба. Время было голодное, страшное. Уже люди ели людей.

Подходил к концу день пути. Приближалась деревня, где жили дальние родственники. О них шла дурная слава, но дети и Мария были совсем измождены. Родственники пустили переночевать, однако что-то испугало бабушку (кажется, точился топор), и когда хозяева вроде бы ушли спать, она тихо подняла детей и покинула дом.

Одесса того времени была наполнена обездоленными людьми разного возраста и сословия, лишенными своего крова, искавшими пропитание.

Мария могла искать помощи только у дочери Ели. Еля, крепкая деревенская девушка, была замужем за культурным человеком польских корней намного старше себя, Александром Петровичем. Он был мастером по ремонту и реставрации мебели. Его квартира состояла только из одной комнаты.

Мария, теперь нищенка с двумя малыши детьми, спала в подъезде рядом с квартирой Александра Петровича, под лестницей на

первом этаже. Ранним утром надо было уходить.

Еля помогала чем могла. Сами жили скудно.

Спустя некоторое время знакомая Александра Петровича сдала Марии подвал в своем большом доме в переулке Тельмана. Подвал был холодный и сырой. Когда шел дождь, в нем по земляному полу стекала вода. Позже у Шуры найдут туберкулез.

Чем они кормились в это время?

Возможность что-нибудь есть и продолжать жить давал им Привоз — рынок у железнодорожного вокзала. Мария каждый день торговала там семечками. За целый день торговли она могла купить стакан муки. Придя поздним вечером домой, делала «болтушку» на воде. Это была вся еда до следующего вечера.

Павло как спецпереселенец работал в это время на каменоломне в городе Первомайске, за 200 километров от Одессы. Его не расстреляли и не увезли в Сибирь, потому что дедушка относился к категории «кулаков», не имевших в хозяйстве постоянных работников. А на индустриальных стройках везде нужны были трудолюбивые крестьяне, ставшие плотниками, каменщиками, кровельщиками... Вернется он только через двенадцать лет.

Медленно идут тяжелые, голодные годы. Но девочки растут. Ганя стала помогать Марии на Привозе. Там она познакомилась с парнишкой, Колей, который приторговывал чем придется. Коля и Ганя полюбили друг друга и стали жить вместе. С пятнадцати лет и до самой смерти.

Марии, строгой, верующей, нелегко далось принятие случившегося.

В семь лет кончается детство. Шура идет в школу, босая, в своем единственном платье. Она была самой бедной, и ей всегда хотелось есть. В классе было много девочек из благополучных семей. Они были хорошо одеты, приносили с собой булки и бутерброды. На школьные праздники приходили в нарядных платьях, а Шуре приходилось не позволялось. Ей так хотелось быть как они! Но

суждено было только познать горькое чувство неравенства, унижения и стыда.

Эти уроки жизни не пройдут бесследно. Они укрепят Шурина характер, силу воли, упорство.

Я вспомнила сейчас один случай из времени начала жизни в Одессе. Была Пасха. Шура стоит в храме с Марией среди таких же бедных, несчастных людей. Почти ни у кого нет ни куличей, ни яиц. Голод. И тут какая-то старушка дает Шуру красное яичко! Как озарение, как надежду на счастье, как символ благополучия в будущем!

Вторая половина 30-х годов. Одесса этого времени, как и вся страна, живет в возрастающем страхе. Граждане разного рода занятий, простые и образованные, с высоким положением и без него — не спят ночами, прислушиваются со страхом к шагам в подъезде. Потому что ночами разъезжают по городу «черные вороны». Они вырывают из живого тела семьи родного человека, оставляя сочащиеся раны. Чаще всего, навсегда.

Мария в эти годы — домработница в семье члена «тройки» НКВД. Он работает ночами, на «черном вороне». Любит к обеду мясо с черносливом.

Шура — подросток. Она успешно участвует в соревнованиях по бегу, становится активной, дружелюбной, старается хорошо учиться. К ней за парту сажают девочку-отличницу, еврейку. Ее зовут Фрума. Она помогает Шуру в учебе. Они становятся преданными подругами. Такой дружбы уже не будет у Шуры никогда.

Весна 1941 года. Шура окончила среднюю школу. Фрума предлагает ей поступать вместе в зубо-врачебную школу.

Началась война. 16 октября в Одессу вошли немецкие и румынские войска. Уже за первые дни оккупантами были уничтожены тысячи человек — люди без документов, военнопленные, коммунисты, комсомольцы, совслужащие, евреи.

Осенью 1941 и зимой 1942 года колонны евреев перегоняли для уничтожения в специально отведенные для этого места. Перед убийством забирали драгоценности и одежду, затем людей сжигали или расстреливали.

В один из таких дней в колонне шла Фрума со своей семьей — отцом, матерью и младшим братом. У каждого на спине в области сердца отличительный знак — шестиконечная звезда Давида желтого цвета.

Это была интеллигентная еврейская семья. Отец — учитель математики, мама — врач.

Мария случайно увидела Фруму и в слезах побежала домой за хлебом, а когда вернулась, уже не могла ее найти и передала хлеб другим.

Почему не уехали в эвакуацию десятки тысяч евреев в Одессе, зная, что она скоро будет захвачена фашистами, устроившими их геноцид в Европе? Возможно, не могли поверить в неминуемую смерть. Не могли ехать по состоянию здоровья, или пугала неизвестность, страдания и голод. Не могли оставить своих близких, дом и имущество на разграбление. Причин могло быть много, и все они ушли в вечность вместе с погибшими.

А слезы по Фруме остались с Шурой навсегда. Сама ее долгая жизнь воспринималась как жизнь за себя и за Фруму.

Зная, что уйдет с семьей, Фрума передала своей знакомой шесть тарелочек. Вскоре знакомая отдала их Шуру. Небольшие тарелочки с картинками в жанре пасторали и кружевной каемочкой по ободку. Такими украшали стены. Эти тарелочки, все в мелких трещинках, как лица старых людей в морщинках, со стершейся позолотой и сколотыми краями, были из наиболее ценного в той еврейской семье. Сейчас они со мною. Безмолвно сопровождают мою семью по жизни, как ранее сопровождали семью Фрумы, затем семью Шуры.

Однажды на улице схватили Шуру. Солдатам показалось, что она еврейка. Бросили в подвал, где находились евреи разных возрастов. Через какое-то время к ней подошла пожилая женщина со словами: «Если

ты не выберешься отсюда до вечера, тебя расстреляют».

Каковы могли быть чувства семнадцатилетней девушки, попавшей в застенки? Страх, надежда? Невозможность представить, что она умрет? Страстное желание вырваться? Внешние впечатления, надежда и отчаяние, должно быть, лихорадочно сменяли друг друга.

Тут Шура видит в небольшое окошко мальчика лет двенадцати, играющего во дворе. Она зовет мальчика и умоляет пойти к ее родителям, что-то обещает. Мальчик пошел.

Через некоторое время прибегают Мария и Павел. Они падают перед солдатом на колени, показывают документы, плачут, умоляют отпустить их дочь. Дают деньги и хлеб. Они бедно и по-деревенски одеты. Во внешности ничего еврейского. Солдат отпускает. Жизни Шуры даровано продолжение.

Весной 1942 года Шура стала учиться в зубоучебной школе. Обучение было платным, 20 марок. Сумма была немалая, собирали с трудом.

И в то время Шура чаще всего была голодна. Еля подкармливала. Иногда, надеясь что-нибудь перехватить, Шура забегала к Гане, которая жила с Колей в сытости и довольстве. Они перепродавали вещи и золотые украшения. Коля стал ювелиром. У них появилась прекрасная квартира у парка Шевченко, где частыми гостями были немцы и румыны, устраивались вечеринки, и прислуга готовила ароматные блюда. Но далеко не всегда Шуру предлагали поесть хоть что-нибудь, а самой просить она стеснялась.

Однажды Шура пришла, когда Ганя уходила с немцем смотреть какие-то вещи. Шуру, всегда плохо одетую, захватили с собой. Немец привел их в здание школы, где в одном из помещений было свалено в кучу много женской, детской, мужской одежды, и предложил выбрать. То была одежда убитых евреев. Ганя выбрала, а Шура не смогла. Сказала, что ничего не подходит.

Когда в город снова придет Советская армия, Колю и Ганю не тронут. Позже Коля будет получать пенсию инвалида войны.

10 апреля 1944 года Одесса была освобождена. В этот день Шура исполнилось двадцать лет. Она стройная девушка с русыми вьющимися волосами, серо-голубыми глазами и нежными чертами лица. Шура еще не совсем уверена в себе, но у нее твердый характер, сильная воля, напористость, которые сочетаются с женственностью и обаянием.

Зубоврачебная школа была преобразована в Институт зубоврачевания, время обучения увеличено на два года. В 1946 году вместе с дипломом Шура дали направление на работу в Молдавию.

Через несколько лет приходит то будущее, которое сулило красное яичко старушки на Пасху в голодный год. Шура — зубной врач. Она не только работает в поликлинике, но и

принимает больных на дому. Ее трудовые корни, тяжелые детство и юность — те начала, которые позволили крепко встать на ноги, обрести известность, уважение окружающих, материальное благосостояние.

У нее есть семья, муж и ребенок, но именно работа, безо всякого отдыха, изнурительная, беспросветная, дарила ей чувство состоявшегося человека, дарила ей чувство счастья.

В последующие годы Шуру ждали серьезные потери и болезнь. Умирает муж, «сгорают» в огне распада СССР все накопления. Врачи находят онкологию. Она снова выживает. Будет и обретение счастья с мужчиной значительно младше себя.

Шура остается сильной, стойкой, яркой, красивой, страстно любящей жизнь еще долгие годы. И умирает только тогда, когда сама больше не захочет жить.



Верный Богу и себе

Виктория Сигоров

Летом 1840 года, окончив богословский факультет Копенгагенского университета, Сёрен Кьеркегор, будущий известный датский философ, теолог и писатель, отправился в имение своего отца.

Там, на Ютландии, три года назад он познакомился с пятнадцатилетней Региной Ольсен, оба — младшие дети в своих семьях. С первой встречи молодые люди произвели друг на друга, как оба потом писали в своих дневниках, «очень сильное впечатление».

Регина пробудила в Сёрене не только эротическую страсть, но всколыхнула и без того незаурядные творческие силы. Сёрен стал часто бывать в доме «владычицы» его сердца, но вел себя как друг, не показывая своих истинных чувств.

И на этот раз посещение отца не было основной целью его визита: он намеревался сделать Регине предложение. Сёрен открыл ей свои чувства, когда та у себя дома играла для него на пианино. В этот же день он попросил руки Регины у ее родителя, на что получил согласие. Помолвка состоялась 10 сентября.

Следующий год Сёрен много работал над рядом исследований, написал диссертацию и подготовил свою первую проповедь. Он все реже и менее охотно отвечал на письма Регины не только из-за занятости, но и потому, что девушка не полностью разделяла некоторые его взгляды. (Регина тоже станет философом и писательницей).

Так постепенно Сёрен начал испытывать глубокие сомнения в своей готовности к браку и, ко всеобщему возмущению и ужасному отчаянию Регины, 12 октября 1841 года разорвал помолвку. «Если бы я женился на Регине, я никогда не стал бы самим собой», — писал он позже в своем дневнике.

После расставания бывшие жених и невеста регулярно пересекались в прохладном полумраке церкви, на улицах Копенгагена или во время прогулок вдоль высоких живописных крепостных валов. Там, по словам Сёрена, он проходил, «дрожа всем телом и затаив дыхание».

Добровольные страдания возбуждали его писательский талант. Регина же словно стала литературным компаньоном Кьеркегора. Он прославлял ее, причисляя к когорте вечно несчастных любящих пар: Пирам и Фисба, Данте и Беатриче, Ромео и Джульетта, Кафка и Феличе — они принадлежат друг другу навсегда, потому что не смогли быть вместе, не соединились в жизни, а должны были терпеливо ждать, когда встретятся в вечности.

В ноябре 1847 года Регина вышла замуж за Йохана Фредерика Шлегеля, который был назначен губернатором датской Вест-Индии. В день отъезда Регина отыскала Кьеркегора в толпе провожающих и тихо сказала: «Да благословит вас Бог, пусть вы будете здоровы!» Кьеркегор тогда почти окаменел от горя расставания и лишь снял шляпу, чтобы поприветствовать свою бывшую невесту в последний раз.

Да, Регина стала любовью всей его жизни, и он завещал ей свое состояние. В одном из писем Шлегелю Кьеркегор писал: «В этой жизни она будет принадлежать вам. В историю она войдет рядом со мною».

Отношение Кьеркегора к браку было неоднозначным. В дневнике он рассуждал: «... по дороге в Орхус я увидел очень забавное зрелище: две коровы, связанные вместе, промчались мимо коротким галопом. Одна кусалась, другая, как казалось, более прозаичная, пребывала в отчаянии от необходимости участвовать этих движениях.

Разве большинство браков не устроено так же?»

Рассматривая теологический и христианский подходы Кьеркегора к вопросу брака, можно столкнуться с дилеммой: считает ли он, что христианин должен вступить в брак и тем самым найти свое место в обществе и отношениях с Богом, или думает, что нужно отказаться от брака, как сделал это сам?

В сборнике статей «Мгновения», опубликованном Кьеркегором в годы, предшествовавшие его смерти, в котором он обличал современный институт церкви, священников и положение христианства, он крайне неблагоприятно относился к браку и искренне не понимал: «Кому пришло в голову желание совмещать — быть истинным христианином и брак?»

Последние годы жизни Кьеркегора можно с уверенностью назвать революцией одного человека. Всплеск его негодования породила хвалебная речь профессора Дж. Минстера в адрес епископа Х. Л. Мартенсена, которого тот включил в священную цепь «свидетелей истины», протянувшуюся через новозаветную историю вплоть до дней проповеди святых апостолов.

Кьеркегор выразил протест причислению епископа к этой чреде и в газете «Отечество» назвал Мартенсена «слабым, снисходительным и великим только в качестве декламатора», представив читателям газеты свою версию «свидетеля»:

«Верный свидетель истины — это человек, с которого содрали кожу, с которым жестоко обращались, перетаскивали из одной тюрьмы в другую и, наконец, распяли, обезглавили или сожгли, а его бездушное тело на долгое время оставили валяться в глухом месте непогребенным. Да, так выглядит свидетель истины!»

Этой канонадой Кьеркегор обозначил старт своего церковного штурма, где сначала в дюжине газетных статей, а затем в девяти выпусках собственной брошюры «Взгляд» яростно и остроумно полемизировал с церковью и ее духовенством.

Он утверждал, что христианство было упразднено по мере его распространения, и просил высшие церковные авторитеты это подтвердить во имя справедливости. Когда признания не последовало, Кьеркегор повторил свой протест: «Не смягчается, а обостряется мое возражение; я лучше проиграюсь, возьму шлюху, украду, убью, чем буду участвовать с вами в том, чтобы дурачить Бога. Я скорее проведу день в боулинге, в бильярдной, на маскараде, чем разделю с вами то, что серьезный епископ Мартенсен называет христианской строгостью».

В течение следующих нескольких месяцев Кьеркегор обвинял пасторов в том, что им не удалось превратить свои слезливые воскресные проповеди в экзистенциальную практику понедельника. Он называл их буржуазными богословами по расчету, которых интересуют идиллические пастораты, ни к чему не обязывающее бестолковое христианство и прибыль.

Кьеркегор говорил, что государство с таким же успехом «может ввести, например, религию о том, что луна сделана из сыра с плесенью» или заявлял с особой безжалостностью, что «священник — это воплощение бессмыслицы, окутанной длинными рясами».

По его словам, «церковь была куском хлама, который нужно закрыть или снести как можно скорее, крещение казалось просто плеском воды, конфирмация — болезненным фарсом, а венчание — знойным эротическим представлением».

Церковники были потрясены, антицерковники — довольны. Кьеркегор продолжал в форме сократовской беседы:

— Апостол Павел занимал какую-либо должность?

— Нет, у Павла не было официального положения.

— Он зарабатывал много денег другими способами?

— Он вообще был женат?

— Нет, он не был женат.

— Но тогда Павел — несерьезный человек!

— Нет, Павел несерьезный человек.

В начале октября 1855 года Кьеркегора госпитализировали в больницу на улице Бредгаде. В одной из бесед с умирающим Кьеркегором Эмиль Боесен, священник и член парламента, спросил его, есть ли что-то, о чем тот еще не сказал.

— Нет, — ответил Кьеркегор, — я приветствую людей, мне они глубоко симпатичны. Передайте от меня, что вся моя жизнь — это большие неведомые и непонятные страдания. Вероятно, все выглядело как гордость и тщеславие, но это далеко не так.

Воскресенье 11 ноября стало последним для Кьеркегора. Причина смерти все еще обсуждается. Его не подвергали вскрытию, вероятно, потому что он сам был против этого. Первую страницу его медицинской карты кто-то отметил аббревиатурой «туберкулез» в качестве предполагаемого диагноза, но позже к нему был добавлен вопросительный знак.

Согласно последним исследованиям, это было неврологическое расстройство, называемое восходящим спинальным параличом или острым полирадикулитом, которое от перенесенной инфекции, например, гриппа вызывает воспаление нерва. Заболевание ведет к параличу, который начинается в ногах, распространяется вверх по груди и заканчивается лицом.

В воскресенье, 18 ноября, Кьеркегор был похоронен своим старшим братом из Грундтвига Петером Кристианом. Прощание состоялось в церкви Богоматери, главной церкви страны, к которой пришло много совершенно посторонних людей. Среди них был и Ханс Кристиан Андерсен: он написал

Августу Бурнонвилю в Вену, что все в битком набитой церкви казалось хаотичным и неуместным для похорон — «матроны в красных и синих шляпах бегают туда-сюда», он даже видел «собак в намордниках».

Через несколько часов Кьеркегора привезли на кладбище к семейному захоронению, где его племянник Хенрик Лунд учинил скандал, возмущенный христианскими традициями погребения, по его словам, «церковного штурмовика».

Могила Сёрена Кьеркегора находится всего в нескольких шагах от могилы Х. К. Андерсена и четы Шлегелей (Регина, в девичестве Ольсен, пережила Кьеркегора на 49 лет). По собственной просьбе Кьеркегора на надгробии начертаны строки из стихотворения датского епископа и поэта Х. А. Брорсона:

«Это короткое время,

и я выиграл

настоящий Бой,

но с одним неизвестным,

и теперь я могу отдохнуть

в розовом зале,

где будет неумолимой

речь моего Иисуса».

Источники: Søren Kierkegaard Research Centre — Copenhagen University (ku.dk) — материалы исследовательского центра Сёрена Кьеркегора Университета Копенгагена.



Загадка XX Века, или Кто убил Улофа Пальме

Мария Никитина

Выстрелы на Сваевэген

Поздним февральским вечером 1986 года магистр итальянской масонской ложи П2 (Propaganda due) Лито Джелли отправил телеграмму своему американскому соратнику Филиппо Гуарино со словами «шведское дерево скоро упадет» и с просьбой доложить об этом «нашему другу Бушу». Через пару дней оно упало. 28 февраля был убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Преступник скрылся, оружие убийства не было найдено. Так началось расследование одного из самых запутанных дел XX века. По количеству версий и догадок оно превосходит убийство Кеннеди. Специалисты видят в нем заговоры тайных сообществ, спецслужб и множество улик и фактов, которые так и не удалось окончательно связать в логически оправданное заключение. Давайте попробуем разобраться в том, что известно общественности на сегодняшний день, как здесь замешаны масоны и почему финальная версия полиции так непохожа на правду.

Сперва не лишним будет вспомнить, что Пальме поддерживал политику Советского Союза, выступал против империализма США, критиковал режим апартеида в ЮАР и был активным социал-демократом. Вероятнее всего, причиной убийства стала его деятельность внутри страны или за ее пределами, направленная на создание лучшего мира. Так стали появляться первые версии и подозреваемые.

По официальным данным, в вечер убийства премьер-министр со своей супругой Лисбет Пальме смотрели фильм в кинотеатре «Гранд», а после пошли домой пешком без охраны. В 23:20 на центральной улице Стокгольма Сваевэген к ним сзади приблизился незнакомец, одетый в пальто с высоким поднятым воротником. Он совершил два выстрела, одним из которых задел Лисбет,

и убежал в сторону улицы Туннельгатан. Некий городской таксист утверждал, что в тот вечер видел, как похожий по описанию мужчина спешно садился в ожидающий его автомобиль на улице Биргер Ярлгатан в 23:40. Он прибежал к машине как раз со стороны Туннельгатан, и если это был он, что совпадает по времени, то у убийцы был сообщник, и возможно, не один. Улоф Пальме скончался по дороге в больницу, шансов выжить при таком ранении у политика не было.

Первым подозреваемым в ходе расследования стал Виктор Гуннарссон, активист, распространявший листовки с нападениями на Улофа Пальме. Его задержали на несколько недель и отпустили за недостаточностью улик. Позже, в 1993 году, он был найден со следами насильственной смерти уже в США, куда переехал, скрываясь от преследований, связанных с его причастностью к этому делу.

Следующим, на кого обратила внимание полиция, был член неонацистской группировки Кристер Петтерссон. С убийством его связывала основная улика — револьвер марки Smith&Wesson. По словам другого уголовного, в момент убийства револьвер находился у Петтерссона, но связать найденные пули и бесследно пропавшее оружие так и не получилось, поэтому сделали ход конем: вызвали на опознание Лисбет Пальме, и о чудо! Она разглядела в подозреваемом ту убегающую вдаль фигуру в плаще. Если бы не апелляционный суд, признавший его невиновным, Петтерссон провел бы остаток жизни в заключении. В 2004 году Кристер, уже будучи на свободе, скончался от приступа эпилепсии, и так следствие вычеркнуло еще одного потенциального исполнителя.

Есть такое слово — «НАТО»

Оборачиваясь сегодня на хронику событий, можно смело сказать, что полиция не была заинтересована в раскрытии преступления «по горячим следам». Их скорее замечали, цепляясь за ложные и необоснованные доказательства. Никого не озадачил тот факт, что редкие бронебойные пули (только так они могли остаться невредимыми, пройдя через тело убитого) и сам револьвер Magnum 357 производились исключительно в США. Как оружие преодолело океан и попало в руки шведского политактивиста, установлено не было. Как и не было вовремя оцеплено место убийства. Толпа затоптала все возможные следы и не оставила шанса провести в будущем экспертизу ДНК.

Все эти мелочи складываются в пазл, когда становится известно, что Х. Хольмер, руководивший следствием в первые годы, входил в СОПС (Standard Operating Procedures, SOPs), секретную натовскую организацию, где были представлены сотрудники спецслужб стран альянса. Предполагается, что он один из тех, кто активно отвлекал внимание экспертов от существенных улик. Это рождает первую масштабную версию заговора.

18 апреля 1997 года в аэропорту Хьюстона в очереди на посадку стоял человек в шляпе. Подходя к стойке и готовясь покинуть Соединенные Штаты, он пошатнулся, внезапно вскрикнул и упал. Замертво. Это был журналист Аллан Франкович, собиравший досье о деятельности ЦРУ. В Техасе он встречался со своим информатором, а в чемодане вез фото и адрес убийцы шведского премьер-министра. Франкович уже давно занимался сбором данных, подтверждающих причастность ЦРУ к этому делу в рамках деятельности антикоммунистической программы по всей Европе. Операция по устранению Пальме называлась «Дерево», и корнями она тянулась к интересам НАТО, которые встретили ярое противостояние со стороны шведского лидера. Пальме выступал за закрытие натовских станций электронного слежения и, что символично, был убит накануне своего визита в СССР, где собирался выдвинуть предложение превратить Балтийское море в безъядерную зону.

В процессе своих исследований Франкович успел написать книгу «Внутри лабиринта». По его версии, СОПС долго следила за развитием политической ситуации в Скандинавии, и когда настал решающий момент визита Пальме в СССР, было принято решение «рубить дерево», именно об этом идет речь в телеграмме итальянского масона в начале статьи. Документ нашли итальянские спецслужбы во время обысков в ложе сообщества, изучая их подрывную деятельность.

Для организации убийства Пальме было организовано тайное собрание СОПС в Уилтшире. По мнению Франковича, исполнителем-«дровосеком» был выбран бывший агент ЦРУ, проходивший обучение в охране иранского шейха «Савак». Его страховали с итальянской стороны и гарантировали прикрытие, внедрив своего человека в Шведский следственный комитет по этому делу, того самого Х. Хольмера. Таким образом, поддерживая интересы США и НАТО, члены тайных сообществ, включая масонов П2, могли убрать с политической арены неугодного социалиста, а потом и близкого к разгадке журналиста.

Не хогуме, гему...

Из всего перечня свидетельских показаний самым непостижимым остается рассказ пенсионера (имя до сих пор засекречено в целях безопасности). Спустя несколько минут после убийства Пальме в обычной квартире в пригороде Бромма (недалеко от Стокгольма) раздался телефонный звонок. Подняв трубку, мужчина услышал краткое и четкое: «Пальме убит!» Кому предназначалось это послание, остается загадкой. Был ли это реальный исполнитель или простой очевидец, мог ли тренированный спецгент ошибиться цифрой, набирая номер — все эти вопросы лишь приводят нас к следующей версии.

Наряду с американскими капиталистами Пальме не жаловали и в Африке. Ровно за неделю до убийства он выступил со словами: «Апартеид не может быть реформирован, он должен быть разрушен», чем обрадовал Африканский Национальный Конгресс (сторонников уже заключенного на тот момент Нельсона Манделы) и объявил негласную

войну белому правительству ЮАР. В Претории на тот момент уже существовала разведгруппа Civil Cooperation Bureau: члены этого эскадрона смерти собирали данные о борцах с апартеидом и убивали их по всему миру. В 1986 году филиал ССВ в Стокгольме возглавлял некий Юджин де Кок, который сегодня отбывает два пожизненных заключения и 212 лет сверху за преступления против человечности. В 2006 году в архивах всплыла пленка, на которой он был замечен в аэропорту Арланда прибывающим в Стокгольм в феврале 86 года, незадолго до рокового дня. Сегодня мало кто воспринимает слова де Кока всерьез, хотя он не раз признавался в причастности к организации покушения на Пальме и обещал рассказать всю правду об убийстве в обмен на смягчение приговора.

Шведский следователь Тимми Линдстрём в 1996 году приехал в ЮАР для сбора данных. Многочасовые допросы членов уже несекретной на тот момент ССВ подтверждали причастность неких лиц к планированию убийства, и чаще остальных звучало имя Бертиля Ведины, агента спецслужб ЮАР, по кличке Морган. Несмотря на выдвинутые обвинения, Ведин опроверг свою причастность и легко ушел от преследования, переехав на Северный Кипр, где живет до сих пор. Остается лишь предполагать, что полиция Швеции, придерживаясь государственной политики нейтралитета в международных вопросах, не стала привлекать к ответственности иностранных граждан за неимением весомых доказательств. Как бы там ни было, все опрошенные участники группировки, будучи выходцами из ЮАР, остались на свободе, и виновным был объявлен подданный Королевства.

Scandiamannen

В 2020 году убийцей Улофа Пальме был официально назван человек по кличке Scandiamannen. Дело в том, что в целях конспирации полицейские называли фигурантов не по имени, а давали им кодовые названия. Так среди свидетелей появился Человек из «Скандии»: по названию фирмы, в которой он, Стиг Энгстрём, работал графическим дизайнером. Вечером 28 февраля 86 года он засиделся в офисе, что находился недалеко от места убийства премьера, пошел домой около одиннадцати вечера, но, по

словам охранника, вскоре после звуков выстрелов вернулся, чтобы позвать на помощь. Мотивом для убийства полиция назвала его ультраправые взгляды и неодобрение политики Пальме. Вот так просто, без прямых улик, вещдоков и экспертиз.

Версия Scandiamannen не получила одобрения граждан, скорее возмутила общественность тем фактом, что в социалистической стране объявили виновным человека, не способного говорить в свою защиту. Дело в том, что Стиг Энгстрём покончил жизнь самоубийством еще в 2000 году, что лишает его возможности ответить властям.

За него это сделали эксперты-криминалисты, включая бывших следователей по этому делу, подписавших в 2021 году просьбу о возобновлении расследования. Публикация с их подписями в газете Dagens Volaget была приурочена к 35-летию со дня убийства Улофа Пальме. Тогда же Netflix выпустил сериал «Unlikely murderer» («Сомнительный убийца»), где видны попытки раскрыть тему личности и причастности Энгстрёма.

Сегодня дело об убийстве Улофа Пальме насчитывает около 500 тысяч страниц, для прочтения которых одному человеку потребуется приблизительно 9 лет жизни. Любой желающий может получить частичный доступ к материалам, открытым для общего пользования в архиве канала SVT. Общий бюджет потраченных средств за все время расследований оценивают в 70 миллионов долларов. За годы следствие обрастало новыми версиями: курды, иранцы, шведы; более 100 человек дали признательные показания, и, что необходимо подчеркнуть, ни разу не вставал вопрос о причастности КГБ. Во многом это объясняется дружескими отношениями стран и их лидеров, однако некоторые не исключают мысли о том, что шведский премьер был агентом влияния КГБ наравне с президентом Финляндии У. Кекконеном и канцлером ФРГ В. Брандтом. Улица имени Улофа Пальме в Западном административном округе Москвы была открыта в его честь почти сразу после инцидента — 25 июня 1987 года. На ней же символично расположено посольство Швеции.

ничего, что дало бы однозначный ответ на вопрос «Qui prodest?». Как говорится, «ищи,

кому выгодно»: убийство Улофа Пальме и то, что оно остается загадкой.



Запахи моей дачи

Мария Янбулат

Незадолго до смерти бабушка мечтала пожить на даче. Но туда четыре часа на машине, врача в поселке нет — рисковать мы не стали. И вот она умерла. Никто из нас не захотел стать новым хозяином шести соток во Владимирской области.

Прошлым летом дачу продали — обуза с плеч.

Туда уже не вернуться. Зачем? Разве только проездом — навестить кладбище в соседней деревне, где похоронены дедушка с бабушкой. И потом, дача для меня неотделима от детства, а время уж точно не вернуть. Неповторимое место-время живет в моей памяти.

Образы из памяти стираются быстрее, чем выветриваются запахи. Образы врут, а запахам я верю: неживое не пахнет. Мысленно я собираю букет из дачных запахов и пахучих дачных слов.

Коричные яблоки

Поспевали раньше других. Пока «Слава победителю», штрифель и пепин зеленели в недоступной выси, как финики на пальмах, коричные живописно валялись в траве. Можно было и с ветки сорвать — крона у старой яблони была низкая, но я брала ржавый тазик, зачерпывала воды из бака, где плавали семена и мертвые осы, и мыла падалицу. Мне нравилось очищать от земли восковую шкурку с нежными розовыми полосками, нюхать круглое сплюснутое яблоко, нравилось надкусить рыхлую мякоть и удивиться, какое оно внутри белое, чистое, безгрешное. Коричное яблоко действительно пахло корицей; на вкус оно было сладким и пряным,

с землистой нотой. Особенным было само слово — «коричное». И когда бабушка говорила «коричневое», она лишала слово его ароматной и вкусной сути.

Пренебрегать рассыпанными в траве дарами казалось неуважением к яблоне. Мы варили из падалицы компоты и варенье; нарезали дольками, тесно укладывали на противни и сушили на крыше, а потом складывали в полотняные мешочки; каждому, кто шел по грибы, бросали в корзину пару-тройку коричных — погрызешь по дороге. Созревшие на ветках яблоки увозили с дачи корзинами, хранили на балконе до холодов, раздавали соседям, брали с собой на работу. И все равно их было слишком много! Тогда их оставляли на дереве — пусть хоть птицы склюют, мальчишки пообрыбают; упавшие просто закапывали.

Старая кривая яблоня — ветки в лишайнике — была щедрой и не гордой. Она просто делала то, что не могла не делать, и не ждала благодарности.

Когда я повзрослела, то ходила по рыночным рядам, брала в руки яблоки и нюхала. Продавцы уверяли, что их-то и есть коричные — вот, написано же, но я не верила. Настоящие коричные пахнут корицей, их много, и они ничего не стоят.

Сенные подушки

В дачном доме пахло сеном — от ситцевых подушек, которые шила и набивала бабушка. Подушки были жесткими, сено под головой сбивалось в плотный ком, но мы терпели: в деревне свои порядки. Почему-то деревенские порядки насаждала бабушка, коренная москвичка. Она заставляла пить

омерзительное козье молоко («бычком, бычком!») и невкусный напиток, приготовленный из овса, который специально выращивала, чтобы готовить полезные натуральные напитки; терла сковородки пучком травы с песком. Вижу ее в шезлонге под яблоней: шьет наволочки; на ней белый чепец, кофточка со старинными кружевами и широкая «бабья» юбка до пят. Вставала бабушка рано, часам к восьми будила родителей, к девяти ее терпение лопалось, и она будила детей со словами: «В деревне столько не спят! Вставай, утро проспий! Солнышко уже высоко». Солнышко слепило глаза и казалось помощником надзирателя.

Людмила Алексеевна искренне верила в придуманную реальность, поэтому я называла ее мифотворицей. «Деревенский» миф был относительно безобидным, хуже было, когда мифотворчество распространялось на людей. В идеальном бабушкином мире роли утверждались раз и навсегда: послушная дочь-служанка и ее непутевый муж (мои родители); суровый ветеран (дед); золотой парень, которому сломала жизнь жена-змея (дядя, мамин брат); талантливый мальчик (мой брат); тургеневская девушка (я). Роль невозможно было сменить, и актеры крепостного театра бунтовали. Все детство я ссорилась с бабушкой: отстаивала право девочки обдирать локти, ходить неряхой, драться и спорить с мальчиками («И это — девочка?!»); позже меня возмущало ее тиранство, была противна ее фальшь. Порой я вела себя грубо, срывалась на крик, было стыдно, а она всегда выходила из спора победительницей.

Но проходит время, и я все больше примиряюсь с бабушкой. Можно ли злиться на человека, которому ты красил седые локоны в рыжий цвет, с умилением глядя на поредевшую шевелюру? Я любила ее, и ее причуды теперь кажутся проявлением индивидуальности.

Старая телогрейка

В темном углу между комнатами висела дедова телогрейка, от нее исходил уютный запах дыма и деда. В холода ею приятно было укутаться. А дед носил ее осенью. У него мало было вещей. Обычно ходил в дырявых трениках и линялой спортивной кофте,

которую бабушка перешила в косоворотку. Лысый, с белой бородой, он выглядел как старик-лесовик, особенно когда шел по грибы с корзиной и палкой. Но он был городским интеллигентным человеком, только не московским, а владимирским. Из техникума в 1941-м отправился на фронт и прошел всю войну, в 1945-м расписался на Рейхстаге. После института работал инженером-испытателем и получил дачу недалеко от испытательной станции Владимирского тракторного завода. Звали его как город — Владимиром.

Его излюбленное место было у верстака за стеной туалета или в кладовке с инструментами: как и его телогрейка, он все время обретался где-то на задворках. Строгал, пилил, чинил душ, рубил ветки, сжигал на костре мусор, таскал канистры с водой или ходил с тележкой за навозом далеко на пойму.

За столом обычно помалкивал и быстро вставал — некогда было ему сидеть. Бабушка, если хотела нам что-то запретить, часто делала это от имени деда, но мы знали, что он добрый. Не ругал и не наказывал. Потому что правда был добрый или не чувствовал себя вправе ругать и наказывать чужих внуков? Они с бабушкой познакомились, когда обоим было уже за пятьдесят. Отца моей мамы бабушка позаботилась вычеркнуть из нашей жизни, а Владимиру Георгиевичу объяснила, что у него теперь новая семья, и привезла на дачу нашу ораву. Мы полюбили дедушку Володю. Только став взрослой, я задумалась: стали ли мы правда его семьей, полюбил ли он нас? Однажды я нашла в шкафу игрушку — настольный хоккей. Братья выросли из таких. Бабушка нехотя объяснила, что дед едет на первую встречу с внуком. Оказалось, у него есть сын, живет во Владимире, только они не общались — и вот решили попробовать. Видимо, из этой встречи ничего не вышло. На похоронах были только мы. А на памятнике выбито: «Тебя, владимирского сына, солдата русской стороны, вела дорогами войны судьба до самого Берлина». Мой папа сочинил.

Маммиола-метеола

Поздний вечер. Желтое окно как картина в белой раме наличника, хорошо видна каждая деталь; на лицах моих родных — блики от телевизора. Там внутри уют, чай с вареньем и

нет комаров, но снаружи у меня еще одно дело. Спускаюсь с крыльца и иду на запах маттиолы. Мелкие невзрачные цветы распускаются ночью, светятся сиреневым светом, издают дивный сладкий аромат. Вообще-то, я называю их «метеолла», так произносит бабушка, в этом слове мне слышится «метеор» — цветочки правда похожи на упавшие с неба звезды. Никто их не видит, они даром расточают свою красоту. А как же я? А я не зритель, я подсматривающий. На тайном ночном празднике я хочу быть своей. Наклоняюсь, глажу цветы, листья. Иду по дорожке, глажу стволы и ветки, плоды сливы стучают меня по лбу, их я тоже глажу. Всех, включая каменистую дорожку, мысленно приветствую.

Все они мои «братья и сестры», мои самые близкие друзья. Они молчаливо доверяют мне свою тайну, а я присягаю им на верность: я вас вижу, я вас понимаю, с вами мы заодно, а *они* ничего не понимают, но я не с ними, я с вами. «Они» — это люди, к миру которых я почему-то не хочу принадлежать. В фантазиях я представляю себя невидимой с земли верхушкой дерева, или семечком-былинкой — оно летает везде, и никто не обращает на него внимания, или задней стеной дома — туда уж точно никто не заглядывает.

Подхожу к баку и вглядываюсь в темную воду, где отражается дерево, плавают листья и яблоки, дробится мое отражение — только это не отражение, а ундина, которая смотрит на меня с той стороны поверхности. С ней я тоже в тайном сговоре.

Открывается дверь, на дорожку наползает прямоугольник света. «Ты что там делаешь?»

Быстро домой!» Ночная тайна разрушена.

Недавно я купила семена маттиолы двурогой и собираюсь посадить ее под окном. Если какая-нибудь юная романтическая особа захочет побродить вокруг и подышать ее таинственным ароматом, я буду рада.

Игольчатые астры

Мы уезжаем с дачи. Вещи уже в машине, она ждет на дороге с открытым багажником — мол, поторопитесь. С третьей попытки заперли дверь неповоротливым ключом; дом покосился, и ключ не вставляется в паз; после смерти деда все постепенно пришло в упадок.

Присядем на дорожку? Я сажусь на пеню, а мама на крыльцо, рядом корзина с антоновкой и пучком зелени в газетном кульке. На корзине белая тряпочка, стянутая веревкой, — бабушка всегда так делала. Взгляд мой падает на астры. Снова достаю ключ — нужен нож, чтоб срезать. Мама ворчит.

Лохматые астры пахнут горечью.

Мы уезжаем с дачи. Из окна машины бросаем последний взгляд на сад и маленький синий домик.

Калитка не закрылась, хлопает и скрипит на ветру. Ладно, теперь уже неважно. Задвигаю стекло машины. Пора. Я еще не верю, что прощаюсь с дачей-детством навсегда.



Записки художника. Отрывок «Забавные ситуации»

Елена Громова

Художник — очень интересная профессия. И полезная для разума, как ни крути. Учёные говорят, что рисование может даже отодвинуть деменцию. Что уж говорить про самовыражение через творчество. Это чистая эмоция. Художник забывает обо всём на свете, если очень увлечён.

Бывает, собираешься обедать, но надо немного «только вот тут подправить», поднимаешь глаза — уже время ужина, а остывший обед грустит в микроволновке.

С каждым художником частенько происходят забавные ситуации. Приятно в процессе создания картины налить себе чашечку кофе. А может, и чая, смотря что любишь. Ставишь эту чашечку рядом с водой для акварели и обязательно сполоснёшь в кофе кисточку, а может, даже сделаешь глоток акварельной водички. Порой даже не замечаешь. Если по окончании работы вода от краски всё же осталась, а дома есть кошка, скорее всего, она поможет опустошить стаканчик. А возможно, даже автограф поставит своими лапками на сохнущем листе. Никогда не слышала, чтобы кошек за это ругали. Некоторые художники даже приветствуют такие кошачьи шалости.

Одежда художника, а иногда и его домашних, частенько испачкана краской. Мои уже и внимания не обращают. Как-то раз муж прошёл в неполюженном месте и посадил пятно зелёного акрила на футболку. Просто махнул рукой и попросил сверху закрасить краской в цвет. Семья обычно готова к тому, что в отпуск поедет много материалов и придётся выкладывать из чемодана одежду и обувь, чтобы влезли все нужные кисточки. Да и времени для рисования выделить придётся достаточно. Это обычное дело.

Слышала, что море с природы многие рисуют, используя морскую воду вместо обычной. И сама это делаю. Такую работу совершенно точно можно назвать морской живописью. А если рисую реку, то обязательно пользуюсь водой из неё. Как будто река сама полилась на бумагу.

Иногда художник поглощён процессом, и вдруг заканчивается какая-то очень нужная краска. Хорошо, если рядом с домом есть подходящий магазин. Но это большое везение даже в крупных городах. И тут уже приходится бросать работу, если краску нечем заменить. Самая большая проблема — с белым цветом, если это масло или акрил. Его не смешать. Как-то раз мне так не хотелось ждать, что я взяла шпаклёвку, которая скучала в сарае после ремонта. Если это акварель, то белый цвет — совсем не проблема. Достаточно просто оставить цвет листа без краски.

Одно из главных правил выполнения заказа — не показывать картину покупателю в процессе работы. Перед тем как получается красивый итог, картина проходит несколько стадий в работе. В начале и в середине выглядит иногда даже страшновато. Человек может неприятно удивиться. Такое случается, когда заказчику не терпится посмотреть, что же там происходит с его картиной. Он просит прислать фотографию. Лучше этого не делать. Как-то раз мой заказчик почти разочаровался, увидев незаконченную работу. Он был очень вежлив, не сказал ничего плохого и не отказался от картины. Но по тону было понятно, что неприятно удивлён. И насколько же он обрадовался, когда увидел полностью готовую работу! Мне показалось, даже вздохнул с облегчением.

Некоторые истории давно превратились в байки в сообществах художников и стали любимыми темами. На первом месте обычная просьба: «А нарисуй меня. Чего тебе стоит?» Не каждый художник рисует портреты. Это как врачи. Педиатр не может провести хирургическую операцию. Патологоанатом не лечит больное горло. И даже, предположим, если это портретист — не значит, что он всегда хочет нарисовать портрет любого человека. Тем более бесплатно и «быстренько». Я всегда делаю встречное предложение, что-то типа: «А ты меня бесплатно полечишь» — если это врач. Или: «А ты мне бесплатно уберёшь дом, чего тебе стоит» — если домохозяйка.

Однажды, когда у меня случился непродолжительный «портретный период», моя мама сказала мне, что я не должна рисовать кого угодно, а должна нарисовать портреты всей своей семьи и предков, потому что они важнее для меня. Но так не бывает. Рисовать из-под палки тяжело и быстро надоедает.

А бывает, смотрит кто-то на твою работу и спрашивает: «А ты это сама нарисовала?» Я сначала даже терялась с ответом, со временем привыкла. Стараюсь отвечать с юмором. Например: «Нет, конечно, мне соседи помогали».

Когда кто-то непосвящённый видит референсы, которыми я пользовалась в процессе работы, нередко слышу: «А-а-а, так ты просто срисовала». Никто ещё не придумал пейзажа лучше, чем сама природа, так почему же не взять за основу её произведения и добавить своё видение? Если у вас не фотографическая память, то при рисовании из головы часть важных деталей неизбежно будет упущена. А если вдруг вам повезло, и вы помните абсолютно всё из увиденного, значит, вы всё равно используете референс, просто он у вас в голове. Такие высказывания быстро становятся забавными историями.

У художника, который рисует акварелью, краски всегда испачканы друг другом. Не принято начисто промывать кисть после каждой кюветки. В природе нет чистых цветов, и чем больше красок намешано, тем выглядит естественней. Без фанатизма, конечно. Сестра как-то раз открыла мою коробочку с акварелью и очень удивилась, почему так грязно внутри. Хотела немедленно мне помочь и отмыть краски. Пришлось объяснять ей, что

это не грязно, а живописно. Вовремя я успела остановить её, иначе краски утекли бы вместе с водой в неизвестном направлении. Акварель я почти никогда не чищу. Знаю художников, которые любят рисовать водой, в которой долго и много промывали кисти. При правильном подходе к соотношению тонов, такие работы получаются довольно интересными.

Для любого художника важно продавать свои картины. Это приятно и само по себе, и приносит доход. Бывает, кто-то хочет заказать картину, но цена кажется ему высокой. Я не раз слышала мнение, что художнику дана способность рисовать, значит, он должен делать это очень недорого или совсем бесплатно. Чего только стоит фраза «художник должен быть голодным». Но ведь это такая же работа, как и другие. Пекарю вовсе не дана способность печь булки, он этому учился — возможно, долго, трудно и дорого. А потом годы практики. Точно так же и художник. Так почему же он должен просто дарить свои профессиональные умения? Что уж говорить о цене на качественные материалы для рисования и живописи.

Однажды подруга была у меня в гостях. В мастерской по стенам развешаны работы. Она посмотрела их и сказала, что её младшенькая тоже художница. Быстро научилась. К слову, девочке около трёх лет. Моя подруга — бухгалтер. Я ей рассказала, что и моя дочь давно стала бухгалтером, потому что у неё есть счёты и она быстро научилась с ними управляться.

Часто слышу комментарии к своим работам, что они отличаются от оригинала, будь то референс или натура. Тогда я объясняю, что у художника нет задачи повторить природу или что-то ещё один в один, до последнего пятнышка, если это не гиперреализм. Такое повторение не имеет никакого смысла — ведь есть фотоаппарат. А художник передает картинку так, как её видит. Привносит в работу свою индивидуальность. Если только он не получил какой-то конкретный заказ, который лучше исполнить как подобает. Тут уже не уместен подход «я художник, я так вижу». Но такой заказ должен быть оговорен заранее и подробно. Покупатель сам не всегда знает, что хочет получить.

Все эти истории и многие другие ходят среди художников из года в год. Некоторые вызывают возмущение, другие заставляют

улыбаться. Но неизменно всё повторяется снова и снова и со временем пополняется.



Заснять пересмешника

Светлана Старогубцева

Прошлой зимой я наконец-то снова увидела снегирей. Целая красногрудая семья развесилась наливными яблочками на замерзших ветках. До этого момента снегири долго жили лишь в моих детских воспоминаниях рядом с деревянными салазками и пушистыми варежками. Оказалось, они обитают ещё и в ближайшем лесопарке. После этого я чаще стала гулять по тенистым аллеям, присматриваясь к другим пернатым. И обнаружила, что, кроме вездесущих голубей и воробьев, в нашем лесочке можно встретить дятла, трясогузку, стрижа, поползня, дрозда, грача...

Так невольно я присоединилась к модному движению бёрдвотчеров и стала лучше понимать, почему некоторым людям нравится считать зябликов и прислушиваться к трелям малиновки.

Мастер-класс от Бианки

Бёрдвотчер, говоря по-простому, это тот, кто отправляется в выходные на природу не жарить шашлыки, а заниматься бёрдвотчингом — то есть наблюдением за птицами. Сами приверженцы этого хобби предпочитают называть себя бёрдерами, а свое увлечение, соответственно, бёрдингом. Противники англицизмов могут с легкостью именовать себя птицеворами. А в советское время таких людей без затей звали орнитологами-любителями.

Человечеству во все времена нравилось наблюдать за природой, в том числе и за миром птиц. Но родиной бёрдвотчинга все-таки считается Англия: созерцание пернатых было модным увлечением у британской аристократии уже в XIX веке. А сам термин «бёрдвотчинг» ввел в обиход в 1901 году

англичанин Эдмунд Селус. В своей книге орнитолог убеждал современников, что наблюдать за птицами гораздо интереснее, чем вести на них охоту.

А что же в нашей стране? В Российской империи на пернатых предпочитали охотиться, а в Советском Союзе привилегию наблюдать за птицами предоставили детям. Чтобы проще было изучать лягушек и кукушек, для юннатов организовывали специальные станции в лесных уголках. А взрослым натуралистам познавать природу приходилось самостоятельно. Например, геолог Борис Щекин на основе своего хобби написал книгу «Птицы Даурии», высоко оцененную орнитологами.

К бёрдвотчерам того времени можно отнести Михаила Пришвина и Виталия Бианки. Именно из их книг советские и постсоветские дети узнавали, чем питается синичка и как зимует тетерев. Помню, в детстве меня поразила сказка Бианки «Чей нос лучше?» — история про птичьи носы с философским подтекстом. А его же книга «Наши птицы» с детальными иллюстрациями и сейчас может стать мини-пособием для начинающего бёрдвотчера.

Сегодня «птичье хобби» больше всего распространено в Северной Америке, Западной Европе и Японии. В России в ряды бёрдвотчеров тоже вступает все больше и больше людей. Любопытно, что наблюдать за птицами предпочитают жители больших городов. Наверное, потому, что в городских парках ягод и грибов не отыщешь, зато реально собрать коллекцию наблюдений за пернатыми, а то и — потрясающих фотографий.

Отличить весничку от зарнички

Начинающему бёрдвотчеру, в отличие от альпиниста или дайвера, требуется всего ничего: бинокль, определитель птиц, блокнот и ручка. А если станет тесно в роли наблюдателя, то можно вооружиться фотоаппаратом с длиннофокусным объективом. Но чтобы создавать четкие, живые снимки, придется долго принаравливаться к капризной птичьей натуре.

Если ограничиться только биноклем, то на первое время вполне достаточно 8-10 кратного. Главное, чтоб он был небольшим и легким: с таким проще наматывать круги по парку в поиске крылатых обитателей.

Самый важный инструмент бёрдвотчера, на мой взгляд, — определитель птиц. Без него встреченная пёночка так и останется простой серой пичужкой. И уж точно без справочника не различишь, весничка она или зарничка. Можно для этих случаев пользоваться сайтами или мобильными приложениями, но куда приятнее шуршать страницами, вторя шелесту листьев над головой. Выбирая бумажный определитель, лучше тоже позаботиться о его компактности: чем уже ареал наблюдения, тем меньше книга о нем. Мне, например, пока достаточно определителя птиц Москвы и Подмосковья. Но существуют и справочники, которые охватывают птиц европейской части России или птиц Сибири.

А ещё любой серьезный бёрдвотчер ведет полевой дневник. Тут-то и пригодится блокнот или тетрадь. А если времени на это жалко, то лучше сразу заносить данные в специальные онлайн-приложения, к которым, между прочим, часто обращаются в своих исследованиях орнитологи. Самое важное — отметить вид наблюдаемой птицы, количество особей, место и дату встречи.

Хотя полевой дневник возможно превратить и в произведение искусства. Как-то в Сети я видела сканы тетради бёрдвотчера с милыми рисунками птиц, выполненными цветными карандашами. Так что, наблюдая за птичьим полетом, стоит отпустить в полет и свою фантазию.

И конечно, нужно позаботиться о комфортной одежде для разных сезонов. Настоящие бёрдвотчеры выходят на охоту за впечатлениями круглый год. Хотя всё же осень и весна — самые плодотворные периоды: птицы, которые мигрируют на привычные места обитания, часто делают остановки в парках и на водоёмах. Есть шанс в это время пополнить коллекцию необычной пташкой. Но самый птичий месяц в нашей средней полосе — май. Все перелетные птицы уже возвращаются с зимовки, но на гнезда ещё не садятся — возрастает вероятность интересной встречи. Плюс на конец весны приходится пик певчей активности.

Для меня различать голоса птиц — самое сложное в бёрдвотчинге. Обидно, когда утром тебя будит ликующая песня, а ты не понимаешь, жаворонок это поет или свиристель. А когда «птичий шазам» выдает тебе и вовсе виргинского филина, понимаешь, что слух у приложения еще хуже, чем у тебя. Поэтому если хочется самому разобраться в щебетании и чириканье, в трелях и руладах, то придется долго вслушиваться в хиты пернатых, выложенные в интернете.

А слушая голоса в естественной среде, главное — не нарваться на пересмешника. Да-да, знаменитая пташка из Америки, умеющая подражать пению других птиц, не единственная в своём роде. У нас и своих пародистов хватает: скворцы, вороны, камышёвки, сойки.

Но что мешает без лишних мук просто наслаждаться разнообразным птичьим репертуаром?

Ловцы и дзен-буддисты

По моему мнению, бёрдвотчеры делятся на две категории: «ловцы» и «дзен-буддисты». Первые — это те, кем движет спортивный интерес, кто стремится пронаблюдать как можно больше птиц. Плюс «ловцы» любят выискивать птиц диковинных и редких. Такие бёрдвотчеры на каждой прогулке непременно составляют чек-листы, куда заносят названия пернатых, увиденных за день. А в лайф-листы собирают виды птиц, пойманные в объектив бинокля или фотокамеры за всю жизнь. Изучив крылатую фауну своего района,

«ловцы» отправляются в соседние парки, а после — в зеленые зоны других городов. Самые отважные искатели могут и вовсе полететь на Дальний Восток за японским журавлем или за марабу в Танзанию.

Вторую категорию бёрдвотчеров — «дзен-буддистов», к которым я отношу и себя, — больше интересует сам процесс наблюдения за птицами. Им нравится неспешно бродить по лесам и паркам, гадая, встретят ли они на пути надоевшую галку, или посчастливится наконец увидеть иволгу. «Дзен-буддисты» даже наблюдение за обыкновенной чайкой могут превратить в медитацию. Однажды я почти час любовалась ласточкой, которая обустроивала гнездо под крышей заброшенной усадьбы.

Что привлекает бёрдвотчеров обеих мастей в этом хобби, так это возможность поучаствовать в научных процессах. Греет душу, что отмеченный тобой в «птичьем приложении» чижик помогает орнитологам точнее определить его численность и места миграции.

И конечно же — общение с единомышленниками. Так как бёрдвотчинг завоевал сердца многих людей, появились сообщества, которые объединяют любителей птиц. Можно на несколько часов отправиться гулять по парку в группе с гидом-орнитологом. А можно с друзьями по интересам, прихватив палатки и котелки, затеряться на неделю в краю непуганых птиц.

Многим современным людям бёрдвотчинг помогает сблизиться с природой, расширить кругозор, найти внутренний баланс. Птицы — обаятельные,

непосредственные создания, изучать которых и занимательно, и терапевтично. Главное, пернатые всегда рядом: в парках и скверах, на прудах и реках. В Москве около 120 видов постоянно гнездящихся птиц, в Петербурге — 160, не считая залетных мигрантов. Стать активным бёрдвотчером возможно, не покидая города.

Наверняка кому-то это хобби покажется легкомысленным во времена, когда по небу, кроме птиц, летают беспилотники и ракеты. Однако бёрдвотчинг — прекрасный способ хотя бы на время оторвать глаза от селевого потока новостей в смартфоне и устремить их ввысь, открывая для себя другой мир.

Деревня белых аистов

Мое самое яркое бёрдвотчерское впечатление нашло меня под Калининградом, в маленьком поселении по дороге к морю. Помню, как заворожённо смотрела я из окна автобуса на ожившую картинку из какой-то детской книги. Аисты. Раньше я встречала их лишь поодиночке. И вдруг — десятки аистов в небе, на деревьях, на крышах, на электрических столбах. Длинные, грациозные, словно колокольни, возвышались они над лохматыми гнездами. Людей на улицах не было, будто это место полностью принадлежит птицам. Увы, с собой не оказалось ни бинокля, ни фотоаппарата. Даже взять в руки смартфон позабыла я в тот момент. И осталось лишь зыбкое, сновиденческое воспоминание о деревне белых аистов.

Можно часами гулять по лесу в поисках интересных птиц, а самая удивительная встреча случится неожиданно.



Мальчик. Деревня. Война

Ольга Самарина

Мальчик — шестилетка — ходил за дедом как привязанный. Дед брал внука на пасеку, приговаривал, доставая рамки с медом: «Ты никогда не бойся пчел, не дергайся. Пчела — самое безобидное насекомое. Вот, давай, бери эту рамку сам, только спокойно: видишь — не кусают». Вместе они перевозили ульи на новые места, где нектар еще не собран. Счастье — это лето, солнце и ломоть хлеба с растекающимся по ручонке мёдом. Дед был для мальчика всем. Парнишка учился смазывать дегтем колеса телеги, править лошадей, а заодно научился забористому дедову мату. Вечерами дед и отец люто ругались на политические темы. Мальчик всегда вертелся рядом. Бывало, в короткое затишье отец подхватывал его, босого, под мышки и сажал в почти пустой глубокий бочонок с солеными огурцами: «Ну-ка, сынок, пошарь там на дне нам с дедушкой огурчиков», — и снова они кричали и, осипшие, расходились спать. Дед был против советской власти, отец же прошел гражданскую с красными, стал зампредом исполкома.

Еще до войны в 40 году забрали моего дедушку. Мы лежали с ним на печке, вдруг я вижу, как через поле к нам два милиционера идут. Забрали деда. Вскоре прибежала мать с колхозного поля, схватила что-то из дедовых вещей и взяла его вставные зубы из-под божницы, и мы побежали с ней на станцию в НКВД. Мать просила передать деду вещи, но ей отказали. Просила передать хотя бы зубы: «Как же он без зубов есть-то будет?!» — «Они ему больше не понадобятся».

Причина ареста: дед слепил из хлебного мякиша свастику и положил на фото Сталина в газете, прямо на лоб. Так он отреагировал на пакт Молотова — Риббентропа в компании двух односельчан. Кто-то из них донес. Ему дали десять лет без права переписки, что означало расстрел. Впоследствии деда реабилитировали.

А вскоре война забрала уже отца. Остались они вчетвером: мальчик, два брата — старший и маленький, и мать. Война всех на дело подрядила: мать пропадала на колхозных полях, старший брат на железную дорогу работать пошел (не за трудодни, а за деньги — кормилец вместо отца), а на мальчике был огород, да еще он рыбачил или брал берданку, кликал собаку и шел охотиться на белок (шкурки сдавали, они шли на оплату поставок по ленд-лизу, пушнина очень ценилась).

Вот ты говоришь, что ружье тяжелое. Да я в свои семь лет не только ружье нес, я еще и собаку из леса на себе вынес, потому что у нее лапы сильно закровили. Шкурки с белок я прямо в лесу снимал — у нас все просто было, все понятно и просто. Ведь за шкурки можно было получить порох и дробь!

Войну не выиграли бы без помощи баб и ребятишек. Я стал полноценным работником. Мои трудодни на мать записывали. Нужно было заготовливать дрова. Поезда ездили на дровах. В лесу снега по грудь. А бабы пилили деревья под самый корень. Мы, ребятишки, рубили сучья и жгли, чтобы летом это место было пригодным для покоса — делали ровную делянку. Бабы были в ватных штанах, а сверху юбка. Когда домой возвращались — их юбки от мороза и снега колом стояли. Мать приходила, сначала шла кормить-поить колхозных телят. Все это должно было быть теплым. Дядя Вася-инвалид котел с водой поддерживал разогретым. Потом мать шла кормить свою скотину. Когда приходила в дом, садилась на край кровати, что-то съедала, пила и валилась на кровать. Я стаскивал с нее валенки, штаны, нес сушить: в русской печи были отверстия для сушки. Сам я тоже еле ноги волочил к вечеру.

Всю войну в деревне в каждой избе кто-то жил. Никогда раньше мальчик не видел такого множества новых лиц. Сначала привезли эстонок, жен коммунистов. У них были деньги, и они покупали молоко. Самим же

колхозникам своего молока не доставалось: всё нужно было сдавать государству. Однажды, когда мальчик вез молоко на станцию, гайка, привязанная к веревке, случайно попала в бидон. От тряски по дороге на гайке образовался комочек масла, и мальчику выпало лакомство. Когда ему опять приходилось возить молоко, он с удовольствием повторял этот нечаянно выученный фокус.

Потом то и дело к нам селили беженцев. Как-то привезли евреев из блокадного Ленинграда. Многих отправили в Душанбе, а умельцев шить и сапожничать оставили у нас. Им все время доставляли горы солдатской обуви и обмундирования, и они все это чинили-латали. После войны через несколько лет я нашел эту семью в Ленинграде. Он был портной. Он сшил мне морской китель из благодарности и не взял с меня денег. Я остановился у них на две ночи, ждал общежития. Ночами я слышал, как они с женой ругались. Речь шла о ребенке, которого съели в блокаду. То ли они съели, то ли их ребенка съели, я не понял...

Но, кроме беженцев, часто ночевали в избе и солдаты. Рядом с деревней — большая станция, ежедневно шли эшелоны. Приходили на постой бойцы с фронта, прямо из окопов, все во вшах, спали вповалку на полу. Мать прожаривала их одежду, стирала портянки, кормила тем, что было. Мальчик смотрел с печи на серые измученные мужские лица, прислушивался к их ночным стонам, всхрапам и всхлипам, ощущал чужие запахи промокшей кирзы, волглой одежды, пота и махорки.

Станцию все время бомбили. Председатель установил очередь по уборке трупов: «Маруся, ваша очередь идти на уборку трупов». Мы с матерью вместе ходили. Там вырывалась большая яма, в которую сбрасывали трупы. Однажды приехал поезд с вагонами, в которых перевозили ребят четырнадцатилетних. Из ремесленного училища они были. И был мороз ужасный. Они стояли — полный вагон, и все замерзли. Двери открыли, и они заледеневшие оттуда посыпались. Только в самой середине еще кто-то шевелился...

В одно из дежурств мать сняла с убитого морскую шинель для меня, там пуговицы были с якорями: «Как хочешь, сынок, а я возьму эту шинель!» — взяла, вытрясла вшей, привела в порядок, и я ходил в ней: она была до полу, плечи

доходили мне до локтей — ходить неудобно было. Потом ее мать обрезала под меня.

А война длилась. Всё — зерно, мясо, молоко, яйца, — нужно было сдавать для фронта. Людям в деревнях не оставалось ничего. Все истории с колосками, за сбор которых ссылали в лагеря, не придуманы.

У нас был очень хороший председатель. Когда молотили зерно, он распорядился сделать как бы небольшой подпол, куда мог лежать ребенок. В основном полу были щели, в которые просыпалось зерно. Все зерно забирало на фронт. Процесс шел под охраной военных. Председатель загодя посылал в подпол пару мальчишек с мешками, и мы там собирали просыпавшееся в щели зерно. Он очень сильно рисковал: могли и расстрелять за такое. Потом, когда военные уже увезли все зерно, председатель брал мерку и отсыпал зерно на каждую семью: сколько ртов, столько и мерок. Это помогло нам выжить.

И все же люди слабли. Мальчик простудился и заболел воспалением легких с плевритом. Его лечил ссыльный ленинградский фельдшер. Мальчик весь горел, лежал на топчане уже без сознания. «Скажи, он выживет?» — пыталась мать фельдшера. «Сам не знаю, Маруся».

Мальчик сквозь забытие почувствовал что-то горячее на лице. Откуда-то сверху послышался мамин голос: «Что я теперь отцу-то твоему скажу, сынок! Не уберегла я тебя!..» — Слезы опять закапали мальчику на лицо. «Мама, дай мне есть и пить», — очнулся он. С этого момента он быстро стал поправляться.

Я так редко был с матерью, ей всегда было некогда. И мне так хотелось всегда заболеть, чтобы она вновь плакала надо мной, как тогда... (плачет сам).

Отец мальчика пропал без вести в боях под Ленинградом в 1943 году.

Как-то приехал в деревню врач, детей выстроили в шеренгу и попросили нагнуться. Кто упал, того увезли в детский лагерь под Москву, чтобы подкормить. Мальчик тоже упал после болезни. В лагере он впервые попробовал невиданное: сыр на белом хлебе с

маслом и шоколад. Эти продукты усиленного питания были из Америки.

Но я очень тосковал в лагере, поэтому сбежал оттуда и добрался до родной станции на товарняках. Бежал к матери... А она, как увидела меня, закричала: «Ты представляешь, что там в лагере делается сейчас, свинок?! Тебя же все ищут! Что тебе там не сиделось?». «Я скучал». «Скучал он! Где я тебе здесь такую кормежку найду?!» Мать схватила меня, и — на вокзал, посадила в поезд обратно.

Война длилась и длилась. Мальчик уже ходил в школу и быстро научился читать. В избе темно, читал при лучине, накрывшись, чтобы мать не видела свет. Мать ругалась, потому что воздух прогорал, а лучина чадила. В деревне работала завучем молодая учительница из Ленинграда. Она любиламышленого мальчика, давала ему свои книги, и он перечитал их все. Однажды учительница дала ему книжку, написанную мичманом царского флота о морском походе на большом паруснике, продлившемся целых три года. Кливера и стаксели, шпангоуты и реи, тельники и бескозырки, бушлаты и кортики, склянки, свистать всех наверх, право руля, полный вперед, экватор, компас, шторм — мальчик заболел этой книгой, стал грезить морем и поклялся сам себе, что обязательно станет моряком.

Свою первую морскую татуировку — якорь — мальчик сделал во время войны (остальные — романтический парусник в

волнах с чайками над мачтой и морячок в бескозырке — произведения по своим нехитрым рисункам, он наколот уже подростком). Но сначала был якорь.

В бане с товарищем мы закоптили стекло, соскоблили сажу и развели водой. Сострогали палку клинышком, привязали к ней ниткой навстречу две иголки, они получились рядом, макали в сажу с водой и набили якорь мне. Я хорошо рисовал, якорь красивый получился. Пришел в школу с замотанной рукой, когда зажило, размотал — весь класс сбежался, девчонки ахали. У меня у первого татуировка была.

После войны через несколько лет — мне четырнадцать исполнилось — я поехал поступать в мореходку. Мать провожала меня, дала в дорогу мешок сухарей и пачку маргарина. Когда я сел в вагон, она положила мне руку на спину и сказала: «В деревню, Боря, больше не возвращайся».

Борис Демьянович Садовников больше никогда не вернулся в свою деревню, хотя всю жизнь тосковал по местам своего детства на Вологодчине. Мать с братом тоже перебрались в Ленинград. Он сдержал детскую клятву и стал моряком дальнего плавания.

У него есть особое средство от невзгод и болезней: когда он себя неважно чувствует, он всегда съедает ложечку мёда. Ему помогает.



Моё тогда — моё сейчас

Ольга Хотимская

Мама всегда хотела написать мемуары. Не о себе — о своей семье, о предках, хотя интересной была и её собственная жизнь. Самое яркое моё о ней воспоминание (а её нет уже четверть века): как она сидит ночью на кухне, за столом с потёртой клеёнкой, в облаке сигаретного дыма, с тетрадью и ручкой. Тускло горит лампочка в абажуре, на плите варится борщ — он был у неё восхитительный. Мурлыкает в углу телевизор, а мама сосредоточена на чём-то очень для нее важном. Она многое мне дала. Рассказывала о своих родителях и их воспоминаниях о других родственниках. Жаль, что тогда, в детстве, в моей голове задерживалось немного, но так оно и бывает часто.

Мама работала врачом в Доме творчества писателей в Переделкино и дружила с его обитателями. Дома работа продолжалась: она расшифровывала кардиограммы и консультировала пациентов по телефону. А ночами сидела над своими записями, и я думала, что истории сохранятся. Когда после её смерти я наконец решилась туда заглянуть, в многочисленных тетрадях нашла только рифмы. Сотни тысяч рифм в десятках тетрадей. Сидя перед чистым листом, я вспоминаю эти рифмы. Увлекали ли маму именно они, или это так и не начатые рассказы, которые жили у неё в голове и не смогли перебраться на бумагу полноценным текстом?

В нашей семье многое сохранилось не только в памяти, но и в документах, частью уникальных. Это бумаги маминой семьи. Например, похвальный лист в половину ватмана — за отличные успехи второклассницы Веры Перзекке в 1890-1891 учебном году. Это моя двоюродная прабабушка. Ветхий лист из прошлого с «ятями» и сургучной печатью будоражит чувство причастности к одной из судеб. В том же доме в Троицке жил тогда и мой прадед

Николай, и, думается, эта грамота наверняка была гордостью сестренки Верочки и не могла не побывать в его руках тоже.

Или вот — трогательное письмо еще юной бабушки Лёли (маминой мамы, в ее честь назвали Ольгой меня). Она пишет бабушке (бусюсичке) на бланке конторы своего отца, присяжного поверенного Николая Конрадовича Перзекке, того самого, из Троицка, правнука немецкого барона. Историю этой ветви мне еще предстоит изучить более подробно. Лёлино письмо написано за два дня до февральской революции 1917 года, ей 11 лет. Девочка рассказывает, как хорошо она выступила на музыкальном вечере, что сделала подарок для бусюсички, но выслать его не может, потому что «*посылки на почту не принимают, а если и примут, то пропадет*». В Симферополе, где они живут, буйствует страшная эпидемия инфлюэнцы, а папа и мама строят планы поехать летом к ней, к бабушке. Планы... Возможно, на много лет вперед 1917-й был последним, когда еще строили планы. Мысленно перемещаюсь в нашу прошлую действительность, в доковидные времена.

В горах книг и бумаг, хранящихся у старшего брата на балконе, вдруг обнаружилась пыльная, забытая папка с документами Залмана Ионовича Хотимского, папиного отца. Почему эта папка столько лет пылилась и никого не интересовала? Кажется, её не открывали со дня смерти Залмана. Никто из многочисленных родственников никогда не пытался узнать подробности о семье деда? Я взяла папку: пришло время узнать о папиных предках. С началом боевых действий в Украине многие стали искать еврейские корни, и я тоже. Среди прочего, в папке нашелся бланк всесоюзной переписи членов ВКПб 1922 года, на котором Залман Хотимский лаконично описал часть своего ещё молодого (он ровесник XX века) бытия. Потёртая

временем бумажка помогла размотать клубок, нить из которого вела к жизни дедушкиной семье. Ровно через сто лет, в 2022 году, я потянула за нитку, и это помогло в чудовищный год потерь и разрушений.

Из документа следовало, что в свои 22 года дед состоял в партийной ячейке Киевской артиллерийской школы, свободно говорил на еврейском языке, «с 17 лет не верил в бога». Полученное к тому времени образование — еврейская и русская сельские школы и 4 класса городского училища. Мой прапрадед был служащим на мельнице, прадед — приказчиком лесных предприятий, прабабушка — домашней хозяйкой. Дедушкин опыт работы конторским мальчиком, счетоводом и счетоводом-казначеем был недолгим, затем до конца жизни следовала военная служба. Денежный заработок Залмана в 1922 году — 23 рубля. Вот те немногие (а на самом деле огромные!) сведения, которые дали понимание о жизни и об эпохе. Бланк мне открыл больше, чем заставшие деда живым родственники. Видимо, дед не был рассказчиком, или при прошедшей на многочисленных войнах 55-летней жизни у него не нашлось времени для общения с семьей.

Страницу за страницей я изучала поместившуюся в папку жизнь деда, которая, мне кажется, так переключается с современностью. Все больше важных документов попадало ко мне в руки. Тетя передала мемуары ее отца, родного брата деда — Льва Ионовича. Первые двадцать страниц своего жизнеописания он посвятил семье и детству. Рассказывал о братьях — Левоне, Зёме (моем деде Залмане), Дане и Хоне, и о двух сестрах — Соне и Фриде. О бедности, от которой спасали корова и трудолюбие. И о родителях — Стере Евелевне и Ионе Львовиче, имена которых я наконец узнала, и они вплелись в мою личную историю, оживающую с каждой новой главой.

«Отец наш — Ион Львович Хотимский — к 30 годам окончил царскую военную по охране. Родителей он потерял в раннем детстве, как-то оказался в нашем селе, женился здесь на нашей матери. Отец поступил на работу на лесопильный завод, находившийся в трёх километрах от нашего села, в лесу. Мать наша — Стера Евелевна — малограмотная женщина, но очень любознательная и трудолюбивая. Вставала всегда в 5 утра, доила корову, готовила завтрак, обед и ужин на нашу ораву из

девяти человек. Завтрак наш был из картошки с капустой и чашки молока, благо корова у нас была всегда — наша кормилица. Обед — из борща и гречневой каши. На ужин доедали кашу, оставшуюся после обеда», — старательно описывает четкими буквами дядя Лёва (так его называли в семье), стараясь выдерживать былинный стиль. Стера Евелевна рассказывала детям о родственниках мужа, но эти рассказы до нас не дошли даже через мемуары дяди Лёвы. Хотимских я встречала не раз, они жили по всей полосе еврейской оседлости, но соединить их пути вместе мне не удалось.

Смотрю на фото деда, который не дожил до моего рождения почти 20 лет. Бледное лицо, военная форма, зачёсанные назад волосы, а в глазах то, что можно теперь увидеть на фотографиях и на видео современных солдат: отпечатки пережитых на фронтах ужасов, боль потерь, тревога за близких. Все это обостряет ощущение цикличности, но тогда они были защитниками, зачем воюют теперь? Залман Хотимский родился в Черниговской губернии, на границе Украины, России и Беларуси, там, куда и теперь пришла беда. В семье говорили, что родина деда — Новгород-Северский, но это оказалось не совсем так. Его родное село — Каменская Слобода Новгород-Северского района.

В прошлом, которое открывали старые документы, угадывалась и моя жизнь. Маленькие врачебные справки деда рассказывали о его заболеваниях, некоторые из которых унаследовали мы с сыном. Дед был полковником, в его записных книжках мелким почерком расписаны и зарисованы планы битв 1941-1942 годов. Руководил штабом армии при боях в Подмосковье, вёл учет оружия и снарядов. Подробно описывал происходящее, в том числе свои чувства. Я расшифровывала длинные письма, рапорты и объяснительные, написанные после того, как из-за доносов деда отстраняли от должностей, исключали из партии, угрожали расправой. Видимо, причиной преследований стал расстрел Григория Штейна, с ним Залман служил на Дальнем Востоке и на Финской. На расстрельном списке с фамилией Штейна стояла резолюция другого его близкого соратника и командира — Клим Ворошилова. Деду повезло больше, ареста он избежал, хоть и ценой собственного здоровья и психики.

Зная теперь имена предков, я искала их в интернет-источниках. Общалась на форумах

генеалогии, консультировалась со специалистами, отыскивала все, что могло стать мостиком в прошлое. Меня познакомили с украинским юристом, который занимается поисками предков в Украине. Он выслушал и уверил, что, учитывая годы и нынешнюю ситуацию войны, скорее всего, ничего найти не удастся. Но я узнала, что множество украинских архивов оцифровано и доступно в Сети. Внимательно просматривала отсканированные в разной степени качества страницы архивных материалов, но своих родных не находила. Теряла надежду на успех, думала, что тот юрист прав, но однажды мне повезло.

«1882 г., Каменская Слобода: Мещанин Евсей Залманов Рабинович, 35 лет; Жена Фрида Лейбович, 30 лет; дочь Стера-Эстер, 11 лет» и еще четверо братьев-сестер от года до семи — значилось в одной из книг. Других девочек по имени Стера в селе не значилось. Мои предки были Рабиновичами.

В книге 1888 года моей прабабушке Стере уже 16. А в книге «Евреи, незаконно поселившиеся в Черниговской губернии» 1906 года уже значатся Шкловский мещанин Хотимский Евна Левиков, его жена — Стера Евелева и дети: Соня, Левон, Зяма, Лев, Даня, Хонон и Лейба (она, видимо, не выжила). Значит, к тому времени прадед жил в селе и был женат не меньше десяти лет.

И снова из тетради дяди Левы: *«Отец наш пользовался уважением у односельчан за его общительность, доброту к окружающим. <...>»*

Вечером, бывало, как только стемнеет и когда закончена работа по хозяйству, у нас собирались соседи. Народу собиралось столько, что в комнате буквально негде было яблоку упасть <...>. Отца все называли просто: Енькой. “Куда пошли? До Еньки”». Это было ровно за век до рождения моего сына.

В процессе изысканий открылся и некий «скелет» в семейном шкафу. История неприятная, но, узнав об этом, я познакомилась со своим братом, о существовании которого не догадывалась. Подобные встречи (а за этот год она была не единственной) — хрупкие и радостные, как яркий новогодний шар. Люблю их и бережно храню, радуясь волшебству открытий.

В начале 2023 года мы получили визу репатрианта и через месяц улетаем в Израиль. Это решение принималось с болью, мы не хотим оставлять наш дом, куда только что переехали. И остался долг по отношению к маме. Я обнаружила для себя белые пятна в истории и ее семьи. Пыталась добыть информацию, посылала запросы в архивы, но прояснить удалось не все, так что мне еще предстоят новые поиски. В маме соединились русская, немецкая, украинская, польская, греческая, польская крови. И еврейская. Именно о последней мне было известно меньше всего, но кое-что я все же узнала. Оказалось, что второй мой дед, Виктор Мелешко, сын известного в Симферополе начала прошлого века украинского банкира и филателиста Спиридона Афанасьевича, — еврей по матери, и эта история достойна того, чтобы её написать отдельно.



Норвежское бешенство клерков

Ашот Оганесян

Пивной понт

Мартовским вечером мы сидели в «Яне Примусе», что в Крылатском. Сидели не в первый раз: за десять лет после института дороги не разошлись, и студенческая дружба постепенно переходила в молчаливую мужскую верность. Четверо взрослых за пивом договаривались о том, о чем стоит говорить лишь на трезвую голову. Впрочем, знакомьтесь:

Димон — двадцатикилограммовый программист, любитель сала и меда.

Илья — педантичный и ленивый интеллигент. Оценщик в аудиторской фирме.

Женя — рубаха-парень и разочаровавшийся в программировании математик.

Ну, и я — занудный перфекционист со специфическим чувством юмора, которое, однако, не помешало занять позицию в крупном банке.

— Парни, вот так и будете пузо отращивать. — Илья подбивал на автономный велопоход по Норвегии летом.

— Илюх, отвали, мне спортзала хватает.

— С тобой еще понятно, — Илья перевел взгляд с меня на Димона, — а этот чего?

Димон благодушно погладил живот:

— Меня все устраивает. А поездку ты мутишь, чтобы доказать отцу, что ты не лох.

Отец Ильи — инженер-ядерщик дядя Володя — к шестидесяти годам накачал на велосипеде сорок тысяч километров по всему миру. Я узнал о нем, когда Илья после первого курса вернулся из велопоездки Барселона — Воронеж. С тех пор Илья никуда не ездил, и активный отец сокрушался по поводу образа жизни сына.

— Я сегодня же беру билеты! Вы охренеете! — Илья вошел в раж.

— Да бери куда угодно. — Димон шумно отхлебнул из литровой кружки под наши осоловевшие взгляды.

Как Ока?

В июне Илья напомнил, что через месяц вылет, билеты невозвратные, а наша физическая форма соответствует только форме офисного кресла. К тому времени дядя Володя, окрыленный «первым взрослым поступком сына», уже разработал нам «лучший маршрут по Норвегии». Илья настоял на хотя бы одной тренировке, и мы выбрали в Тульскую область.

Небольшие холмы вдоль Оки покоряться не хотели. Мы ругались, смеялись и охали. Один Илья с укоризной смотрел, как мы катим велосипеды перед собой на подъеме и твердил, что это даже не десятая часть предстоящей нагрузки.

Кое-как поставили лагерь, переночевали и вернулись домой. Назад дороги не было.

Мокрый старт

Тысячи километров на самолете и четыре часа заброски на автобусе позади. Мы на точке старта. Собираем велосипеды — и в путь! Настроение боевое. Не испортила его даже потеря эксцентриков моих колес: нужные запчасти чудом нашлись в субботней норвежской глуши. Это стоило пяти часов времени и намечало отставание по маршруту. Ну если не плановые шестьдесят километров, то тридцать мы сегодня сделаем точно!

Старт!

Не прошло и десяти минут, как полил дождь. Из-за туч резко потемнело, идущая под уклон дорога стала скользкой, и Илья, которого мы избрали велофюрером, скомандовал ставить лагерь. Свернув в лес, обнаружили полянку, на которой лежали укрытые толем дрова. Решив использовать кусок толя в качестве пола, чтобы не ставить палатку на мокрую траву, мы случайно разворошили осиное гнездо, за что получили по болезненному укусу: Илья — в палец, я — в мочку уха.

Наскоро установив одну палатку, мы, грязные и мокрые, ввалились в нее вчетвером. Все растерянно переглядывались: дневной пробег три километра, вещи намокли, по прогнозу нас ждут сплошные дожди.

Так началось наше лучшее путешествие.

Homo officium

Следующие дни оказались испытанием. Несмотря на предупреждения Ильи, сытые клерки сочли предстоящее за очередной проект, в котором можно перенести дедлайн. Но нет. Больше двух задержек угрожали всему маршруту, и хочешь не хочешь, надо было крутить. Вот мы и крутили. Вставали разбитые в семь утра, угрюмо ели кашу, молча собирали лагерь и водружали свою пятую точку на велосипед, мучительно нащупывая его хотя бы один безболезненный участок.

К третьему дню закадычные друзья перестали разговаривать. Потребность в общении уступила желанию просохнуть и выспаться. Дождь почти не прекращался, затяжные подъемы по тридцать километров вводили в оцепенение... Но самым неожиданным стало ощущение беспомощности «человека офисного» перед обычной природой. Мы ехали по безлюдным местам невероятной красоты — дядя Володя постарался на славу. Заночевать могли только в сырых палатках, съесть только то, что сами приготовим, посетовать тоже некому. Еще меньше хотелось жаловаться друг другу: никто не был готов признаться в том, как ему трудно.

Вне зоны гостюпа

Новое утро порадовало отсутствием дождя и чувством первой адаптации организма к происходящему. На лицах появились улыбки. Перед нами лежала равнина.

Через два часа мы остановились возле тоннеля. Запрещающих проезд велосипедов знаков не было, но ехать в полутьме семь километров бок о бок с надсадно сигналившими фурами желания не было. К тому же рядом виднелась объездная дорога.

Спустя полчаса по разбитому асфальту мы подкатили к густой зеленой стене. Дальше дороги не было: в чашу уходила только узкая тропа. Вдобавок снова заморосил дождь. Мы доверились спутниковым картам и пошли вперед.

Первую сотню метров велосипед пришлось больше волочить, чем катить: тропу завалило упавшими деревьями, а сама она вилляла между большими камнями, пока не привела нас к глубокому каменистому оврагу. Взявшись вдвоем за каждый велосипед, мы по очереди перебрались на другую сторону. Дождь усилился, хлябь забила в кроссовки.

Пройдя по щиколотку в воде под обрушенной автомобильной эстакадой с нависающими сверху плитами, мы опять уперлись в тоннель. В этот раз не было даже намека на обход. Сил еще хватало, и, надев налобные фонари, Илья с Димоном медленно

поехали в черный, пахнущий сыростью зев. К двадцатой минуте ожидания я и Женя уже напряженно переглядывались. Наконец, вернулся Илья, сообщил, что выход найден, и Димон остался там с фонарем. Второй фонарь был у Ильи, и мы почти вслепую двинулись следом, внимательно слушая команды: «Справа бетонная плита! Слева яма! Осторожно!».

За тоннелем стало ясно, что дорога давно заброшена. Тревогу усилил ржавый остов автомобиля, из капота которого росло дерево. Когда мы подошли к свежему завалу, стало совсем не до шуток: путь перекрыло камнепадом, сверху нависала скала. Огромные валуны лежали у ее основания, камни помельче — у обрыва. Было непонятно, идти дальше или возвращаться обратно через тоннель, буераки и овраг. Вновь решили вперед.

Каждый велосипед перетаскивали втроем: валуны были огромными. Конечно, мы могли перенести их через маленькие камни, но двигаться вдоль обрыва с тяжелым грузом по мокрой сыпуче было слишком рискованно. Настроение стремительно ухудшалось.

Пятьсот метров «асфальта» после завала привели нас ко входу в новый тоннель. Объезда не было и здесь. В глубине тоннеля виднелся тусклый свет. Мы осторожно поехали внутрь, но скоро остановились перед железными воротами. За ними проносились машины — там была дорога! Небольшая дверь в воротах оказалась заперта. Гудела вентиляция, вдоль стен, неприятно потрескивая, стояли электрические шкафы, на полу валялось разное оборудование.

Аккуратно открыть дверь не удалось. Судя по датчикам сигнализации, посторонних здесь не ждали. Где-то совсем рядом загрохотала тяжелая техника: тоннель явно строился. Оставаться было жутко, и мы молча покатали обратно.

Далее была еще одна разведка местности, в которую пешком (втиснувшись в узкий лаз между тоннелем и крутым обрывом) отправились я и Женя. За очередным тоннелем нас ждала калитка из рабицы с табличкой «Access Denied». За ней виднелась тропа, выходящая на оживленную трассу.

Последний рывок дался легко: прочертыхавшись и приобретя колорит диггеров после выхода из грязного заваленного тоннеля, мы расплели пассатижами рабицу, протащили велосипеды, а затем снова натянули сетку. В ту же минуту прекратился дождь. Четыре часа «зоны» были позади.

Греча!

Природа наградила нас, и следующие дни светило солнце. Жаркая погода, фьорды-великаны и привыкший к нагрузке организм — мы почти наверстали отставание! Не сбили настрой ни прокол колеса у меня, ни разрыв покрышки у Димона, вынудивший группу разделить на сутки. Все было по плечу, все было замечательно.

Семьдесят километров одиннадцатого дня пролетели без эмоций. Вечерело. Задремавшее солнышко застало нас на подъеме. Настроение было паршивым: сказывались накопившаяся усталость и бесконечная горка на исходе относительно скучного дня. Мечталось встать на ночлег, вдоволь поесть, выпить чай и уснуть. Но вокруг были лишь кривой лес да глубокий мох. Илья заглядывал в пролески, ждал нас, показывал возможное место под стоянку, но мне ничего не нравилось. Женя громко молчал, Димон матерился. Мы ехали дальше.

Спустя час нервы стали сдавать, но тут Илья высмотрел что-то похожее на полянку. Место снова показалось мне замшелым, но, немного попререкавшись, я уступил. Поставив лагерь, четыре мужика, не сговариваясь, повалились на землю: голодные, уставшие, злые. Я оперся о землю локтем, и он сразу намок: поляну устилал влажный мох.

— Сегодня будем спать в луже, но уже, конечно, никуда двигаться не стоит.

— Мох — лучшая перина! Просто не надо давить на него малой площадью опоры. — Глаза Ильи недобро сверкнули.

Начавшая было разгораться ссора сошла на нет. Приступили к готовке.

Я чувствовал себя отвратительно, даже есть расхотелось. Только бы вытянуть ноги.

— Парни, я просто чай выпью и отвалю спать.

— А греча? — Илья произнес это слово с каким-то ерническим нажимом.

— Какая греча?

— Ну, *греча*. Каша. — Акцент повторился.

— Какая еще каша? Мы гречку варим!

Илья проглотил крючок моего возмущения:

— А гречка — это не каша, по-твоему?

— Каша — это каша! Вот гречневая каша — это каша, а гречка с тушенкой — это гречка! — Мне казалось, что Илья глумится.

— Ты чего орешь как псих?

— Сам ты придурок! Когда тебе в детском саду давали гречку с тушенкой, звали при этом есть кашу? Каша — это каша, а гречка — это гречка!

Еще мгновение — и мы бы сцепились не на шутку.

— Парни — вы ох...? Хорош уже! — Огромный Димон тяжело посмотрел на нас и стал приподниматься. Мы с Ильей послали друг друга подальше и заткнулись.

Утром ситуация казалась абсурдной. Позже я узнал о таком явлении, как полярное бешенство: люди, лишённые привычного комфорта и находящиеся длительное время вместе, могут вдруг проявлять чрезвычайную агрессию по ничтожному поводу. Причем часто эта агрессия тем сильнее, чем ближе отношения.

Мы благополучно вернулись домой. Жена Димона удивилась похудевшему на девять килограммов мужу, дядя Володя сразу принялся за обработку наших фотографий... Сегодня поход вспоминается все реже, но в любом разгорающемся по пустяку споре кто-то обязательно успевает воскликнуть «Греча!».



Отражение Бога

Яна Винугуктова

Стэнли Спенсер ниже всех ростом, зато очки у него огромные, круглые. Руки прижаты к бокам, поля панамки опущены вниз — кажется, что человек готов взлететь. С виду — надоедливая муха, а говорит, что человек создан по образу Бога и он, Спенсер, «его внутренняя часть». Слева от Спенсера на фотографии — стройная женщина-колонна, выше его на голову. Полосы на платье как каннелюры, плечи отведены назад. Только свешенная до пояса грудь выдает в ней что-то развращенное.

Эти груди-лепешки появятся затем на картинах Спенсера: вот они кольшутся в стороны, одна больше другой, соски растекаются вареньем. Тело Патрисии станет воплощением мечты изголодавшегося по свободе художника: «Я всегда хотел и чувствовал в себе силу вести себя так, как не позволяют никакие нормы поведения». Он будет писать Патрисию, бесстыдно раздвинувшую ноги, отводя ей весь передний план холста. Кожа ее на разных картинах — то цвета поджаренного тоста, то с синюшными подтёками, как баранья нога рядом, то блестит густым и липким мёдом. И лишь одно в образе остается неизменным — тонкие чёрные брови. Будто в этих змеиных изгибах есть постоянство.

Впервые Патрисия Прис и Стэнли Спенсер встретились в 1929 году. Оба были несвободны. У него жена-художница и двое детей, у неё тоже «жена»-художница, правда, они вынуждены называть себя сёстрами. Окружающие поначалу верят, ведь Патрисия активно флиртует с мужчинами. Но за эту стадию отношения никогда не выходит.

На фотографии 1937 года, сделанной сразу после женитьбы Стэнли Спенсера на Патрисии Прис, рядом с новоиспеченной супружеской парой стоит Дороти Хепворт. Бесформенный

кардиган и прямая юбка скрывают тело, волосы уложены на один бок, взгляд исподлобья направлен в сторону только что состоявшегося мужа своей подруги. Дороти — талантливая художница. С Патрисией они жили в Париже, изучали искусство, чувствовали себя полноценными в среде лесбийских салонов. Но после смерти спонсора эмансипированным девушкам пришлось вернуться в родную Англию и обеспечивать себя самостоятельно, торгуя живописью. Дороти рисовала, подписывалась именем Патрисии и общение с покупателями возлагала на подругу. Эта игра в художницу-самозванку продолжалась до самой смерти Патрисии. Впрочем, и настоящей женой ее сложно было назвать.

Первая жена Спенсера, Хильда Карлайн, разделяла все ценности викторианской эпохи: была набожна, почтительная к мужу, нетребовательна, практически забросила живопись, дабы не обделять вниманием двоих детей. На погрудном портрете работы Спенсера она уже немолода: и тут и там морщинки, каштановые волосы легко спадают на плечи, а цвет лица — того же медового оттенка, как тело Патрисии Прис. Но у последней тонкие губы всегда поджаты. Хильде же достаточно лишь немного приподнять уголки рта, чтобы зритель ощутил прощение неизвестно за что. «Я чувствовал, что у нее такое же отношение к вещам, как и у меня. Я видел себя в этом необыкновенном человеке. Я видел жизнь с ней» (С. Спенсер). Он показал это и зрителю в серии работ «Сцены из семейной жизни». Человечки, будто вылепленные из пластилина, гладкие и обтекаемые — это Стэнли и Хильда, которые строят отношения в пространстве изображенной комнаты. Вот женщина нежно расстёгивает мужчине полосатый воротник, тот закрыл глаза в предвкушении. А здесь она выбирает платье для свидания. Подруга ей советует темно-бордовое, оттеняющее кожу. На картине об уже свершившемся союзе

мужчина и женщина утопают в огромном кресле, перебирая письма. Мягкий коричневатый колорит картин, кукольные лица с закрытыми глазами, причудливо вывернутые ручки и ножки, — идиллия семейной жизни, какую разыгрывает Бог.

«Всё, что я люблю — это Бог, — говорил Спенсер, — и любое различие, которое я вижу между одним и другим предметом — это всего лишь различие в том, как я созерцаю Бога: фронтально или со стороны». В случае с Хильдой и серией «Сцены из семейной жизни» Спенсер показывает взгляд со стороны. Обнаженные гиперреалистичные портреты растекшейся по холсту Патрисии — это, безусловно, взгляд фронтальный, самого Спенсера. На знаменитой работе из этого цикла он написал себя сидящим перед Патрисией на корточках. Жена демонстрирует своё тело, а Спенсер, склонив голову, обреченно смотрит на предмет своей маниакальной зависимости.

Сразу после знакомства с экстравагантной Патрисией Прис Спенсер стал склонять Хильду к тройственному союзу. Ему казалось, что так он сможет воплотить в жизнь свою картину «Любовь среди народов». Здесь всеобщее объятие и лобызание арабов, азиатов, чернокожих и европейцев. Хильда идее жить втроём воспротивилась, и Патрисия поставила ультиматум — без развода доступ к ее телу закрыт. Спустя неделю после расторжения брака и была сделана эта фотография 1937 года, где молодожены Спенсер и Прис стоят, не прикасаясь друг к другу. В медовый месяц Патрисия уехала вместе с Дороти, оставив мужа дома. «Я думаю, что мог бы жить счастливой жизнью в собственной спальне, если бы вокруг меня всегда были мои работы и женщина...», — писал Спенсер в дневнике. Бывшая жена из любви или из жалости продолжала иногда встречаться со Спенсером.

Через год после свадьбы, продолжая довольствоваться Дороти в качестве подруги и любовницы, Патрисия выгнала официального мужа из его дома и стала наблюдать издали за

тем, как он пытается удержаться на плаву. К этому времени Стэнли Спенсер был уже признанным художником в английской творческой среде. Довольствуясь маленькой комнаткой в Лондоне, он продолжал создавать картины, теперь в основном религиозные. И продолжал писать письма Хильде Карлайн. Даже после ее смерти он продолжал изливать свои мысли и чувства на бумагу, обращаясь к первой жене: «Мой союз с тобой — это мой союз с миром». На картине «Любовные письма», написанной в год смерти Хильды от рака, женщина достаёт из-за пазухи конверты, а мужчина, ворохом собирая исписанные листы, прижимает их к лицу и целует. «Самые большие мои потери — это проданные картины и Хильда», — делает живописец пометку в дневнике.

В 1958 году английский художник Стэнли Спенсер получил рыцарский титул. Жить этому тщедушному старику в огромных очках, вечно таскающему за собой коляску с рисовальными принадлежностями, оставался год. Бывшая жена уже восемь лет как покинула этот мир, а нынешняя, все ещё числившаяся миссис Патрисия Спенсер, требовала обращаться к ней «леди».

«Я описываю и открываю Бога в своих работах. <...> Все мои желания, чувства и мои композиции — это часть Его. Бог — это любовь, человек создан по образу Бога. В своей любви и в своих картинах я — внутренняя Его часть» (С. Спенсер). Несмотря на все многообразие сюжетов и чувств, наполнивших творчество Спенсера, именно голая плоть Патрисии, достойная лучшего прилавка у мясника, дала начало целому направлению английской живописи XX века. Тема неприукрашенного человеческого тела — с лишним весом, нарушением пропорций, но такого правдивого, явленного в этот неидеальный мир — была продолжена Фрэнсисом Бэконом и Люсьеном Фрейдом.

Иллюстрация: Стэнли Спенсер. Любовные письма



Разбуждение капитана

Анна Галимова

Ирвин Ялом, экзистенциальный психолог и популярный автор, в одной из своих книг, «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти», пишет про такое явление как «пробуждающее переживание». Он определяет это как экстраординарное и необратимое событие, в результате которого человек переходит из повседневного модуса в онтологический и благодаря этому становится открытым к значимым переменам.

«В течение десяти лет я активно работал с пациентами, которым грозила смерть от рака. Я обнаружил, что вместо того, чтобы впасть в парализующее отчаяние, многие из таких больных, напротив, резко менялись в лучшую сторону. Они перестраивали свою жизнь, меняя приоритеты. Эти люди почувствовали себя вправе НЕ делать того, чего им на самом деле не хотелось. Они начали глубже общаться с теми, кого любили, и по-настоящему ценить самые простые явления жизни», — пишет Ялом.

С человеком случается нечто выдающееся и неожиданное, например, тяжёлая болезнь, смерть близкого, потеря работы, трагедия в отношениях, после чего он решает кардинально поменять свой путь. В этот момент, по мнению Ялома, происходит «пробуждение» к жизни, которое становится возможным при столкновении со смертью, то есть с ощущением неизбежной конечности своего бытия.

Людам свойственно избегать мысли о своей смерти, иначе слишком много времени и сил будет потрачено на пребывание в постоянном страхе и ожидании грядущего. Но периодически так или иначе эти мысли настигают нас, и в этот момент интенсивность переживаний у нас всех будет разной. Страх смерти, как пишет автор, особенно силён у тех, кто живёт «не своей жизнью». На них такие

«пробуждающие переживания» способны оказать наибольший эффект.

Все мы слышали истории про людей, которые поменяли профессию, место жительства, решились создать семью или начали заниматься благотворительной деятельностью под влиянием того или иного значимого события, которое потрясло человека и заставило его пересмотреть свои приоритеты. Возможно, так было с одним или несколькими вашими знакомыми, возможно, с вами.

Со мной такого не случилось. То есть со мной происходили значимые события, которые могли бы попасть в категорию «пробуждающего переживания», например, тяжёлая болезнь мамы, смерть бабушки, развод, две эмиграции, потеря бизнеса, серьёзный диагноз, СВО, в конце концов. Но не было какого-то одного, которое привело бы меня к резкому развороту.

Можно предположить, что со мной этого не случилось, потому что я «живу *свою* жизнь», то есть настолько целостна и верно следую своему внутреннему компасу, что мне нет необходимости пересматривать свои приоритеты перед лицом приближающейся смерти. Или, может, я настолько сильно вытеснила мысль о смерти из своего сознания, что никакие события не в силах преодолеть мои психологические защиты и столкнуть меня с экзистенциальными вопросами? Нет и нет.

Дело в том, что вся моя взрослая жизнь — это череда микропробуждающих переживаний. И если в концепции Ялома одно «пробуждающее переживание» способно развернуть вектор движения человека на 90 или даже на 180 градусов, то мои микропробуждающие переживания

способствовали тому, что я поворачивала на один-два, иногда всего лишь на полградуса. Это не выглядит впечатляющим и может даже показаться недостойным обсуждения. Но в совокупности эти микродвижения дают результат, который оказывается очень устойчивым, потому что является внутренне согласованным, хоть и становится заметным только на протяжении некоторого времени.

Я расскажу об одном таком микропробуждающем переживании.

Тёплый август 2018 года, мы с сестрой путешествуем по побережью Франции от северной точки Нормандии до южной точки Бретани. Сегодня мы в М. Не самое раннее утро, мы прогуливаемся недалеко от набережной и останавливаемся напротив городского пляжа.

Мы смотрим на него сверху, со стены крепости, а он лежит перед нами: ровный, широкий, галечный, с нарядными пятнами пляжных полотенец, резвыми и звонкими детьми, за которыми присматривают их пожилые опрятные французские дедушки и бабушки. А за пляжем — ярко-синее море, блики на волнах и огромные белые чайки.

Я смотрю и не могу оторвать взгляд, не могу пошевелиться. Со стороны может показаться, что я впечатлена красотой и наслаждаюсь ею. Но внутри меня происходит что-то странное. «Пойдём дальше», — говорит сестра. В ответ я выдавливаю из себя почти шёпотом: «Иди, я потом тебя догоню». Я остаюсь одна и не схожу с места, не отвожу глаз от пляжа ещё примерно полчаса.

В течение этого времени несколько раз изнутри к горлу подкатывали рыдания, на глаза выступали слёзы, а лицо перекашивала какая-то жалкая гримаса. Если попытаться одним словом описать моё состояние в тот момент, то ближе всего подошло бы «отчаяние». Мне хотелось заорать что-то, разломать руками каменную стену, отделяющую меня от пляжа, затопать ногами так, чтобы от их ударов земля пошла трещинами.

Мне невыносимо хотелось попасть на этот пляж, стать частью этого счастливого,

беззаботного мира: яркого, звенящего, свежего, лёгкого. Но я не могла. То есть я могла бы спуститься по лестнице, пройти несколько десятков метров и оказаться посреди этого праздника, но это не сделало бы меня его частью, он бы не впустил меня, точнее — я не могла впустить его в себя.

Я стояла, смотрела и чувствовала себя почему-то солдатом, вернувшимся с войны и неожиданно столкнувшимся с мирной и спокойной жизнью. Мне казалось, что у меня на ногах тяжёлые армейские сапоги, потёртые и потоптавшие пропитанную пеплом и кровью землю. Что в руках у меня винтовка. И что вся я — уставшая, израненная, голодная и озверевшая.

И что вот в этих военных сапогах я никак не могу ступить на этот мирный, радостный, нарядный и чистенький пляж. Не могу оказаться рядом с этими счастливыми, беззаботными и ухоженными детьми и не менее беззаботными и ухоженными стариками. Но как же мне хотелось пойти туда, снять свои тяжёлые сапоги и встать голыми стопами на округлую, прогретую августовским солнцем гальку!

Сесть, положить рядом с собой винтовку, чтобы никогда больше не брать её в руки, и позволить красоте жизни проникнуть внутрь сквозь военный камуфляж, огрубевшую и покрытую шрамами кожу, сквозь напряженные и измученные тремором мышцы куда-то туда, где всё ещё есть мягкое и тёплое сердце. Точно ведь есть, иначе с чего бы по щечкам сейчас бежали слёзы?

Я так и не спустилась на пляж, я всё смотрела и смотрела, пытаюсь прочувствовать и запомнить каждую деталь. И этого весёлого пацана у груди камней справа, и его немного пузатого, но в хорошей форме, загорелого деда в широких шортах. И как ложится свет, и как пенятся волны, и ветер, и звук...

А через два дня мы с сестрой уехали с побережья каждая в своём направлении: она — в Москву, я — в любимый Амстердам, где меня ждала нелюбимая уже на тот момент работа.

Посмотрим, подходит ли этот случай под определение «пробуждающее переживание».

Было ли это событие экстраординарным? Нет, я просто смотрела на пляж. Повлекло ли оно за собой кардинальные изменения в жизни? Нет. Я вернулась из поездки и продолжила работать на опустылевшей работе. Привело ли оно к переоценке приоритетов? Думаю, что да. Что-то, несомненно, сдвинулось внутри меня.

Внутренний конфликт, который в фоновом режиме присутствовал, но дремал, пробудился и проявился под влиянием многих факторов: отпуск, красота момента, новости с работы, общение с сестрой и другие. Он вышел на поверхность, заявил о себе, но не привёл в тот момент к кардинальным решениям. Полной переоценки приоритетов в тот раз не случилось, но старый образ того, что для меня лучше, дал заметную трещину.

Потребовалось ещё полтора года и ещё с десяток «микропробуждающих переживаний», чтобы я написала заявление об увольнении. Перечислю несколько из них: смерть коллеги по работе, поездка в Гималаи, день рождения подруги, посещение хосписа, обучение медитации, ответ мамы на вопрос «чем запомнился тебе прошедший год».

Если взять даже эти семь событий и представить, что каждое из них условно отклоняло вектор моего движения от изначально намеченного курса хотя бы на один градус, то получится, что я повернула на семь градусов. Это может показаться мало, но эффект сильно зависит от времени или от длины предстоящего пути. Например, если корабль, вышедший из Амстердама в Нью-Йорк, отклонится от своего курса на несколько градусов, то к концу пути он откажется в Майами.

Другим фактором, помимо времени, который влияет на траекторию и конечный пункт прибытия «корабля жизни», является устойчивость нового курса. При разовом экстраординарном событии человек резко переосмысляет свою жизнь, меняет её кардинально, рушит старое, пытается построить новое. Но через какое-то время может случиться разворот к тому, что было раньше, потому что внешние изменения не были поддержаны внутренними. Нужно суметь противостоять силе гравитации наших старых представлений о себе и мире.

В отличие от разового «пробуждающего переживания», череда «микропробуждающих переживаний» способна привести нас к более устойчивым переменам, потому что мы успеваем адаптироваться к новому, чуть изменившемуся пониманию. И уже на это укрепившееся изменение может прийти другое, которое тоже будет воспринято, усвоено и даст прочную основу для следующего.

Ещё одно преимущество «микропробуждающих переживаний» в том, что мы можем спровоцировать их сами. Мы не можем контролировать появление тех «пробуждающих переживаний», о которых пишет Ялом в своей книге, — они приходят неожиданно, и в том числе неожиданность создаёт тот экзистенциальный кризис, который побуждает нас к изменениям. Однако если мы чувствуем, что застряли, и хотим перемен, мы можем сами создать для себя несколько «микропробуждающих переживаний» и воспользоваться их силой, чтобы помочь себе развернуть свой корабль и поплыть к желанным берегам.



Сергей Викторович Мейен — начало пути большого ученого

Мещеряков

«Мы привыкаем к картинам прошлого, восстановленным поколениями ученых, и часто забываем удивиться тому, что прошлое это действительно было, что действительно на месте городов были моря, что сушу заселяли удивительные живые существа, что — и это главное — история Земли была куда сложнее, чем мы привыкли считать»

С.В. Мейен «Из истории растительных династий»

В начале сентября 1958 года утром двадцатидвухлетний Сергей Мейен шел на работу. Он уже завернул на узкий и уютный, плотно застроенный сохранившимися московскими особнячками, Пыжевский переулок, расположенный недалеко от Полянки. Там, в скучном здании розоватого цвета, располагался Геологический институт, куда Сергея зачислили этим летом на должность старшего лаборанта в лабораторию палеофлористики.

Его ждал долгий, но интересный рабочий день. Заведующая лабораторией Мария Федоровна Нейбург уже была на месте. В кабинете размерами примерно 6 на 5 метров было тихо и сумрачно, окна смотрели на юг, и осеннее солнце не успело добраться до них. Его правую стену занимали высокие шкафы из темного дерева, где хранились коллекции палеоботанических образцов. Между шкафами и дверью стояла стопка коробок с образцами — материал для текущей работы. Перед окнами располагались несколько рабочих столов со стульями, на паре из них стояли микроскопы, на каждом — настольная лампа. Левая стена тоже не пустовала, там стояли книжные шкафы со стеклянными дверцами, заставленные томами по геологии, стратиграфии, минералогии, палеонтологии.

Слева от двери стоял старый дубовый письменный стол, приспособленный для хранения бытовых мелочей. Там же лежала стопками периодика, в основном выпуски «Советской геологии» и журналы на английском, французском и немецких языках. Над столом висела геологическая карта СССР. Сергей и Мария Федоровна кратко поприветствовали друг друга, после чего он сразу приступил к работе над очередной коробкой с образцами. Впереди были часы за разбором бесконечных коллекций, прерываемые только на короткий перекус. Так начиналась карьера одного из ведущих советских и мировых палеоботаников.

Сергей Мейен родился в Москве 17 декабря 1935 года. Отец — Виктор Александрович Мейен — был ихтиологом. Арестованный осенью 1941 года по ложному доносу, через год он умер в заключении. Трагическая судьба отца сильно повлияла на жизнь Сергея и семьи. Мать Сергея Викторовича, Софья Михайловна Мейен (Голицина), сначала училась на биологическом факультете МГУ, откуда ее исключили из-за дворянского происхождения. Она нашла работу в редакции «Докладов АН СССР». После ареста мужа Софья Михайловна осталась одна с тремя детьми (шестилетним Сергеем и двумя его сестрами 7 и 10 лет), а также с большой свекровью.

Увлечение палеонтологией у Сергея Викторовича проявилось в десятилетнем возрасте. Ему в руки случайно попались окаменелости: он заинтересовался, стал собирать личную коллекцию из подмосковных местонахождений. Посещал Коломенское, которое тогда не было частью Москвы, и выковыривал из черных юрских глин перламутровые раковины аммонитов. Идея о далеких эпохах и сопутствующих им изменениях окружающего мира захватила

будущего ученого. Вот что он писал: «Больше всего поражало то, что когда-то в Подмоскovie было настоящее море и что плавали в нем неведомые моллюски с изящными спиральными раковинами, что лет им много миллионов». Увлечение было поддержано тётёй Марией Михайловной Веселовской — сестрой матери и петрографом по профессии. Она познакомила племянника со своей подругой А. И. Осиповой — литологом из Палеонтологического института АН СССР. Так в 1946 году Сергей Викторович оказался в ПИНЕ. Стал часто заходить туда — читал книги, смотрел коллекции и помогал ученым. Он шлифовал кораллы, препарировал брахиопод и даже участвовал в обработке окаменелостей знаменитых монгольских позвоночных. Весной 1948 года в Палеонтологическом музее на Ленинском проспекте, 16 стал работать Палеонтологический кружок, которым руководил тогда еще аспирант, а в будущем профессор и доктор наук, Б. А. Трофимов. В числе первых учеников кружка был Сергей Мейен.

Будучи сыном репрессированного, Сергей не был уверен, что ему позволят получить образование на геологическом факультете МГУ, который был наиболее близок его интересам. В качестве запасного варианта была выбрана музыкальная карьера — помимо обучения в общеобразовательной школе, он учился в музыкальной по классу виолончели. В 1953 году Сергей Викторович закончил обе школы, причем общеобразовательную с серебряной медалью, а музыкальную с отличием. И далее без экзаменов, пройдя собеседование и получив рекомендации видных палеонтологов того времени (Р. Ф. Геккера и К. К. Флерова), поступил на первый курс геологического факультета МГУ.

Поступление на геологический факультет не делает автоматически его выпускника палеонтологом и тем более палеоботаником — можно стать геологом или специалистом по стратиграфии. Вот что пишет о своем призвании сам Мейен (в книге «Следы трав индейских»): «Я стал палеоботаником случайно. В школьном палеонтологическом кружке мне довелось делать доклад об ископаемых растениях. После первого курса университета я работал в Поволжье и Прикамье в палеоэкологическом отряде, руководимом Р. Ф. Геккером. Нам попадались отпечатки пермских растений, и Роман Федорович заметил, что сейчас ими почти не занимаются. Потом в одном из звенигордских оврагов я натолкнулся на

подушку четвертичного известкового туфа, переполненной остатками растений, которым посвятил курсовую работу. А затем руководившая моей работой Т. А. Якубовская показала мне бесхозную коллекцию пермских растений, собранных на Печоре еще в 20-х годах и определенных М. Д. Залесским. Это показалось мне действительно интересным. Я решил заняться палеозойскими растениями и вскоре отправился на консультацию к М. Ф. Нейбургу, в те годы самому авторитетному специалисту в этой области». С тех пор Сергей Викторович посвятил себя этой науке.

Знакомство с Марией Федоровной Нейбург стало ключевым моментом в научном пути Мейена. В 1956 году он, еще студентом, пришел в Геологический институт АН СССР (ГИН) и стал помогать Нейбургу в ее проектах, в том числе выезжая в экспедиции во время летних практик. Спустя два года, когда он с отличием окончил МГУ, был зачислен на должность старшего лаборанта в лабораторию палеофлористики этого института, которой руководила Мария Федоровна. Однажды он сам станет руководителем этой лаборатории.

Характер у М. Ф. Нейбурга был нелегкий. Она считала, что ее ученик должен был добиваться всего своим трудом, причем многие вещи постигались путем проб и ошибок. Она же решала, когда ученик получает право начинать работать самостоятельно. До начала такой работы Сергею Мейену было поставлено условие: научиться читать палеоботаническую литературу на трех иностранных языках — английском, французском и немецком. Первые годы в лаборатории прошли в режиме работы ассистента. Сергей Викторович выполнял первичную обработку всех палеоботанических коллекций: определял флору, составлял описи, фотографировал образцы, делал препараты. Хотя эта работа и не носила творческого, исследовательского характера, она обогатила Сергея Викторовича опытом организации палеоботанической лаборатории, привила ему культуру обращения с палеоботаническими коллекциями. Кроме того, в ходе этой инвентаризационной работы через его руки прошли десятки тысяч отпечатков ископаемых растений из различных районов СССР, что в итоге дало ему палеоботаническую «насмотренность», которую трудно получить иным способом. В 1962 году М. Ф. Нейбург трагически погибла, Мейен остался без главного наставника и начал полностью самостоятельную научную деятельность.

Далее у Сергея Викторовича были уже свои ученики (к воспитанию которых он подходил гораздо либеральнее Нейбург), научные экспедиции, участие в международных конференциях. Сергей Мейен написал более 300 статей и монографий, его два срока избирали вице-президентом Международной организации палеоботаники. Сергей Викторович состоялся как крупный международно-признанный палеоботаник.

Еще один вклад в науку Сергея Викторовича стоит упомянуть отдельно, он будет близок уже обычному читателю, а не специалисту в палеоботанике. Помимо многочисленных научных работ Мейен успел написать две научно-популярные книги: в 1971 году — «Из истории растительных династий» и в 1981 году — «Следы трав индейских». Именно после их прочтения я узнал об этом человеке. Книги — редкий подарок для широкого читателя, потому что их можно назвать единственными в СССР, посвященными палеоботанике. Более того, сейчас, спустя несколько десятков лет после

СССР, подобных книг так и не появилось. В обеих книгах Сергей Мейен не только рассказывает о своей любимой науке, но и пытается обосновать ее полезность — как палеоботаника помогает определять возраст пород, предсказывать для геологов потенциальные месторождения полезных ископаемых, двигать смежные науки вперед. А есть еще один аспект, который Сергей Викторович открывает в своих научно-популярных книгах и делает это непрямо. Речь идет о свойстве палеоботаники приоткрыть для нас дверь в древние и давно исчезнувшие миры, разбудить наше воображение, дать почувствовать жажду к новому, еще не открытому. Так что Сергей Мейен сделал не только большой вклад в палеоботанику, но и в популяризацию науки как таковой, и своими книгами, уверен, побудил к службе Познанию много молодых умов.

Сергей Викторович умер от рака 30 марта 1987 г. в своей квартире, работая практически до последних дней жизни.



Такая Вечная молодость

Антон Карпун

К 2035 году популяризатор науки и футуролог Мичио Каку прогнозировал появление в свободной продаже различных «запчастей» для человеческого организма. Половина отведенного срока уже прошла (прогноз был сделан в 2011 году). Промежуточные успехи ученых, позволяющие рассчитывать на обновление человеческого организма как автомобиля в сервисе, связаны со свиньями.

В 2022 году индекс широкого рынка акций США (S&P 500) потерял 19%, показав самый большой убыток со времен пузыря доткомов. За этот же год цена одной акции компании United Therapeutics увеличилась на 41,42%. Ее дочернее подразделение Revivacor занимается ксенотрансплантацией. На сайте Revivacor указано, что компания использует генномодифицированные органы свиней для преодоления дефицита человеческих органов, предназначенных для трансплантации.

Дефицит человеческих органов — огромная проблема во всем мире. В США более 400 тысяч человек живут с пересаженными функционирующими органами, однако около 40% пациентов, ожидающих трансплантации, умирают, так ее и не дождавшись. Люди вынуждены стоять в очереди за нужным органом годами. В среднем в Москве срок ожидания трансплантации почки составляет два-три года.

Изначально специалисты Revivacor занимались проблемой аллергии, не позволяющей некоторым людям есть свиное мясо. Виновником оказался сахар альфа-гал (alpha-gal или галактоза-альфа-1,3-галактоза), который содержится практически в любом красном мясе, например, говядине, свинине и баранине. Кстати, заполучить подобную аллергию, особенно неприятную для любителей шашлыков, можно после укуса

некоторых видов клещей, например, таких как *Amblyomma americanum*¹ (в России не водятся, но встречались). Этот же сахар является препятствием к пересадке органов животных, так как антитела к нему — иммуноглобулины IgG — есть у большинства людей. Специалисты Revivacor вырастили генномодифицированных свиней GalSafe, у которых не было сахара альфа-гал. В декабре 2020 года управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило продажу и употребление в пищу свинины GalSafe². Разработчик продукта указал, что изначально намерен продавать мясо онлайн, а не в супермаркетах.

Уже в 2021 году ученые осуществили эксперимент над человеком. В медицинском центре Университета Нью-Йорка впервые была проведена успешная операция по пересадке почки свиньи, выращенной Revivacor, пациентке с нарушением функции почек, у которой ранее диагностировали смерть мозга. При жизни женщина хотела пожертвовать свои органы, но не подходила для традиционного донорства, поэтому семья согласилась провести эксперимент, прежде чем ее отключили от системы жизнеобеспечения. После операции почка работала нормально: показатель креатинина вернулся к норме, а производство мочи было сопоставимо с его объемами у здорового человека. Медики наблюдали за реципиентом 54 часа после операции, за это время не было замечено никаких признаков отторжения.

Наконец, в 2022 году врачам Университета Мэриленда совместно со специалистами Revivacor удалось пересадить сердце свиньи с отредактированным геномом 57-летнему Дэвиду Беннетту, который умирал от сердечной недостаточности и тяжелой аритмии. По медицинским показаниям ему нельзя было использовать искусственный клапан или ждать человеческого органа, и медики получили экстренное разрешение FDA на проведение операции.

До обострения своей болезни Беннет жил в дуплексе неподалеку от своей сестры, работал разнорабочим, болел за «Питтсбург Стилерс» и проводил время со своими пятью внуками и собакой Лаки³. Когда к нему подошел врач, Бартли Гриффит, проводивший операцию, и рассказал про свиное сердце, Дэвид уже несколько недель находился в больнице, прикованный к постели.

«Таких трансплантаций никогда не было, но мы думаем, что сможем ее сделать», — сказал пациенту Гриффит.

«И что, я буду хрюкать?» — рассказывал позже врач о реакции Беннета.

«У меня два варианта: сделать эту пересадку или умереть, — говорил Дэвид Беннет за день до операции. *— Я хочу жить и знаю, что такая операция — как выстрел в темноте, но это мой последний шанс».* Он также сказал, что ему надоело лежать на больничной койке и ничего хуже смерти с ним не случится.

У свињи, подготовленной для операции, были отключены сразу 10 генов. Ученые добавили гены, снижающие активность иммунитета против чужеродных тканей, и отключили ген, потенциально отвечающий за чрезмерное увеличение сердечной ткани. За несколько часов до операции сердце поместили в специальный бокс, разработанный шведской компанией XVIVO, в котором орган находился в насыщенном кислородом растворе при температуре 8°C⁴.

Информация об операции вызвала возмущение в обществе: журналисты раскопали, что в молодости Беннет якобы стал причиной серьезной травмы человека, из-за которой тот смог передвигаться только в инвалидной коляске. Будущий обладатель пересаженного сердца, согласно этим сведениям, увидел на коленях этого человека свою жену и напал на него с ножом. Некоторые люди писали соцсетях, что Беннет не достоин нового сердца даже от свињи. После операции сердце заработало и, по оценкам лечащего хирурга, функционировало «как рок-звезда». Это было первое свиное сердце в истории, пересаженное человеку

(хотя отдельные свиные сердечные клапаны используются в качестве трансплантатов несколько десятилетий). Дэвид Беннет хорошо себя чувствовал в течение почти 40 дней, но, к сожалению, скончался. Как утверждает лечащий хирург, причина смерти заключалась не в отторжении тканей, а в свином цитомегаловирусе из семейства герпесвирусов, который вызывает у свињи пневмонию и ринит. Через 20 дней после операции в анализах крови Беннета был обнаружен этот вирус, но из-за небольшой концентрации врачи сочли результат ошибочным (к том же свињи из лаборатории считались по умолчанию стерильными), а к следующему взятию анализа вирус бурно размножился. Несмотря на применение противовирусных средств, используемых при лечении ВИЧ, и введение антител из донорской крови, самочувствие пациента ухудшалось, что в дальнейшем привело к сердечной недостаточности, цитокиновому шторму и смерти.

Пересадка кожи и нервов — еще одно растущее направление, связанное с «отредактированными» свињями⁵. Такие животные начали применяться в качестве доноров кожи для пострадавших от ожогов. Обычно врачи полагаются на человеческую кожу умерших людей в качестве временного трансплантата, пока пациенту не сделают пересадку собственной кожи. Но человеческая кожа не всегда доступна. Компания Alexis Bio (ранее XenoTherapeutics) проверила кожу свињи на шести людях с ожогами третьей степени. Искусственная кожа свињи, по-видимому, на начальном этапе работает не хуже человеческой, во всяком случае, врачам удалось обеспечить заживление ран в течение 9 дней с помощью такого решения.

Еще один стартап, Axonova Medical, разрабатывают трансплантаты нервов из тех же пород свињи. Директор по исследованиям Axonova Критика Катияр и ее коллеги используют нейроны эмбрионов свињи Revivico и выращивают из них нервы длиной до 5 сантиметров. Но пока их пересаживают только крысам или макакам для лечения повреждений периферических нервов.

Переселение

А если люди будут не только ремонтировать ветшающее тело, но и научатся загружать сознание в компьютер? В 2016 году основатель все той же биотехнологической компании United Therapeutics Мартин Ротблатт утверждал, что переселение сознания человека в тело робота — вопрос скорого будущего.

«В 60-х годах пересадка органов казалась столь же нереальной. Люди называли это сумасшествием, — рассказывал Ротблатт. — А сейчас трансплантируется 400 органов ежедневно».

Гипотетическая технология сканирования и картирования головного мозга, позволяющая перенести сознание человека, называется Mind uploading («загрузка сознания»). Существует даже наука, занимающаяся исследованием проблемы переселения сознания — сеттлеретика (от англ. «settler» — переселенец).

В 2004 году Генри Маркрам, ведущий исследователь Blue Brain Project, заявил, что проверить такой фокус будет очень сложно. *«В мозгу каждая молекула представляет собой мощный компьютер, и нам нужно будет смоделировать структуру и функции триллионов и триллионов молекул, а также все правила, управляющие их взаимодействием. Вам буквально понадобятся компьютеры, которые в триллионы раз больше и быстрее, чем все, что существует сегодня», —* полагал Генри Маркрам.

Пять лет спустя, после успешного моделирования части мозга крысы, Маркрам был гораздо смелее и оптимистичнее. В 2009 году в качестве директора проекта Blue Brain Project он заявил, что «детализированный и функциональный искусственный человеческий мозг может быть построен в течение следующих 10 лет». Менее чем через два года проект был признан плохо управляемым, а его требования преувеличенными, и Маркрама попросили уйти в отставку.

Были и другие предсказания. Один из наиболее проницательных футурологов, технический директор Google Рэй Курцвейл (Ray Kurzweil), в 2013 году объявил, что люди смогут оцифровывать свой мозг к 2045 году.

До сих пор большинство прогнозов Курцвейла сбывались. В тот момент, когда Интернет объединял всего несколько систем, находящихся в одном здании, Курцвейл предсказал, что эта паутина станет всемирной. Курцвейл также предвосхитил появление экзоскелетов и победу компьютера над чемпионом мира по шахматам.

В 2021 году компания Google и ученые Гарвардской лаборатории Лихтмана перенесли один кубический миллиметр мозга в «цифру». Получилось 225 миллионов 2D-снимков. После сканирования изображения передали поисковому гиганту для создания 3D-картинки. При помощи системы облачных вычислений и ИИ-алгоритма Google объединила все фрагменты в 3D-модель, ее объем составил 1,4 петабайта, то есть около 700 компьютерных дисков по 2 Тбайт.

В 2023 году заканчивается десятилетний проект The Human Brain Project (с англ. — «Проект Человеческий Мозг»), который в значительной степени финансируется Европейским Союзом и предусматривает создание совместной информационной инфраструктуры. В проекте участвуют сотни ученых из 26 стран мира и 135 партнерских института. НБР ставит целью создать первую в мире модель мозга человека и грызунов. С бюджетом 1,6 млрд. долларов США проект НБР является беспрецедентным по своим масштабам и крупнейшим в истории изучения человеческого мозга. На первый взгляд, каких-либо впечатляющих результатов, похожих на сюжеты фантастических романов, ученые, работающие над НБР, пока не достигли, однако они все же создали цифровую исследовательскую инфраструктуру EBRAINS для решения одной из старейших загадок нейробиологии: дихотомии структуры и функций мозга.

Кеннет Д. Миллер, профессор неврологии в Колумбийском университете и содиректор Центра теоретической неврологии, в 2015 году выразил сомнение в практичности загрузки сознания. Его главный аргумент заключается в том, что реконструкция нейронов и их связей сама по себе является сложной задачей, но далеко не достаточной. Работа мозга зависит от динамики обмена электрическими и биохимическими сигналами между нейронами, поэтому захвата их в одном «замороженном» состоянии может оказаться недостаточно. Кроме того, природа этих сигналов может потребовать моделирования

вплоть до молекулярного уровня и выше. По этой причине, не отвергая идею в принципе, Миллер полагает, что сложность «абсолютного» дублирования индивидуального разума непреодолима в ближайшие сотни лет.

Сегодня возможность загрузки своего мозга в машину пока рассматривается лишь в теории, но современные ученые уже изучают этическую сторону вопроса, сформулированную в виде «парадокса Тесея». Тесей, как мы знаем, выбрался из лабиринта, убил Минотавра и вернулся из своего путешествия на корабле, который греки сохраняли долгое время, меняя доску за доской.

Останемся ли мы людьми, если заменим все свои органы, как доски на этом корабле, а мозг загрузим в компьютер?

1. <https://www.science.org/content/article/ticked-about-growing-allergy-meat>[↑]
2. <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-its-kind-intentional-genomic-alteration-line-domestic-pigs-both-human-food>[↑]
3. <https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2022/01/13/pig-heart-transplant-stabbing-david-bennett/>[↑]
4. https://www.xvivoperfusion.com/mfn_news/xvivos-preservation-technology-used-in-the-worlds-first-heart-xenotransplantation-pig-to-human/[↑]
5. <https://www.science.org/content/article/skin-nerve-transplants-genetically-modified-pigs-could-help-humans-organs-are-way>[↑]



Чёрная курица

Наталья Латышева

— Наталья Владимировна, вы в детстве в «Нинтендо» играли? — Тимофей хочет быть дружелюбным.

— Нет, когда я была маленькой, «Нинтендо» не было.

— А во что вы играли?

Пятиклашка наказан: он сегодня без телефона. Отец отобрал за двойку по литературе. Чувствую свою вину: это я поставила «два» за непрочитанную «Чёрную курицу».

— Я строила самолёт из табуретки и гладильной доски.

Круглые голубые глаза становятся ещё больше.

— Как это?

— Как строила? У меня было две модели: табуретка на гладильной доске и наоборот — доска сверху.

В моем детстве гладильная доска не была элегантной конструкцией, это был кусок необрезной доски, обшитый байковым одеялом, пожелтевшим от утюга. Доска стояла в туалете, тащить её до большой комнаты тяжело. Нести я не могла — тащила. Строить самолёт надо было тихо, чтобы бабушка не услышала: эту игру она не поощряла.

Самолёт я строила, потому что хотела спасти лётчицу Гризодубову.

В большой комнате висели две картины, вышитые гладью: «Ледокол “Седов” во льдах»

и «Валентина Гризодубова спасается от бурого медведя».

На носу черного парохода вышиты пять кривых букв СЕДОВ, вокруг судна, затертого льдами, толпились люди. В правом верхнем углу серые и голубые нитки смешивались с жёлтыми и красными — это поднималось солнце. Наступление полярного дня обещало освобождение из ледяного плена. Если символизм вышивки с кораблём был более-менее понятен, то картина с лётчицей Гризодубовой впечатляла именно своей загадочностью.

Никакого самолёта на картине не было. Человек в чёрном кожаном пальто, лётном шлеме и одном сапоге размашисто шагал по хвойному лесу. Правая нога, выставленная вперёд, была бежевой и кривой. То ли это чулок, то ли нога голая, то ли мастерице не удалось передать иглой и ниткой задуманное, то ли у неё был избыток бежевых ниток — я не знала. На переднем плане картины сидели спиной к зрителю зайцы и лисы; волчья пасть выглядывала из темной хвои слева, а справа, куда был устремлён шаг бежевой ноги, стоял на задних лапах огромный бурый медведь. В лапах зверя бежевоногого человека ждала неминуемая гибель. Самолёт был нужен для его спасения.

Из сюжета картины нельзя было понять, что это Валентина Гризодубова спасается от бурого медведя. И спасётся ли, если бежит ему навстречу? О спасении лётчицы мне рассказывал отец: самолёт Гризодубовой упал, и она в одиночку пробиралась через дремучие леса.

Эти картины — семейная реликвия. Работы маминой тётки. Тети Розы. Розалии Исааковны Гоголь — вдовы полкового комиссара линкора «Марат» Семена Ивановича Чернышенко. Тетя Роза жила в Ленинграде, мы ездили к ней каждое лето. Я видела революционную «Аврору», монумент Петра Великого, Исаакиевский собор, острый

шпиль Адмиралтейства много раз. Но отец мне обещал, что мы отправимся искать пансион на Первой линии Васильевского острова, в котором учился Алёша, умненький, миленький мальчик из «Чёрной курицы». «... Дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний»: но вдруг сохранился вход в подземелье, и Подземные жители вернулись, или мне повезёт, и я найду волшебное конопляное семечко?

Я не рассказываю Тимофею о спасении лётчицы Гризодубовой. Я ограничиваюсь конструкцией самолёта. На лице мальчика разочарование, пальцы перебирают ручки в пенале. Без телефона он мучается, не знает, чем заняться. Прежде чем оказаться у нас, Тимофей сменил четыре школы, две из них частные, не с лучшей репутацией.

— Там только хорошие оценки ставили и никаких знаний, — вспоминает о бывших школах мальчик. — Папа говорит, что вы сильный учитель.

Конечно, сильный. Я могу противостоять отцу Тимофея. Крепкого телосложения, всегда со свежим загаром и открытой улыбкой, успешный бизнесмен, состоятельный человек, желает сыну добра. Для Тимофея всё самое лучшее: смартфон, отдых на островах в любое время года, одежда, машина с водителем, персональный тренер. Отец Тимофея не приходит к учителям — сразу идёт к директору комплекса. Кто смел поставить его мальчику двойку? Он же сам делал с сыном уроки: нашел в интернете пересказ пересказа какой-то дурацкой курицы. Тимофей слушал аудио и пересказывал. И папе понравилось, а учительнице не понравилось. «Два» поставила. Отец Тимофея учит сына не тратить время зря, а также жизнестойкости и упорству.

Мой отец научил меня двум вещам: читать и кататься. Читать всё и кататься на всём. Сначала на велосипеде, на самокате, на коньках, на лыжах, на роликах. Потом я научилась водить машину, что в нашей семье тоже называлось «кататься». Отец всегда говорил о войне, что в войну техника гибла, потому что люди не умели ей управлять: если

бы каждый мог сесть за руль грузовика, то боевые единицы были бы спасены, а они, в свою очередь, спасли жизнь людям.

Честно говоря, читать и кататься — это всё, что пригодилось мне в жизни. Я одинаково люблю эти два занятия, и оба доставляют мне удовольствие.

Но в детстве за этим «кататься» стояла какая-то смутная тревога, а смогу ли я спасти горящую Катюшу или тонущую полуторку. А самой героической картиной мне представлялось спасение из болота горящего Т-34.

Я хочу спасти Тимофея: мягкий, добросердечный мальчик прячется в компьютерных играх от решительного бескомпромиссного отца, от требований учителей, от назойливых одноклассников, ищет покоя, хочет, чтобы его не трогали.

— Наталья Владимировна, хотите конфетку?

У Тимофея всегда есть конфеты. Шоколадные.

— Нет, спасибо.

Я не хочу конфетку, я хочу целую плитку шоколада. Открыть обёртку и откусить сразу несколько кусков, набить полный рот, чтобы с трудом разжевать, чтобы шоколадным слюням было тесно, чтобы вытирать рот рукавом, чтобы шоколадные крошки размазались по лицу и рукаву платья. Очень хочу и никогда так не сделаю. У меня аллергия на каротин — оранжевый пигмент.

Диатез — каждый съеденный кусочек шоколада вылезал на коже мокнущей сыпью. Между пальцами на руках — сочащиеся розовые язвы. Берешь карандаш, сжимаешь в руке, а потом не можешь разделить склеенные пальцы. Струпья с болью отрывались от кожи,

розовые пятна начинали кровить, руки бинтовали.

Щиколотки опоясаны чешущимися мокрыми язвами: колготки прилипали насмерть, их отмачивали в тазу. Лодыжки тоже бинтовали. С забинтованными руками и ногами не построить самолёта, не спасти лётчицу Гризодубову. Оставалось только читать.

— Тимофей, почему ты «Черную курицу» не прочитал?

— Ну, я слушал. Папа велел. Он, это, не учился, а всё знал. У него семечко было. Там неинтересно.

Как неинтересно? В какой момент стало неинтересно читать?

С забинтованными кистями и щиколотками я садилась на диван и читала. Читала всё подряд, что можно было достать из книжного шкафа, всё было интересно. Коварство Джона Сильвера, бесстрашие Джима Хокинса, педантизм доктора Ливси. «Остров сокровищ» я не выпускал из рук, украсила передний и задний форзацы фигурами пиратов, изображением «Испаньолы»: это было нетрудно — шхуну я срисовала с тёти-Розиного «Седова».

— Наташа, ты опять? — Отец разгневан. — Сколько можно говорить, не рисуй в книгах!

— Да всыпать ей как следует! — Мать всегда на стороне отца. — Это ты ей позволяешь, разрешаешь брать любые книги! Это же собрание сочинений! Надо плотно закрыть стёкла! Она сама не откроет!

Я сжималась на диване. В этот момент мне больше всего хотелось оказаться в пещере Бена Ганна, чтобы меня никто не нашёл. Или чтобы родители скорее ушли на работу. Я не боялась остаться одна, не чувствовала своё

одиночество: моим утешением было чтение книг. Как у скромного и учтивого Алёши.

Я наказана: стёкла книжного шкафа плотно задвинуты. На столе оставлена «Чёрная курица».

— Тимофей, давай вместе читаем. Ты начнешь, а когда устанешь, я тебе помогу.

— «Лет сорок тому назад в С.-Петербурге, на Васильевском острове, в Первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона...» Наталья Владимировна, что такое пансион?

— Прочитай сноску: «Пансион — закрытое учебное заведение для мальчиков». Двести лет назад не все дети могли ходить в школу. Родители привезли Алёшу издалека и оставили в пансионе.

Тимофей замирает. Смотрит с испугом и недоверием.

— Мой папа не отдаст меня в пансион? Он говорит, что отдаст в закрытую школу за двойки.

— Нет, что ты! Папа тебя любит!

Мальчик вздыхает, без особого энтузиазма продолжает читать, останавливаясь на «барочных досках», «вакациях», «имперiale», «серебряных шандалах».

Пока Тимофей неспешно, а иногда по слогам спасает министра Чернушку от ножа Тринушки, пробирается по подземному ходу через старушек и рыцарей, участвует в королевской охоте на крыс, я думаю: чему же почти двести лет учит нас «Чёрная курица»?

О чём эта сказка? О скромности и благодарности, о лени и гордыне, о совести и необходимости трудиться, об одиночестве или

о несделанной «домашке», которая стала теперь национальной идеей? «Домашку» делают все: бабушки и дедушки, мамы и папы, тети и дяди — все, только не дети. О пользе чтения или мечте о волшебном конопляном зёрнышке? Или о наказании за несделанные уроки?

Почему отец оставил мне «Чёрную курицу» вместо «Острова сокровищ»? В наказание? Я спасаю Тимофея или наказываю наказанного «Чёрной курицей»? Или всё это — сон заболевшего ребёнка, оставленного родителями в столице за условленную плату на несколько лет вперёд?

— «Возьми это семечко. Пока оно у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали». Вот это да! — Тимофей восхищён. — Мне бы такое семечко! Папа бы никогда не ругался!

Моё семечко со мной. Оно проросло и приносит плоды.

Я проживаю сотни жизней. Реальных и выдуманных. Примеряю на себя широкие салоны или тесноватые душегрейки, трясусь в кибитке или задыхаюсь в корсете, слушаю украинскую ночь в бесконечной степи, мне открывается «бездна, звезд полна». И так каждый год, каждый учебный год.

— Да неинтересно это всё, — скажет коллега-скептик, — каждый год одно и то же: «мадам Бовари тоже Вы». Да, мадам Бовари — я, и Кабаниха тоже я, и Пульхерия Александровна Раскольникова. И Настасья Петровна Коробочка. Надеюсь, что не «дубиноголовая», а крепкая и запасливая хозяйка, у которой и блины, и пироги отменные, у которой хочется остаться в гостях.

За сорок пять минут мы добираемся до потери волшебного семечка. Звонок. 17:15 — закончились бюджетные дополнительные занятия. Папа Тимофея настаивает на посещении сыном всех бюджетных занятий.

— Тимофей, давай собираться домой! Дочитаешь дома.

На улице темно. В свете жёлтых фонарей змеятся снежинки. Морозно. За воротами школы мощный внедорожник. За Тимофеем.

— До свидания, Наталья Владимировна! Я курицу дочитаю, обязательно дочитаю! — на бегу кричит мальчик; задняя дверь машины открывается, и комфорт салона поглощает малыша.

Смотрю вслед автомобилю. Опускаю руку в карман: холодно, я без перчаток. Пальцы нащупывают несколько семян, нет, не конопляных, семян подсолнечника. Откуда они? Вспоминаю: в воскресенье я кормила птиц в парке. Наверное, сунула руку с семечками в карман.

Достаю семечки и раскрываю ладонь. Смотрю на чёрные пыльные семена, завалившиеся, забытые. В тусклом полумраке зимнего вечера они кажутся ненужными. Редкие снежинки, опускаясь на пепельную кожуру семечек, оставляют влажное чернеющее пятно. Кажется, что к семенам возвращается привычный живой блеск. Я их не выброшу. Прячу руку в карман. Конечно, они не прорастут, но возможно, спасут чью-то жизнь, хотя бы птичью.

А Тимофей обязательно дочитает «Чёрную курицу». Я ему верю.

Иллюстрация: рисунок Марины Рихтеровой к повести Антония Погорельского «Чёрная курица».



Чудо-гетти эпохи перестройки

Екатерина Петровская

Зима 1989 года. Душный зал дома ученых на Пречистенке под завязку забит школьниками. Стоит легкий гул, то тут, то там раздаются смешки. Идет Московский конкурс чтецов. Декламируют в основном классиков. Дети сидят уже третий час и устали. Педагогам все труднее держать под контролем молодую энергию, рвущуюся наружу. На сцену выходит очередной чтец, девочка лет восьми. Малыши все выступили вначале. Зал недоуменно разглядывает маленькую фигурку. Всех учили выходить строго по центру и смотреть поверх задних рядов, ни на кого конкретно. Девочка же подходит к самому краю сцены, улыбается и с интересом рассматривает зал. Ведущая объявляет: «А сейчас наша гостья из Киева прочтет свои стихи». Старшеклассники на задних рядах хихикают. Девочка начинает читать.

*В сердце рана не обезболена.
Украина моя обездолена.
Первомайские демонстрации —
годовщины радиации.
Не дорогой идем — оврагами.
Не в столице живем — в концлагере.
Между Пасхой и майскими праздником
умирают мои одноклассники.
Шаловливые, непослушные,
только любящим мамам нужные.
Плачут горестно стены больничные.
Разве эти трагедии — личные?
... Хиросимской надежды голуби
не взлетят в обреченном городе.*

Больше никто не смеется, не шуршит пакетами с бутербродами, не разговаривает. Детская фигурка на сцене кажется такой уязвимой и незащищенной. А стихи — такими простыми и искренними. Все слушают про Жизель, про сестру, которая выходит замуж, про папу, которого нет рядом. И почему-то немного стыдно за зазубренные стихи, отрепетированные позы и вымученные паузы.

Девочку зовут Вика Ивченко. Она родилась в Киеве в 1980. В пять лет она уже наизусть цитировала стихи Шевченко, Пушкина, Ахматову, Есенина, Пастернака. В семь лет Вика уже известная в Украине поэтесса. В девять лет у Вики выходит первый сборник стихов «В декабре и после» со стихами на русском и украинском. Тираж фантастический — 110 тысяч. Годом позже выходит второй сборник «А я расту, как сквозь асфальт травинка».

Вика — одна из плеяды талантливых детей конца 80-х-начала 90-х. Советских вундеркиндов. Дети стремительно покоряют вершины в разных областях науки и искусства.

В 6 лет IQ Паши Коноплева выше, чем у Рональда Рейгана. Уже в начальной школе он в уме рассчитывает логарифмы, в десять лет его научную работу по астрономии опубликуют в журнале Академии наук. В пятнадцать Паша поступает в МГУ.

Полина Осетинская играть на фортепиано начинает в возрасте пяти лет. В шесть лет впервые выступает на сцене. В восемь дает первый сольный концерт в Москве и исполняет в Вильнюсе Концерт ре-минор И. С. Баха с Камерным оркестром Литвы. В одиннадцать играет в БЗК Концерт № 23 ля-мажор Моцарта с Камерным оркестром под управлением Георгия Ветвицкого.

В девятилетнем возрасте у ялтинской школьницы Ники Турбиной выходит первый сборник её стихов «Черновик», к этому времени она уже известный поэт. В десять лет она принимает участие в международном поэтическом фестивале «Поэты и Земля» в Венеции. Там ей присуждают приз «Золотой лев»

Женя Кисин в десять лет впервые выступает с оркестром, исполнив 20-й концерт Моцарта. Год спустя дает свой первый сольный концерт. В 1984 году (в двенадцать лет) играет с оркестром в Большом зале Консерватории. В 1988 году Женя выступает с Гербертом фон Караяном, исполнив Первый концерт Чайковского.

Виктория Ветрова первые простенькие стихи складывает уже в пять лет. А с восьми она печатается как поэт в разных журналах и газетах: «Пионерская правда», «Пионерская зорька», «Пионер», «Костер», «Комсомольская правда», «Мы»... В тринадцать лет у нее выходит первая книга стихов. Школу окончила экстерном, в пятнадцать лет.

Гата Камский, шахматист из Новокузнецка, в два года осваивает чтение, а в четыре играет на фортепиано. В семь начинает профессионально заниматься шахматами. К двенадцати годам он чемпион СССР. В шестнадцать лет — гроссмейстер.

Савелий Косенко в три года решает сложные примеры с пятизначными цифрами, а в семь лет экстерном поступает в 6 класс и пишет свои первые компьютерные программы.

Вундеркинды, конечно, существовали во все эпохи, но почему же бум на детей-вундеркиндов приходится именно на конец 80-х-начало 90-х?

О раннем развитии детей человечество задумалось еще в начале 20 века, когда появилась методика Монтессори в Италии и вальдорфская методика в Германии. Тогда впервые заговорили о свободном воспитании и гуманистической педагогике.

В СССР ставки делались в первую очередь на доступность образования, патриотическое и трудовое воспитание. Но в 60-е годы выходит в свет книга «Правы ли мы?», где Б. П. Никитин и Л. А. Никитина описывают свои принципы воспитания. В ней они впервые в СССР озвучивают идею «раннего развития». И хотя книга подверглась критике, о семье, в которой дети бегают босиком по снегу и в три года решают математические задачи, заговорили. Методика набирает популярность.

В 80-е годы с началом перестройки кризис настигает не только экономику, но и систему образования. Коммунистические идеалы рушатся. И вместе с ними исчезает миф о равных способностях детей. В 1986 году в подмосковном Переделкино на даче писателя Анатолия Рыбакова собираются учителя-новаторы Шалва Амонашвили, Виктор Шаталов, Софья Лысенкова, Борис и Елена Никитины. Они делятся своим опытом, идеями и говорят о том, как изменить школу. Так зарождается новая педагогика сотрудничества. И хотя педагоги-новаторы и не были признаны системой, теперь появляются школы для одаренных детей. О талантливых детях начинают говорить, к ним проявляют интерес.

В 1983 году выходит программа «До 16 и старше», где речь идет о детях и подростках не в привычном ключе. Взрослые люди интересуются их мнением, обращают внимание на их проблемы и, конечно, говорят о необычайных талантах.

В 1987 году выходят программы «Взгляд» и «До и после полуночи», где частыми гостями становятся юные вундеркинды.

У родителей, вынужденных молчать и оставаться посредственными и одинаковыми, появилась возможность заявить миру о себе через своих детей. И еще остается очень сильное стремление советской педагогики к поддержанию мифа, что наши дети самые умные, и на международных математических олимпиадах, на спортивных соревнованиях, на исполнительских конкурсах советские дети должны были занимать первые места, на это работала целая система жесткого отбора.

«Мне кажется, восхищение вундеркиндом лежит в плоскости не достоинств, но недостатков человеческой природы. Ведь так же глазели на корриду, бои гладиаторов и публичную казнь». — Из книги Полины Осетинской «Прощай, грусть».

Проходит время, маленькие и симпатичные дети превращаются в подростков. Их таланты уже не так впечатляют, ими перестают интересоваться журналисты. Ажиотаж падает. Страна как гигантский поезд несется дальше по рельсам истории. И не каждому, как поется в песне, «в

лучшее верится» — для некоторых из детей лучшее остается позади.

Не все вундеркинды 80-х смогли сепарироваться от своих родителей и пережить испытание славой и публичностью: кто-то сумел начать взрослую жизнь, а кто-то так и остался вечным чудо-ребенком. Ранняя одаренность не гарантирует счастливую взрослую жизнь.

Паша Коноплев в 29 умер — по одной из версий, это случилось в психиатрической клинике.

Ника Турбина покончила жизнь самоубийством в 28 лет.

Когда Полине Осетинской исполнилось 13, стало известно: выдающихся результатов она добилась под давлением отца, который воспитывал ее в жестокости и унижениях. Она сбежала из дома и рассказала свою историю в передаче «600 секунд». Но Полина смогла преодолеть кризис и сейчас продолжает выступать. О своем детстве она написала книгу «Прощай, грусть».

Успешным музыкантом стал и Женя Кисин.

Вика Ветрова уехала учиться в Швейцарию, а потом вернулась и работала на телевидении.

Гата Камский эмигрировал с отцом в США, но после проигрыша, где его отец подрался с секундантами, у него случилась депрессия. Правда, потом, после долгого перерыва, он вернулся к шахматам и сыграл несколько успешных матчей.

Савелий Косенко сам рассказал о себе в интервью: «Владею и управляю несколькими интернет-маркетинг-компаниями. Я достаточно обеспеченный человек. Живу в Монреале. То, что было в России, — это одна часть жизни, сейчас я живу другой, взрослой и осмысленной жизнью».

Виктория Ивченко живет в Америке, о ней мало что известно.

В одном из своих детских интервью на вопрос, что такое счастье, Вика Ивченко ответила:

— Это когда не думают, что хотели бы быть счастливыми, а просто живут.



Аромат губового мха

Дарья Фомина

Я смотрю на мутные осколки в туманной лужице молока. Они мне что-то напоминают. Хлопок дверью — должно быть, ветер. Заскулила Лада. Поджала уши, прильнула меховым боком к моей ноге, и стало мокро на ладони от ее влажного теплого языка. Сегодня второе сентября. В этот день два года назад не стало дедушки: остановилось сердце.

Вспомнилось, как давным-давно, когда мне было четыре, я сидела на стуле посреди комнаты и слушала пластинку «Конек-горбунок», болтала ногами и зачем-то откусывала понемногу от пресной картонной коробки из-под пластинки, тщательно разжевывала и сплевывала на пол. В комнату вернулся дедушка — со стаканом, в котором чуть колыхалось молоко. Дедушка засмотрелся на разжеванные кусочки на полу, споткнулся о брошенную посреди комнаты игрушку, и стакан выпал из его руки. На деревянном полу растеклось белое облако, похожее на единорога... Такое же, как сейчас.

Теперь мне тридцать, и часто снятся сны, в которых я прихожу в пустую квартиру. Дверь не заперта, а значит, меня ждут. На плите только что сваренный грибной суп, на столе две горбушки, натертые чесноком, посыпанные крупной солью. Рядом под полотенцем еще теплый чайник, в стакане янтарный чай. Я часто разговариваю с дедушкой — мне хочется верить, что он просто живет в другом измерении, где нет телефона и интернета, куда доходят только мысли.

«Дедуль, на даче в твоей комнате осталось все так, как было — выбросить вещи не поднялась рука. На столе твои очки, газета с разгаданным кроссвордом, блокнот, мелко исписанный наточенным простым карандашом». На полке книги, а в чемодане старые журналы «Наука и жизнь» и «Знак вопроса». Потихоньку играет радио «Джаз». Дедушка часто повторял, что человек жив,

пока кто-то помнит о нем. Написать о человеке повесть — значит сделать его бессмертным. Прошлое законсервировано, как огурцы в трехлитровой банке, которые дедушка, засаливая, ловко утрамбовывал вместе с чесноком и зонтиком укропа. Я часто возвращаюсь в воспоминаниях в детство: вижу голову деда, склоненную над шахматной доской — глубокая морщина на лбу и блики на толстых очках; помню его на даче, с лопатой — наблюдаю, как вздуваются на его руках мышцы. Дедушка говорил, что дачу он построил для меня: «Пусть это будет твое родовое гнездо».

Черно-белая, как старинная фотография, зима. Руки мерзнут даже в шерстяных варежках. Мы с дедушкой пришли в дачный сарай за елкой. Там пахнет сыростью, плесенью, а от дедушки веет теплом дыхания. Я подсвечиваю темноту электрическим фонариком, а дедушка встает на стремянку и осторожно вытаскивает старую, пожелтевшую от времени картонную коробку, туго перевязанную крест-накрест веревкой. Стряхивает с нее пыль, чихает. И вот уже коробка стоит на санках, мы собираемся везти ее домой.

Выйдя из сарая на улицу, ослепшая, щурюсь, привыкаю заново к солнечному свету. Долго с наслаждением вдыхаю пахнущий арбузом воздух. Снимаю жаркую варежку и ловлю снежных балеринок. Они падают на ладонь и тут же превращаются в капли.

«Дедуль, теперь, когда тебя больше нет, я многое поняла. Сначала мне была нужна просто твоя теплота, любовь, твое молчаливое принятие. А теперь... С каким наслаждением я бы сейчас поговорила с тобой о чем-нибудь умном и важном, обсудила бы рассказы Довлатова, стихи Евтушенко, композиции Чета Бэйкера... Я только теперь поняла, что с тобой можно было говорить про музыку, книги... А

еще я попросила бы научить меня выращивать яблони и сливы. И мы растопили бы на даче печь, как тогда, помнишь?»

Выходной, восьмое марта. Мы пришли пешком на дачу — дедушка и я. Мне семь лет, и я впервые участвую в растапливании печи. Печь огромная, русская, сложенная из кирпича. Дедушка сам построил ее, так же, как и баню, как и летний деревянный домик, а еще кухню с терраской. В марте баня нужна для того, чтобы согреться и высушить промокшие штаны, носки и ботинки, в которых мы еще час назад шагали по лесным сугробам. Я стою возле поленицы. Березовые дрова, заготовленные еще летом, пахнут осенним лесом, сушеными грибами. Я беру дрова и по неопытности засовываю их в отверстие для золы. Дедушка смеется и машет руками:

— Ну что ты делаешь, а?

Он вынимает дрова и закладывает их в топку.

— Теперь понимаешь, что ты сделала не так? — спрашивает дедушка, ловко поднося зажигалку к кусочку старой газеты «Богородские вести».

Я молчу, медленно провожу пальцем по шершавому полену, смотрю на огонь. Газета горит в печи ярким пламенем, вот уже взялись и сухие дрова. Из печки уютно пахнет теплом и дымом.

— Это все равно, что засовывать мандарины не в рот, а себе в попу, — популярно объясняет дед и улыбается кончиками глаз так, как умеет улыбаться только он. Обнимает меня, целует, и его усы щекочут мне щеку. Я успокаиваюсь, чувствую себя под защитой, утыкаюсь носом в дедушкин свитер и вдыхаю аромат дубового мха.

После смерти бабушки дед сильно сдал, подолгу сидел на скамейке и смотрел в одну точку. Потом он внезапно приободрился, стал необычайно активен, затеял ремонт в квартире. Покончив с ремонтом, принялся сажать на даче яблони, сливы, свеклу и морковь. Как-то я зашла к нему в квартиру — забрать отремонтированную трекинговую палку, сломанную в одном из походов. Дед

встретил меня на пороге — сгорбленный, покрытый морщинами, как шершавой корой. Бледно-серые выцветшие глаза с еще теплящимися угольками зрачков смотрели, как мне казалось, жалобно, с болью.

«Дедуль, помнишь, в тот день ты рассказывал о книге святителя Луки “Дух, душа и тело”? Да, я знала, что тебе важно поделиться со мной прочитанным. И я была единственным, с кем ты мог поговорить. Но мне не хотелось говорить о книгах, мне было не до того — я мечтала поскорее сбежать в поход, к ровесникам, шутить ниже пояса, пить глинтвейн и обниматься с Антоном в темноте у костра. Сейчас мне стыдно... А тогда я, не дослушав, просто забрала из твоих рук отремонтированную трекинговую палку и не оглядываясь убежала, перепрыгивая через две ступеньки. Прости меня...»

Вот так, по-английски, я ушла из дедушкиной жизни на несколько лет. По утрам были смерзшиеся ботинки возле палатки, будто намазанные сметаной вершины гор, морены, каменные реки, гречка с сублемсом на завтрак и сникерс, один на двоих, на обед. Были песни под гитару у газовой горелки по вечерам, крепкий чай с чабрецом, собранным по дороге, жилистые руки Антона. А по ночам не давал уснуть жар от соединенных спальников. Такой жизнью я упивалась бы и дальше, но однажды все изменилось.

Хорошо помню тот день в Северной Осети: блестящий на солнце ледник, подрагивающие от усталости ноги и слабость во всем теле после долгого ходового дня. С каждым новым шагом рюкзак все сильнее тянет назад. Теряю равновесие — и срываюсь. Обжигающая боль, вид собственной крови на содранной коже. Тщетные попытки воткнуть ледоруб в непокорную глыбу льда и животный ужас — неужели я умру? Не умерла. Мне повезло — я успела забраться не так высоко и пролетела всего метров восемь. Я попыталась встать, оперевшись на крупный камень, но от боли выступили слезы. Вскоре спустились друзья. Антон ощупал мою ногу. Скорее всего, перелом. О продолжении похода не могло быть и речи. Ребята связали носилки из веревок и пенек, посадили меня на них и спустили в населенку. Антон был вежлив, ни разу меня не упрекнул. Но он избегал смотреть мне в глаза, и я чувствовала: злитесь, что я сорвала ему поход.

Пока срасталась переломанная нога, у меня было время подумать и пересмотреть многое в жизни. Ночами я не могла уснуть. Теперь, когда опасность была позади, я впервые всерьез задумалась о смерти. Становилось жутко при мысли, что так же будет за зимой приходить весна, и лишь меня никогда не будет. Чтобы не сойти с ума, я читала до утра книги святителя Луки. Меня успокаивали слова о том, что смерти нет. Страх приходил все реже.

Кроме мучительных панических атак, мне не давало покоя кое-что еще — Антон не поднимал трубку и на эсмэски не отвечал. Перезвонил всего один раз, из Таганая, куда он почти сразу отправился в очередной поход. Разговор получился короткий — говорить нам было особенно не о чем. А потом он выложил на своей странице ВКонтакте фотографию в обнимку с незнакомой мне девушкой — у нее были необыкновенно блестящие глаза, похожие на только что вылупившиеся из кожуры каштаны.

«...И тогда я пошла за утешением к тебе — всегда любившему меня безусловно, просто так. Помнишь, дедуль? Я стояла на пороге дачного дома, почти убитая — с поникшими плечами, и, должно быть, у меня был очень жалкий вид. Ты взглянул на меня и всё понял. Твои усы горько дрогнули, а рука мягко легла мне на плечо. Ты налил чай в мою детскую кружку с грибком и пододвинул ко мне банку вареной сгущенки — когда-то это лакомство успокаивало меня лучше всего. Ты ни о чем не спрашивал, и потому, наверное, мне стало чуть легче».

В отличие от квартиры, до потолка заставленной русской и зарубежной классикой и скучными техническими справочниками, в которой даже пахло как в библиотеке — пылью и типографской краской, на даче я чувствовала себя рядом с бабушкой комфортно, как в детстве — под защитой всемогущего и всеильного взрослого. Дед был здесь настоящий хозяин, и его уверенность и спокойствие передавались мне.

Последняя наша встреча с бабушкой была в августе. Он уже давно не жил на даче, предпочитая прохладу первого этажа квартиры. Солнце нагрело кожаное сиденье, и оно обжигало сквозь шорты, пока я мчалась на велосипеде к подъезду. Звонила и стучала в дверь, дед долго не открывал. А я так спешила — привезла ему с дачи огромные розовые помидоры «бычьё сердце». Он их очень любил. Наконец щелкнула щеколда, и неторопливо открылась дверь.

«...Осунувшийся, бледнее обычного, ты еле стоял, даже не пригласил меня зайти в комнату. Я заметила, что на твоей щеке появилось бурое пятно — такие бывают у глубоких стариков. Я знала, что тебя мучают сильнейшие аритмии, что болезнь душит тебя ночами, не дает спать. Я молча положила помидоры на табуретку в коридоре, но всё не уходила. Медлила. Чего-то ждала. Но выражение твоего лица, усталое от бессонных ночей, не менялось. Ты скрестил руки на груди и все поглядывал на дверь. Я тогда обиделась — мне казалось, ты хотел, чтобы я поскорее ушла. Потом только поняла: из-за физической боли тебе было не до меня. А может, ты не желал, чтобы я видела тебя беспомощным, слабым? Знаешь, дедуль... А мне так хотелось рассказать тебе про лето, про урожай белого налива, про чаек над прудом — про торжество жизни над смертью. Но я не рассказала...»

Садовые деревья, посаженные бабушкой на даче, в этом году усыпаны крупными плодами. Читаю у открытого окна и слышу, как вязко шлепнулась, стрекотнув сквозь листву, слива. Ночь свернулась калачиком и уснула в чашке с недопитым кофе. Лада дремлет у моих ног, положив голову на лапу.

«Ничто не исчезает, а только видоизменяется», — пишет святитель Лука. Дедушкино дыхание разлито теперь повсюду: в вечернем прохладном воздухе, в этой тягучей смеси запахов смородиновых листьев и августовской календулы. Оно живет в листьях и плодах сливы, которую бабушка посадил. Закрываю потяжелевшую книгу святителя Луки и чувствую, как комната наполняется знакомым с детства ароматом дубового мха.



Близкий-чужой человек

Елизавета Губина

Стою на лестничной площадке с шоколадным тортом, в который воткнула две свечки с цифрами «3» и «1». Через пять минут родится мой близкий человек, нужно будет нажать на дверной звонок и поздравить его. Пламя подрагивает, а я не уверена в происходящем вместе с ним. Хочется оставить торт на пороге и убежать, чтобы это мучило меня еще полгода точно. Делаю над собой усилие: мне нельзя развалиться, увидев знакомое лицо с трехдневной щетиной и эти губы, к которым у меня больше нет доступа. Понимаю, что не готова за завтраком, на работе и вечером с друзьями в сотый раз произносить его имя. Нужно просто сделать это в последний раз.

Этот первый разговор, его осторожное «привет». Мы встретились в приложении для поиска секса без обязательств. Воспользоваться друг другом и не морочить себе голову ни чувствами, ни привязанностями. Я так не умела. Всегда цеплялась за людей и удивлялась, когда они предавали. Мол, как же так, ты же хороший? Приняла решение воспитать себя и сыграть роль той, кто тоже может переспать и забыть. Раз, два, десять — так легко. Мило беседуешь с мальчиком, получаешь свою дозу удовольствия и целуешь в щеку на прощание. А сама в такси кидаешь его в черный список. Дело сделано, хэдшот. Безжизненно улыбаешься и ставишь галочку в голове: снова получилось.

— У тебя такой красивый голос, — говорит он. Неловкие вопросы, подбор слов, выбор маски — и вы начинаете узнавать друг друга. «Да, я был женат, у меня дочь. Да, я старше тебя, но не чувствую разницы в наших умах. Я заеду за тобой завтра после работы, позволишь? Хочется продолжить разговаривать, ты такая...» Мысленно говоришь себе: Лиза, будь спокойной, не теряй голову. И уверяешь себя, что ни в коем случае!

Уже натренировала сердце, больше не промахнусь.

Он действительно приезжает к восьми утра, открывает дверь автомобиля и приглашает внутрь. Садится рядом, смотрит с любопытством. Оба улыбаетесь, вам странно, но приятно. Я даже не могу вспомнить, о чем мы говорили, просто не было страха и неуверенности — было доверие. Минутами позже мы уже сидели в кафе и потихоньку снимали с себя маски. «Да, я немного соврал, мы еще не развелись. Но уже два месяца не живем вместе. Двенадцать лет я любил ее, но не принял третьих лиц в постели, не согласился на отношения втроем. А потом она мне изменила. У нас дочь, кем она вырастет?» Заметила, как хочется придушить его бывшую жену и подарить ему всю любовь, что я так старательно прятала внутри.

В первые минуты я была уверена, что это была игра — сесть к мужчине в машину, наблюдать за его действиями и знать, что приведешь его к себе в постель. Мне было легко говорить о том, как я не стала папиной любимой дочерью, приправляя этот рассказ тревожными шутками. Просто вывалить истории одноразовых встреч с сайта, потому что это напускное, это не ты, это твоя виртуальная версия. Там ты главная обольстительница, а здесь режешь сырники пластмассовым ножом и стесняешься положить кусочек в рот, потому что вы слишком близко, и он смотрит. Вот ты настоящая.

Спустя тридцать минут я уже ощущала свою ладонь в его руках, а подсознание назойливо шептало: «Он все равно уйдет, мы ничего не теряем, сколько таких было». Но он остался. В тот же вечер приехал и приготовил ужин. Овощи, рис, красная рыба. Глинтвейн на белом вине. Я все это время крутилась вокруг него, пытаюсь помочь и подавая специи, но он

справлялся сам и ловко находил любой нужный предмет. Беру фотоаппарат и включаю запись.

— Альберт, ты гармонично смотришься на моей кухне, — говорю на камеру и ловлю его улыбку.

— Хочу тебя вкусно накормить, — слышу в ответ. Осматриваю этого человека сквозь объектив, невольно радуюсь и не могу понять, почему сердце наращивало защиту, если существуют такие мужчины. Откладываю съемку и медленно подхожу вплотную. Единым порывом прислоняюсь к спине и просовываю руки под свитер, обнимая его грудь. Он горячий, сильный, живой. Свой, мой и ничей. Я испугалась, стала уязвимой и зависимой — в миг. В тот вечер этот мужчина показал мне другую близость, в которой есть интимный взгляд и внимательность к твоей родинке на подбородке. В этом было больше дрожи и удовольствия, чем в одноразовых встречах. Я не старалась убежать и полностью доверилась: казалось, что в мире нет двух других людей счастливее нас. Он весь вечер держал мое тело в своих руках.

Он присвоил меня всю — поняла я, когда с восторгом звонила маме и рассказывала о тридцатилетнем мужчине, который вот-вот разведется и будет со мной. Для нее все это звучало как бессмыслица, из которой срочно нужно вытаскивать дочь, но, мам, он же кормит меня, целует на прощание и укрывает одеялом ночью. Все будет хорошо, я в надежных руках, мы уже планируем будущее. А сестра была рада: ну наконец-то достойный кандидат! Мамины предостережения казались излишними и обманчивыми. Мам, что ты знаешь о мужчинах, если с выбором своего так ошиблась?

Спустя три дня я достала холст и акриловые краски. Захотелось нарисовать свои чувства. Это был нежно-фиолетовый, светло-желтый и мягкий красный — таких цветов была любовь. На картине написала цитату из «Маленького принца»: «Глаза слепы. Искать нужно сердцем». Альберт сказал, что не привык принимать. Умеет только давать. Я ответила, что пора учиться. Эта картина осталась у него дома, а я каждый раз прикасалась к ней, как к частичке себя.

— Что, если я не искал, но нашел? — спросил он, обнимая меня сзади.

Просыпаясь каждый день вместе, я чувствовала, что всегда ждала его, знала, как он выглядит и как пахнет. Однажды утром он сказал мне, что я та, с кем он всегда хотел построить свою жизнь. Мы много и жадно целовались, он шептал, что хочет показать мне его любимую Флоренцию, отвезти к китам на Камчатке и попробовать вместе все виды вин. На шестой день подарил одну малиновую розу на длинном стебле. Ее я засушила, а он сказал: «Только не ставь в рамку. Так сделала моя жена с розой предложения». Я спрятала бутон в салфетку и убрала в ящик.

Спустя десять дней после нашего знакомства я оставила ему открытку, в которой написала, что готова произнести слова, которые никому не говорила, кроме мамы и сестры. Переживала о том, что рано, но не получалось совладать с собой. Прочитав, он позвал меня и посадил себе на колени, как свою дочь. И серьезно сказал, что невозможно так быстро полюбить. Как невозможно? У меня же получилось!

А на следующий день приехал в обед, опустился на пол передо мной, обнял за ноги и сказал дважды: «Я люблю тебя».

Я люблю тебя.

Две недели я чувствовала, что могу справиться со всем, потому что он был рядом. Когда возмущалась происходящим на работе, когда обожглась кипятком на кухне, когда в истерике сидела на полу в гостиной, получив сообщение от сестры о том, что папа вновь побил маму. Он крепко обнимал меня, то и дело вытирая слезы. Ведь он был отцом. Не тем, кто по пьяни решает расправиться с женщинами в доме, а протрезвев, приносит гребаные хризантемы с мольбами о том, чтобы его не выгоняли на улицу. Нет, Альберт обожал свою дочь. Мы так странно сошлись: я, которая не знала отцовской любви и отчаянно в ней нуждалась, и он, которого лишили дочери. Я искусно заменила недостающую деталь в его жизни, а он — в моей.

Мы любили друг друга ровно две недели.

— Лиза, у меня словно отключили все чувства. Сегодня я ехал после суда к тебе, чуть не сбил девушку с коляской и ничего не ощутил. Я должен был хотя бы испугаться, но внутри ничего нет, — сказал он в тот день, когда официально развелся. — Понимаешь, она мне снится каждую ночь, и я вдруг понял, что меня выбросили после двенадцати лет семейной жизни как ненужную вещь, которая надоела. Дочь будет расти с другим мужчиной рядом. Я пропущу все самые важные моменты ее взросления и всегда буду сторонним наблюдателем, будто между нами поставили стекло. Сколько бы я ни стучал по нему кулаками, оно не дает трещину.

Почему-то слушала его и не могла принять, что во снах он видит свою бывшую жену. Я спросила единственное, что мне казалось важным:

— Ты ко мне что-то чувствуешь?

— Мне с тобой хорошо.

Вспоминаю день, когда впервые увидела, как папа ударил маму по лицу. В маминих глазах тогда отразилось удивление и разочарование: мол, как же так? Ты же мой муж? Со второго раза я научилась перетягивать отцовское внимание на себя и принимать удары. Считала про себя: раз — мама в безопасности. Два — сестра спит. Три — уже не так больно. В моменты, когда отцовская пряжка ремня прилетала по рукам, животу и ногам, я думала о том, как хочется в нарядном платье танцевать с папой на утреннике. Бьют — значит любят, говорил отец. И я уяснила: любовь всегда жертвенна, ее обязательно нужно заслужить, вымолить, выпросить, за нее нужно бороться и держаться.

Поэтому, когда Альберт перестал чувствовать, я стала девочкой, которая знает, что делать. Девочкой, которая ищет средства, чтобы вернуть его прежнего: давай сходим на концерт, хочешь любимую шоколадку, пошли бить тарелки, я принесла холст с красками, включила наш подкаст, надела красивое белье. «Посмотри на меня, полюби меня заново, не сравнивай меня с женой, я вся тебе, мы справимся, через все пройдем, улыбнись мне, у нас получится...»

Альберт поступил со мной так же, как отец. Я снова хотела, чтобы в нарядном платье, но он оставил меня одну и предал слова о любви. В мой день рождения он позвонил и предложил разойтись.

— Так будет лучше для тебя, ты потом это обязательно поймешь. Я не могу дать тебе той любви, которую ты заслуживаешь. Поверь, твое сердце не разбито, и я прекрасно знаю, что ты чувствуешь. Но наши отношения сильно отличаются от отношений с моей женой, — говорил он мне, а я видела в этих слова лишь несчастные оправдания простому факту: я ему больше не нужна.

Он просил о времени, уверял в моих силах пережить эту нелепость судьбы, называя меня самой прекрасной и умной. Говорил, что он пережил то же самое, и у меня обязательно получится. И людьми он не играет, и чувств уже нет, и не знает, появятся ли они. Но он рядом, конечно. И будет рядом. И вообще, между нами только близости нет, но в остальном — все как всегда.

Меня отобрали у самой себя и оставили сидеть в душевой кабине, пуская то холодную, то горячую воду. Давай же, приди в себя, нам не больно! Я боролась между желанием возненавидеть все, что связано с ним, и приехать к нему домой, чтобы лечь на входной коврик. Его извиняющийся взгляд преследовал меня повсюду, а я не хотела этого помнить. Еще два дня, и он уже просил не звонить. Внутри я кричала: «Верни мне себя! Полюби меня заново, скажи, что я та, с кем ты хотел прожить всю жизнь!» И опускалась до мольбы и бормотания: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста».

— У меня был прекрасный день, пока ты не позвонила, — сказал он. Я почувствовала себя жалкой, заставляя его вновь обернуться на меня. Все, моя роль сыграна. Занавес упал, актерам пора снимать маски и расходиться по домам, но ты все сидишь на краю сцены и в одного отыгрываешь эпилог. Только зал уже пуст. Он заблокировал тебя во всех социальных сетях и забыл о вашем совместном прошлом. Ты не заменишь ему дочь, сколько бы вы ни пытались.

Через минуту родится чужой человек, но я все еще люблю его. Уже не как мужчину, а как существо, которое сделало мне самый большой

подарок — покинуло мою жизнь. Руки больше
не дрожат. Глубоко вдыхаю и на выдохе

нажимаю на звонок.



Вы дозвонились до Грэйс Браун

Саня Сыгзыкова

— Вы дозвонились до Грэйс Браун. К сожалению, в данный момент я не могу ответить на ваш звонок. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала, и я вам обязательно перезвоню.

Кто-то решил, что сигнал автоответчика должен звучать как длинная нота “до” в верхнем регистре. Незнакомец на том конце вежливо интересуется, не продали ли ещё кресло-реклайнер. Он диктует свой номер телефона и настоятельно просит перезвонить, потому что кресло идеально подойдёт его бабушке.

Аида внимательно слушает незнакомца и злится на него. Его голос — слишком бодрый — нарушил тишину в квартире её свекрови.

— Решила побаловать себя, — говорила Грэйс, будто извиняясь за дорогую покупку.

Кресло-реклайнер, обитое тканью некрасивого ржавого цвета с цветочным узором, какой могла выбрать только старуха, регулировалось с помощью пульта. Можно было откинуть спинку назад, а из передней части кресла поднималась подставка для ног. А ещё кресло умело приподнимать сидящего так, что человеку не надо было напрягаться, чтобы подняться и твёрдо встать на обе ноги.

Аида смотрит на кресло, ухмыляется. Грэйс жила свою жизнь в этом кресле как в коконе: смотрела телевизор, попивая английский чай, ела сэндвичи с беконом и сыром, звонила подругам. Безобидно, на первый взгляд. Аида же знала, что телевизор орал на всю громкость, потому что Грэйс плохо слышала и ей было плевать на соседей, чай всегда должен был быть крепким, горячим и слишком сладким, а ингредиенты для

сэндвича — только самыми свежими; подругам Грэйс, конечно же, жаловалась на сына, который подарил «паршивый» подарок на день рождения, а в открытке написал сухое «всего наилучшего» («подумать только, Линда, так и написал; небось *эта женщина* ему надиктовала!»).

Эта женщина.

Аида много раз пыталась понять, когда стала для Грэйс *этой женщиной*, какой негласный код нарушила, почему, чем старательней пыталась угодить свекрови, тем неприятней была для Грэйс. Хотя погодите. Грэйс никогда не говорила, что Аида ей неприятна. Наоборот, была обходительна и дружелюбна. Паранойя сводила Аиду с ума. Она представляла, как Грэйс выбиралась из своего кокона, заползала Аиде под кожу и делала маленькие, едва заметные укусы.

«Твоим коллегам тоже разрешали носить короткие юбки, Аида?» — Клац!

«Ты в Австралии, наверное, и не была ни разу. Вот и выпал шанс благодаря Нэйтану». — Клац!

«Невестка моей соседки такая молодец! Всё умеет». — Клац!

«Как думаешь, Аида, если бы тебе пришлось вернуться в Казахстан, чем бы ты там занималась?» — Клац!

Они не должны были встретиться — Грэйс и Аида. Белая женщина пенсионного возраста из среднего класса. Молодая азиатка из страны варвара Чингисхана (слова, обронённые Грэйс в телефонном разговоре с Нэйтаном).

Аида нервничала перед их с Грэйс первой встречей, не зная, что встреча будет тёплой, душевной. Грэйс расскажет о матери, которая потеряла ногу, когда рожала Грэйс (спустя время Аида будет малодушно думать, что Грэйс с рождения несёт в этот мир драму). Аида поведаёт о том, как ее родители доставали продукты по талонам в перестроечные времена; Грэйс ахнет, сказав, что её семья в послевоенные годы тоже жила по талонам. Эта высокая женщина в дорогих голубых брюках, белой рубашке, с необычным колье на шее, с аккуратной уложенной сединой будет охотно рассказывать о себе и искренне интересоваться у Аиды о работе, семье, хобби. Аида, захмелев от шампанского, откупоренного Нэйтаном в честь встречи, будет рассказывать о себе всё.

Но теперь, спустя восемь лет, Аида рассматривает вещи в шкафу Грэйс. Ей поручили подобрать наряд для Грэйс. В шкафу много платьев и костюмов, которых Аида никогда не видела на свекрови. Та любила бродить по магазинам и весьма редко обходилась без покупок. Вещи потом висели в шкафу нетронутыми, с бирками. Грэйс носила любимые вещи: фиолетовые брюки, белую рубашку, толстый оранжевый свитер. Вот они, висят в шкафу, ждут, когда Грэйс их снова наденет. Аида чувствует ком в горле, бежит в другую комнату, но не успевает — слёзы текут так, что их не остановить. Аида царапает руки и ноги: «Где же ты, Грэйс? Как посмела проникнуть под кожу? Ведь должно быть радостно, а не грустно. Это сводит с ума».

Стоя под душем, Аида рассматривает каждую клеточку кожи. Кожа гладкая, без бугорков.

«Пирог с патокой? Ты уверена? Ты становишься всё больше похожа на мою маму», — бросил небрежно Нэйтан во время ужина в ресторане, и Аида отодвинула тарелку с десертом. С каких пор она стала заказывать пирог с патокой, а не ирисовый пудинг? Аида запретила себе покупать букеты с пионами, потому что это любимые цветы свекрови. Аида стала обходить стороной обувной магазин «Кларкс». Она старается не рассматривать одежду в «Маркс энд Спэнсэр», не ест горячие тосты с мармеладом, не принимает ванну. В каждом действии, или новой привычке, или новом предпочтении Аида ищет след Грэйс. Их с Грэйс не должно ничего связывать, кроме Нэйтана.

«Так, как я, тебя больше никто не будет любить», — говорила Грэйс сыну. Иногда Аида думала: а что, если свекровь и впрямь любит Нэйтана больше, чем она? Что, если в этом любовном поединке Аида никогда не выиграет? Такой враг, как Грэйс, не сядет за стол переговоров и не выдвинет список претензий. Аида поняла, что этого никогда не случится, не потому что к ней как к невестке нет нареканий, а потому что Аида не сможет поменять то, кем являлась — азиаткой из страны варваров. О чём тут говорить? Такое можно только терпеть.

Нэйтан уверял Аиду, что Грэйс вовсе не ненавидит ее, ну, может, слегка ревнует. Он говорил «her heart is in the right place». Сердце там, где надо. Благие намерения. Добрый человек. Ещё одна идиома, чьё значение Аида так до конца и не поняла. Добрые люди не отправляют открыток на день рождения, не делают вид, что интересуются твоим мнением по поводу ситуации в мире, не зовут погостить у них и не рассказывают забавные случаи со времён работы в больнице. Добрые люди не притворяются, что им на вас не наплевать, чтобы потом разбить вам сердце.

Аида насторожилась, когда Грэйс попросила звонить ей почаще. Всё потому, что Нэйтан сообщил матери, что та скоро станет бабушкой, рассуждала Аида. Но просьба Грэйс прозвучала искренне, и Аиде так хотелось поверить в тот момент, что лёд тронулся, что свекровь хоть немного может её полюбить.

У Аиды не было молока, когда родился Алан. Неполноценная мать, думала она про себя, лишённая связи со своим ребёнком, не могущая чувствовать губ ребёнка у сосков. Грэйс ей сказала, что тоже не могла кормить грудью, что Нэйтан пил детскую смесь и ничего, вырос здоровым парнем. Нэйтан вырос достойным человеком. Грэйс — эта высокомерная женщина, полная невысказанной агрессии, за полвека замужества так и не познавшая настоящей любви, — воспитала доброго и чуткого человека. «Так, как я, тебя больше никто не будет любить». Аида обнимала крохотное тельце Алана, вдыхала аромат его волос. В её грудной клетке как будто проснулась новая чакра — источник какой-то обжигающей энергии, незнакомой Аиде прежде, от которой одновременно росли тревога и нежность и которая могла бы свести с ума, если её не обуздать. Аида поняла Грэйс. Такой любовью действительно нельзя больше никого любить.

Грэйс обожала Алана. Сидя в своём кресле-реклайнере, брала его на руки, пела детские песенки или читала ему книжки. На первый день рождения Алана Грэйс испекла бисквитный торт. Её стряпня, которой она так гордилась, становилась всё хуже и хуже, но она продолжала готовить. На второй день рождения Алана Грэйс пообещала испечь торт в форме поезда. Аида с ужасом представила, как будет отмывать кухню после кулинарных подвигов Грэйс, как это часто бывало; как ей придётся тысячу раз благодарить свекровь за все усилия, чтобы не впасть в немилость; как Грэйс, нервничая из-за каждой ерунды, испортит праздник всем. В тот вечер Аида уговорила Нэйтана попрощаться с Грэйс пораньше и уехать домой, в покой. Грэйс очень долго махала им на прощание из окна своей квартиры...

Кто-то решил, что сигнал остановившегося сердца на приборах должен звучать как длинная нота “до” в верхнем регистре. Грэйс в тот день исполнялось восемьдесят четыре. Эта статная высокая

женщина, всю жизнь следившая за своим весом, сморщилась, как яблоко, закатившееся в дальний угол и всеми позабытое. Не было у Аиды никакой радости, была только грусть от того, что ушёл человек, который любил её сына и мужа.

— Вы дозвонились до Грэйс Браун. К сожалению, в данный момент я не могу ответить на ваш звонок. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала, и я вам обязательно перезвоню.

Кто-то снова звонит, чтобы узнать про кресло-реклайнер.

Оно по-прежнему стоит — пустое — перед телевизором.

Аида глубоко вздыхает, вытирает слёзы и берёт трубку.

— Простите, но кресло не продаётся.



Дом, который построил Дед

Анна Васева

— Если у тебя ничего не получится, не переживай, — напутствовала меня мама, провожая в город П.

Я заскрипела зубами. Все эти «не получится» действуют на меня как на быка красная тряпка. Я сразу стремлюсь доказать себе и всему миру, что всё у меня получится. Например, сдать квартиру без посредников за десять дней. Которую я даже ещё не видела с того самого дня.

Поезд пересёк Каму, дёрнулся и вытряхнул нас на перрон. Вышло полвагона. Я ощупью выбралась из туннеля на свет. Дальше по накатанной. Такси, знакомый маршрут мимо драмтеатра и бывшей табачной фабрики. Водитель спросил меня, с какой улицы заезжать. Я не вспомнила. Меня высадили у подъезда с гневным объявлением от ЖЭКа на двери: «Уважаемые жильцы, вы уже в 3-й раз заливаете подвал, если это повторится, мы будем вынуждены принять меры». Поискала связку ключей по карманам, один подошел. Лифт с лязгом покатился наверх. Вышла на нужном этаже. С дверью в холл пришлось повозиться, зато «наш» замочек открылся легко.

Я переступила порог квартиры, как переступала его каждое лето последние двадцать лет. Ничего особенного я не почувствовала. Дом встретил тишиной. Казалось, жильцы вышли ненадолго — в булочную или за газетой. «Привет, ба, — сказала я в пустоту, — вот я и приехала». Не верю, что умершие могут наблюдать за нами сверху или что-то такое. Но мне показалось, что бабуля обрадовалась.

Разуваясь, я заметила в настенном зеркале своё лицо. Помятое и нахмуренное. Широкое, как у мамы и бабушки. Со светлыми глазами и ресницами. На трюмо раньше

лежала бабушкина пудреница и помада. Сейчас там торчала визитка «Вывоз ненужных вещей». Наверное, оставила мама в прошлый приезд.

Я промаршировала по квартире, громко топая босыми ногами по паркету. Заглянула во все ящики и шкафы, осмотрела балкон. В прихожей лежали ровные связки старых книг — полные собрания сочинений. Желтые ветхие страницы. Их не примет ни один букинистический магазин. Присмотрелась и вынула из стопки тонкую книжку «Чердынь, Соликамск, Усолье». Я часто видела её в руках у деда.

Раскрыла книгу. В нос пахнуло типографской краской и клеем. За форзацем лежал чертеж «одноэтажного деревянного дома в гор. Соликамске на участке №9, принадлежащего гр-ну..., 1954 г.» Это — Дом, который построил Дед для моей бабушки и их будущих детей. Я никогда его не видела, он перестал существовать ещё до моего рождения. Мама его почти не помнит, они рано переехали. Он возникал только в разговорах за столом на семейных праздниках. Сидя в городской квартире на пенсии, бабушка и дед любили вспоминать те времена. Для меня это всегда было далёкой семейной легендой. Но вот я сижу и держу в руках официальный документ, подтверждающий, что Дом был. Я спасаю книгу и чертеж от поездки в переработку.

В столе нахожу автобиографические тетради деда. Это известный артефакт, и после похорон я прошу, чтобы мне их оставили. «Пишу воспоминания для себя, потому что никто из детей и внуков читать их не будет», — начинается первая тетрадь. А вот тут ты не прав, дед. До поздней ночи читаю его записи. Дом, корова, печь, дети, завод. Приглашение в славный город П. Вырваться из деревни,

создать семье хорошие условия для жизни.
Всем обеспечить.

Около двух часов ночи меня пронзает желание посетить Соликамск. Место, откуда началась история моей семьи. Успею ещё заказать вывоз вещей и клининг, никуда они не денутся. Начинаю гуглить. С туризмом здесь туго. Мне выпадает единственная ссылка на тур выходного дня. Пишу организаторам и записываюсь на экскурсию.

В ожидании поездки рассматриваю фотоальбомы. Нахожу фотографию деревянного дома, бабушки с детской коляской, внезапно — деда в солдатской форме, с кружкой пива на фоне церкви. А дед в молодости был красавчик. Я, надо признать, тоже ничего.

В 5:45 субботы стою на месте сбора группы в кепке и с рюкзаком. Экскурсовод опаздывает. Я мерзну и злюсь. Последний месяц лета, но ночи уже холодные. Наконец, грузимся в автобус и тащимся со скоростью черепахи на север. Пока есть сигнал связи, пишу маме: «Угадай, куда я еду». «Эх, мне бы туда», — отвечает она. «Я пришло тебе фото, — обещаю я. — Напиши, на какой улице вы жили».

Мы одновременно открываем «Яндекс.Карты» и ищем. Мама даёт ориентиры: площадь, церковь, школа. Я запоминаю маршрут. Сигнал пропадает.

За окном мелькают поля с кущей растительностью и овраги. Смотреть не на что. Экскурсовод рассказывает про опрос, который проводился среди жителей края: «Хотели бы вы, чтобы туристы приезжали сюда чаще?» «Нет, — подсказываю я, — конечно, они не хотели». Местные вообще славятся своей неулыбчивостью и немногословностью. Как сказал мне препод, когда у нас не сложился контакт: «А, так вы с Урала...» Закрываю глаза и начинаю дремать.

Меня будит движение в салоне. Пассажиры фоткают соляной отвал. Из-за леса рук со смартфонами я не сразу могу его разглядеть. Пепельная гора из отработанных пород. Массивный автобус с трудом втискивается в центральную улочку. Въезжаем на площадь с ярким — вырви глаз —

ансамблем церквей. Испытываю гордость. Говорю соседке: «У меня родня отсюда». Она улыбается и кивает.

Нахожу момент и сбегаю с общей экскурсии. Держу курс на ориентиры: площадь, школа, церковь. Солнце палит. Гимназия из красного кирпича с большими окнами закрыта: каникулы. Прохожу дальше, мимо сетевого магазина. Единственная похожая на описание белая церковь с колокольной стоит в проулке. Теперь нужно идти вверх. Забираюсь на пригорок. Напротив — советская застройка. Серые смурные дома. Пишу СМС маме: «Здесь стоял Дом Деда?» Она не уверена. Не помнит. Кажется, здесь.

С пригорка смотрю на город. «Википедия» сообщает, что здесь проживает около 90 тыс. человек. Так с виду и не скажешь. Климат здесь отвратительный, экология плохая. Ботанический сад завозит растения, которые отказываются расти на этой скудной земле. Семья деда сбежала отсюда при первой возможности. Я наследница несуществующего дома и путаных семейных воспоминаний. Стою на улице, по которой маленькая мама бегала в школу, а дед ходил на первомайскую демонстрацию. Быстро делаю серию снимков на память. У меня есть десять минут, чтобы догнать мою группу. Вдыхаю и ускоряюсь.

Приходит сообщение от мамы. «Помню соляную скважину, мы ходили туда помочить ножки». Почти бегу по деревянному настилу на окраину. Благоустройство добралось и сюда. Прохожу по аллее с резными фигурами улыбающихся медведей — символ края — мимо мамочек с колясками. Кто-то продолжает строить свою жизнь здесь, несмотря на.

Выхожу к соляной скважине. Из-под земли по трубе выходит соляной раствор. Не очень трезвый местный мужик развлекает туристов купанием в ледяной воде. Туристы вскрикивают. Огибаю их и выхожу к речке Усолке. Снимаю обувь и — плевать на клещей — сажусь в траву.

Передо мной неспешно течет вода. Здесь мелко. Переливаются опрокинутые верхушки деревьев. Жужжит пчела. Так же, наверное, сидела мама в детстве, пока родители не звали домой обедать. Тут бабушка была молодой и счастливой, качая своего первенца. Здесь дед

собирал бревна для своего дома, чтобы его семья жила в теплоте и уюте.

Обнимаю себя руками и смотрю вдаль.
Как будто мне только что дали ключ от вечности. Я вас вижу. Чувствую ваше тепло, благодарю за любовь.

Экскурсовод вырывает меня из мыслей:
«Нужно успеть вернуться в город до пробок!»
Выезжаем. За окном угасает красный солнечный шар. Я сжимаю в ладони квадратик

местной соли и думаю, что решу все свои задачи.

Я со всем справлюсь.

У меня всё будет хорошо.

Иллюстрация с сайта Uraloved.ru



Нюрка Кривая

Ольга Серова

Больше всего на свете тем летом я боялась увидеть Нюрку Кривую. Мама к тому времени уже уехала домой, меня должен был забрать через месяц отец.

Еще до приезда к бабушке мое воображение захватили чудовища, мертвецы и вампиры. Я провела смену в городском лагере в отряде с девочками постарше и вместе с рассказами об ужасных кровотечениях, которые скоро обрушатся на меня (но «в принципе ничего страшного, зато сможешь детей иметь»), узнавала подробности о Пиковой даме, которая приезжала на катушках, если ее правильно вызывать, и отвечала на все вопросы.

Даже на «*Сколько мне жить?*».

Кровотечения не впечатлили. Как потом выяснилось, до одиннадцати лет можно жить спокойно, а поскольку мне только исполнилось девять, в запасе у меня было целых два года. Два года будто целая жизнь.

Зато Пиковая дама и другие злодеи, душащие людей и пьющие кровь, засели прочно.

Решила, что если больше смеяться, они не придут.

Бабушка часто говорила, что я сбесилась. Дед молчал.

Утром, до жары, дрессировала поросят в палисаднике.

Днем одевалась индийской принцессой и бежала, спотыкаясь о простынь-сари, к

подружкам через улицу.

Вечером, когда всех загоняли по домам, садилась на качели, расчесывала комариные укусы и пела «дурными» голосами. Хотелось раскататься и полететь. Жизнь со всеми впечатлениями будто не вмещалась в меня, и тогда я начинала петь.

Я точно была всемогущей.

Потом загоняли в дом.

— Не дури много, — шевелила костяшечным пальцем однажды бабушка Нина перед моим носом, — а то будешь, как Нюрка Кривая.

— А кто она?

— Кто она? Сумасшедшая она. Ходит с кутулем (*кутуль, котуль — котомка, заплочная сумка*) день и ночь и никого не узнает.

— А зачем она ходит с кутулем? А почему кривая? — Я сидела за кухонным столом и ковыряла вилкой цветок мака на потертой клеенке.

Бабушка Нина выхватила вилку, бросила сердито в раковину, а потом поставила передо мной глубокую тарелку со щами.

— Вот она и не помнит, зачем ходит. А еще у нее бельмо на глазу, так что не гляди ей в глаза, если встретишь. Ешь давай.

Как есть?

Если бы бабушка вывалила на стол килограмм леденцов, я не смогла бы сгрызть ни одного.

Бельмо затмило все. Я боялась спросить, на что похоже это бельмо.

Непонятная страшная Нюрка с непонятным кутулем где-то скреблась за дверью.

А что в кутуле?

— А ещё так наклонится, — бабушка Нина нависла над щами, и пар от них поднимался в красную кофту, — и так скажет: «Да-а-ай денежку, добрый человек». И не сможешь отказать. Все отдашь, что в кошельке. Ну ешь, стынет.

Надо было прогнать Нюрку Кривую из головы.

Способов было несколько.

Пойти к девочкам. Жанка с Ирккой жили через улицу, мои лучшие подруги.

Посмотреть веселый фильм.

Помолиться.

Я пошла к девочкам.

— Знаете про Нюрку Кривую?

— Неа. — С Иркиных губ сочилась кровь. Это она вишню ела, а сок стекал.

— А кто это? Расскажи? — просила Жанка.

Я пересказала бабушкины слова. Добавила про седые всклокоченные волосы у Нюрки и беззубый рот. А в кутуле у нее чьи-то косточки и отравы.

Стало легче.

— Света-а! Мать твою! Где ж ты блондишь? *(рег., нижегор.: ходить без дела, бездельничать.)*

Бабушка стояла на углу нашей улицы и потряхивала пустым ведром.

На секунду стало тоскливо.

В животе скреблась зелень сегодняшнего дня: незрелая китайка и клубника, листья смородины, мяты и на спор сжеванный стебель одуванчика.

Хотелось бабушкиных щей. Только без Нюрки. Хватило страшилок с Ирккой и Жанкой про черную руку и черную ленту. Днем было не так страшно, а сейчас из-под каждого куста я видела торчащие пальцы мертвецов.

— Бабушка, а ты знаешь, как покойники пахнут? Вот! — Я с силой потерла запястья друг о друга и сунула под нос бабушке. Запах был сладковатый, душный. Сегодня мы с девочками занюхали запястья друг друга, фыркали и смеялись. Фокус показала старшая сестра Ирки Олеся. Но сейчас я желала только одного: чтобы бабушка прогнала и пальцы, и черные ленты, и всю остальную нечисть из моей головы.

Вот сейчас она скажет:

— Дурище моя, что придумали только, глупые! Пошли в дом, голодная же, я воды нагрела, помоешься сразу.

Но бабушка поставила ведро, взяла мою руку и понюхала запястье.

— Господи, спаси и помилуй! — Она резко отшатнулась, перекрестилась и подняла ведро.

После горячих щей вприкуску с ватрушкой стало легче.

А может, оттого, что затолкала к себе на кровать старого кота, которому нельзя на кровать.

А может, оттого, что, прислонившись лбом к черному настенному коврику с тремя богатырями, прошептала свою первую молитву:

— Илья Муромец, миленький, спаси меня, пожалуйста.

Илья Муромец больше всех походил на старого бога, и я верила, что на своем черном коне он прискачет в мой мир и спасет.

Утром было совсем легко.

Днем Нюрка опять лезла в голову, но дел было столько, что забывалось. Зато вечером она стояла за нашим забором, освещенная круглой луной. Раскрывала кутуль, рылась в нем и призывно смотрела в окно. Заманивала.

Неделю жила с этой Нюркой. Хотелось домой. Звонила тайком маме по серому телефону.

— Света, разговоры дорогие, у бабушки пенсия маленькая, говори быстро, — волновалась мама.

Что сказать? Чтобы прибили эту Нюрку? Или домой меня увезли?

Мама была так далеко, и из этого далека я скучала по ней. Хотелось лежать дома, в кровати с моим любимым постельным бельем. На нем резвились райские птички. И чтобы мама сидела на стуле рядом и пела «Оренбургский пуховый платок», а я бы ждала тех слов во втором куплете: «...моя добрая мать», потому что на этих словах ее голос дрожал, и от этого всего щемило в груди, а потом будто ломался в ней лед и выпускал что-то горячее, обжигающее.

— ...Знаете, можно силой мысли что хочешь сделать, — говорила Жанка, — это называется «внушение». Я по телевизору видела передачу.

Это было то, что надо. Как я сама не додумалась?

Надо потренироваться и прогнать страшные мысли.

То лето было очень жаркое, и я все время хотела мороженое. Мечтала о пломбире с вафлями. Эти вафли, если их подержать в тепле пять минут, становились такими мягкими, можно свернуть трубочкой и высасывать мороженое, а потом есть влажную липкую вафлю.

Открыла морозильник.

Там лежала пачка сливочного масла, в серебристой упаковке с бордовыми снежинками. Надо внушить себе, что это мороженое. Тогда я буду сильной и смогу все.

Достала пачку. От нее шел морозный пар, как от мороженого.

Я взяла чайную ложку и соскребла с угла тонкую стружку.

Холодное.

Несладкое.

Развернула пачку и насыпала сахара.

Стало лучше. Почти как мороженое. А если ходить по комнате и зажмуриться, то точно мороженое.

Я ем мороженое — говорила себе. Настоящее. Пусть без вафелек. Как будто их уже съели.

Не заметила, как хлопнула дверь и зашла бабушка Нина.

— Матерь Божья! — Она взяла оставшиеся полпачки масла, потом посмотрела на меня. — Ты куда его дела?

Мне было уже плохо. От масла, от того, что такая дура, от того, что бабушка это тоже видит, а хотелось, чтобы не видела. Притворилась.

Я ничего не сказала и натянула кофту. Меня знобило, и я легла на кровать в закутке, отгороженном занавеской от большой комнаты.

— Пей чай, — бабушка совала горячую кружку, — полегче будет.

Чай был кипятком.

— Господи, Катя, ты чего, Светку маслом не кормишь, что ли? Сожрала полпачки, что ты привезла. Да... все было... лежит сейчас, не шевелится, — выговаривала за занавеской бабушка Нина по серому телефону маме.

Хотелось, чтобы мама крикнула: «Да что тебе, масла жалко? Ребенок там погибает, а ты про масло!»

Хотелось, чтобы мама зашла сейчас и разбавила чай холодной водой: я же не люблю горячее! Помогла надеть голубое платье, любимое, с воланами, взяла за руку и поехала бы со мной на вокзал. А там... наш поезд. Он идет в Ленинград. Гордый поезд с бордовым лицом и серыми усами повезет меня из этой Ш. домой. Домой!

Я шевелилась. И шевелила кисточки на коврик с богатырями. Я их любила. Они много знали про меня. Иногда богатыри приглашали сесть на любого коня и поскакать. Я всегда выбирала белого, потому что рядом со мной должен был ехать Илья Муромец на черном и охранять.

— Не надо мне вашего масла! И пирогов не надо! — вдруг крикнула я занавеске. — И Нюрки никакой нет! Нету ее! И не надо меня пугать!

Сегодня днем я прыгала с Жанкиного сарая, а он высоченный. И в подполе ее без света сидела пять минут.

— Светочка, доченька, лежи, лежи, сейчас еще чаю принесу, — бабушка вошла вдруг в занавеску и потрогала мой лоб, — чай с мятой, полегче будет. Никого нет, никакой Нюрки нет, Господи Иисусе.

Горячие слезы потекли реками под щеку, соединились на шее, запульсировали жаром: «Светочка», «доченька», «Светочка»...

— На-ка, доченька.

Бабушкина рука похлопала мою спину, но поворачиваться с мокрым лицом я не стала, только прошептала: «Сейчас выпью».

— Дурище моя. — Она вздохнула и погладила меня по голове шершавыми ладонями. — Мне ж масла не жалко, жили как-то без масла этого. И мать твоя всполошилась. Ты ж не с чужими живешь... Лежи, лежи, я пойду, тесто поставлю. С вишней сделаю, ты же любишь с вишней?

— Угу, — выдохнула я.

Кольца занавесочные клацнули, потом клацнула на кухне миска об стол, потом и стол заскрипел под бабушкиными руками, месившими тесто. Вдруг она вернулась, села на стул рядом с кроватью и запела ту самую «мамину» песню.

Ее голос, грудной и сильный, не задрожал на втором куплете, но отчего-то мне стало жалко ее, и я повернулась. Пергаментные коричневые руки лежали на коленях и подрагивали. Я подумала, что моя сильная и стойкая бабушка все-таки меня любит.

На следующий день тетя Вера, мамина сестра, забрала меня погостить. Я собрала вещи, кусок вишневого пирога, поцеловала богатырей и вышла.

На остановке тетя Вера подошла к какой-то старушке в темных очках. Они заговорили. Я сидела на скамейке, грызла яблоко и разглядывала от нечего делать старушку. В одной руке у нее была деревянная палка с черным наконечником, а в другой мешок с завязками.

— Вот наша, — показала на меня рукой
тетя Вера, — ленинградская.

Старушка заулыбалась.

— На-ка, милая, — и протянула конфету.
Желейная. Я такие не любила, но взяла.

— Ну ладно, поехали мы, вон наш автобус,
— сказала тетя Вера.

— Теть Вер, а кто это? — спросила я, когда
мы уселись на передние сиденья. Я положила
руку на то место, где было колесо. Место было
горячим.

— Бабушка? Да Нюрка Кривая. Жизнь у
нее тяжелая. В молодости, говорят, красавица
была. Замуж вышла, и кто-то ее сглазил.
Болеет стала. А сейчас вон, ничего, ходит.

Что-то вышло из груди, и я поскакала на
белом богатырском коне. Шепнула только Илье
Муромцу, что теперь могу и без него. Мне не
страшно.

Развернула желейную конфету и
проглотила. Когда запихивала фантик в
карман, из него на пол выпал мятый рубль.
Подняла и подумала, что если увижу еще
Нюрку, подарю ей этот рубль. За просто так.

— Теть Вера, — повернулась я к ней, — я
только не на два дня к тебе, а на один, ладно?

— Ты ж сама просила на подольше?

Я не знала, как сказать ей, что не успела в
суете прощания уткнуться в карман красной
бабушкиной кофты. Что хочу скорее заглянуть
ей в серые глаза-щелки и успокоить, что
Нюрку Кривую теперь можно не бояться.



Про Лондон

Анна Кавка

Я отложила в сторону телефон, поправила дочке одеяло и вышла на террасу отеля «Хилтон», откуда открывался захватывающий вид на Босфор. Смеркалось. Солнце медленно погружалось в Мраморное море. На противоположном берегу, сколько хватало взгляда, простирались холмы, покрытые россыпью жилых домов, постепенно уходящих в глубокую тьму. Воздух был неподвижным и горячим, что несвойственно для середины сентября. На стеклянном столике меня ждал ноутбук и чашка крепкого чёрного чая с молоком.

— Снова будешь писать свою книгу? — спросил муж, нарушив тишину. Он сидел в плетёном кресле, положив ногу на ногу. В ответ я молча кивнула. Поправив подол длинного платья, я села в соседнее кресло. Кончиками пальцев он коснулся моей руки — его кожа мокрая и прохладная.

— Про меня там тоже будет? — В его голосе читалось любопытство.

— Конечно, — улыбнулась я ему, — ведь ты столько лет был рядом со мной.

— И после всего ты хочешь подать на развод? — раздражённо спросил он.

— Прекрати, — устало прошу я, — мне самой нелегко далось это решение.

Открыв ноутбук, я посмотрела на экран и погрузилась в воспоминания.

Когда мне исполнилось девятнадцать, я переехала жить в Англию. В первый вечер, заселившись в общежитие при Лондонском университете, я сидела на лужайке перед своим корпусом и выкуривала одну сигарету за другой, украдкой наблюдая за студентами, пробегающими мимо меня. В голове крутились мысли о том, что среди них может оказаться моя будущая подруга, или друг, или даже любовник. Эти догадки будоражили.

Оказавшись в комнате, я села на кровать и коснулась рукой пушистого пледа, который привезла с собой из дома. Только в этот момент я поняла, что уезжать было тяжело. Тяжелее, чем я думала. Я легла набок, свернулась калачиком и уткнулась носом в плед. В нос ударил знакомый запах кофе, который мама варила по утрам, и папиного одеколона с бергамотом. Теперь мой дом был за тысячи километров. От этой мысли к горлу подступил ком. Некоторое время я боролась с нахлынувшими чувствами, но вскоре дала волю слезам. Привычный ритм жизни — учеба, работа, семья и друзья, — поменялся бесповоротно. «Ведь теперь я даже не знаю, куда можно пойти за продуктами», — промелькнуло в голове. Я всхлипнула и поняла, что раньше вообще не ходила за продуктами. Не помню, сколько времени пролежала без движения. Незаметно для себя я уснула. Потом меня разбудил стук в дверь.

— Привет! Будем знакомы! Меня зовут Камилла, но для друзей Мими, — протараторила девушка, и ее губы расплылись в широкой улыбке. Я окинула гостью взглядом: смуглая кожа, в носу сверкает серьга — вероятно, бриллиант, густые каштановые волосы взъерошены. На ней пижама с большими штанами в синюю клетку — такие носит мой отец.

— Очень приятно, я Анна.

— Пойдем в «Лоб обезьяны»?

— Повтори, пожалуйста. — Я удивленно вскинула брови и наклонилась вперед, пытаюсь разобрать, что говорит собеседница.

— Это название местного паба, — рассмеялась она, — звучит странно, но место отличное. Вполне подходит для того, чтобы пообщаться и узнать друг друга получше.

— Окей, дай мне пять минут переодеться, и с удовольствием составлю тебе компанию, — ответила я, немного покривив душой. Внутри меня терзали смутные сомнения. «Не слишком ли рано заводить новых друзей? Не предаю ли я дружбу с теми, кто остался в Питере?» — крутилось у меня в голове, пока я натягивала футболку и застегивала джинсы.

Мы вышли за ворота общежития и направились вдоль деревянного забора в сторону университета. Прямо перед входом в кампус стояло небольшое здание из белого кирпича с двускатной крышей, покрытой красной черепицей. Над дверью висела деревянная вывеска с изображением обезьяны. Я толкнула створку, послышался звон колокольчика. Внутри было шумно и многолюдно. Камилла поманила меня сквозь толпу к барной стойке. Сделав заказ, мы заняли свободный стол рядом с группой китайцев, которые сосредоточенно стучали по клавиатуре своих ноутбуков. Через некоторое время подошла официантка и, прищурившись, протянула мне кружку, доверху наполненную чёрным чаем. Повертев в руках маленький пластиковый контейнер со сливками, я потянула за язычок и вылила его содержимое в чай.

Принесли горячее — две порции пасты с ветчиной и грибами. Камилла наколола на вилку шампиньоны, намотала спагетти, потом брызнула сверху соусом табаско и отправила все это в рот.

— Ты вообще откуда? — чавкая, спросила она. — Акцент русский, это чувствуется. Москва?

— Нет, Санкт-Петербург, а ты?

— Я из Аммана, но окончила школу в Лондоне. Теперь буду изучать менеджмент, ну а дальше заниматься бизнесом. Вот такой план. — Камилла постучала пальцами по столу.

— Хороший план, — кивнула я, — а у меня — учиться на криминолога.

— Ого, криминолог — это вообще кто? — Камилла недоуменно посмотрела на меня.

— Это типа психолога, который специализируется на преступниках.

— Звучит интригующе! — воскликнула она.

— Так и есть.

Спустя некоторое время я отодвинула пустую тарелку и осмотрела паб: по залу были беспорядочно разбросаны маленькие деревянные столики, а на стенах, выкрашенных в цвет яичной скорлупы, висели постеры знаменитых английских рок-групп. На полках по ту сторону барной стойки сверкали бутылки крепкого алкоголя.

— Предлагаю вечером организовать тусовку в нашем блоке, — подмигнула мне Камилла, — приглашай всех, с кем познакомишься за сегодняшний день.

— Договорились, — обрадовалась я, — с меня русская водка.

Взгляд упал на часы — девять тридцать утра. Первое занятие начиналось в десять, поэтому я быстро попрощалась с Камиллой и поспешила в кампус. Я села на скамейку перед аудиторией, достала планшет и стала искать вайфай. Ко мне вплотную подошла азиатка. Невысокого роста, худенькая, на лицо довольно симпатичная.

— Минет! — улыбнулась она и дальше добавила на английском: — Меня зовут Ариэль, я из Гонконга, а ты?

Я покосилась на неё и по выражению лица поняла, что она не шутит. Я представилась в ответ и спросила:

— Что ты имела в виду, говоря первое слово?

— Меня русские парни научили, что «Минет» это «Hello», или я как-то не так произношу? — нахмурилась она.

— Не хочу тебя огорчать, но это «blowjob», — засмеялась я, — правильно говорить «привет».

После секундной паузы, когда Ариэль поняла, в чем дело, ее щеки вспыхнули.

— Неужели Ариэль — китайское имя? — Я решила сменить тему, чтобы не смущать новую знакомую.

— Нет, я Чжао Тан, Ариэль — мое «кодовое имя». В детстве мне очень нравился мультик про русалочку. — Она провела рукой по длинным волосам и продолжила: — У нас заведено придумывать себе новое имя, европейское, когда едешь за границу.

Мы с Ариэль вошли в класс самыми последними и заняли свободные стулья рядом с высоким брюнетом в полосатом свитере. Я достала из сумки ручку и тетрадь, но, осмотревшись по сторонам, поняла, что здесь принято ходить на уроки с собственным ноутбуком. Высокая девушка в хиджабе раздала студентам большие конверты. Я с любопытством заглянула внутрь — там оказались именная пластиковая карточка с фотографией и штрихкодом, несколько университетских листовок, расписание занятий и реклама «Лба обезьяны».

Парень, сидевший по соседству, легонько толкнул меня локтем.

— Прости, — шепнул он, — я случайно! Кстати, я Лука из Грузии.

Я открыла рот, чтобы ответить, но в класс вошла молодая женщина, на первый взгляд ей не было и тридцати. Она встала около доски, стряхнула рукой невидимые пылинки с короткого голубого платья в мелкий цветочек и громко объявила:

— Привет всем! Добро пожаловать в Лондонский университет!..

Во время перерыва я вышла на улицу и закурила. Накапывал дождь, поэтому мне пришлось встать под козырёк, висящий над крыльцом.

— Я так и не узнал твоё имя, — сказал Лука, доставая из кармана пачку сигарет «Camel».

Он подошёл ко мне и облокотился о кирпичную стену. Взъерошенные волосы, небольшая щетина, яркие голубые глаза. В нем было что-то притягательное.

— Ты не представляешь, сколько раз за сегодняшний день я его повторила.

— Очень даже представляю, — ухмыльнулся он, — сам только недавно переехал.

В ходе разговора я узнала, что его отец русский, а мама живет в Батуми. Было приятно впервые за день пообщаться на родном языке. Возможно, именно это нас сразу сблизило.



Секрет

Ирма Спекторская

Ирма плачет. Долго не может остановиться, плачет и плачет.

«Хочу, чтобы Вадик пришел и не уходил».

Даже не знаю, что для них двоих сделать. Да и что вообще можно сделать с любовью? Показывать ли кому-нибудь? Держаться за нее? Держаться подальше?

«Хочу, чтобы Вадик пришел и не уходил».

Вадик, ну соберись уже и приедь. Собери сумку: носки, трусы, футболки, застиранные до безобразия. Поцелуй дочку. Садись в машину и приезжай. Все равно ведь приедешь.

«Хочу, чтобы Вадик пришел и не уходил».

Детка моя, ягодка, ласточка. Вадик, ты скоро там? Вадик?

— Вадик, хочешь секрет?

— Давай!

— Когда не могу уснуть, представляю, что мы вот так лежим.

— Помогает?

— Да.

— Хорошо.

Вадик наклоняется и прячет поцелуй в волосах Ирмы. Они лежат на диванчике в танго-школе, пахнет кофе, большой свет выключен — горит только лампа рядом с кофеваркой. Дверь в зал закрыта, но не заперта.

Они виделись вчера на милонге — Ирма пришла впервые после того, как пару месяцев назад за организацию вечеринок взялась другая его ученица, тоже Ирма. Две Ирмы разругались из-за ерунды, и Вадик тогда за свою Ирму не заступился. Не знаю почему. Я ждала, что он скажет, по крайней мере, «девочки, не ссорьтесь», но он и этого не сказал.

В тот раз, когда они с Ирмой остались одни, он, как и теперь, обнял ее, уложил на диван. «Я думала, хоть немного для тебя особенная», — шептала она, уткнувшись носом ему в плечо. «Конечно, особенная. Ты важнее, гораздо важнее, но так правильнее», — отвечал он и обнимал ее нежно и крепко.

Ирма с Ирмой потом помирились, а на милонге и правда стало живее и интереснее.

— Ты вчера рано убежала.

— Да, мне было не по себе. Хотя милонга была хороша.

Перемена произошла не только с милонгой — что-то в самом Вадике сдвинулось с места, переключилось. Он больше не сидел в разгар вечера, унылый, растекшись по дивану, и не хмурил лоб, когда к нему обращались с просьбами гости. Вадик танцевал (много,

больше обычного), смеялся и даже рубашку надел красивую, вместо одной из тех футболок, что носил на уроках. Он весь сиял, и Ирма была за него рада. Недавняя командировка на Тайвань явно пошла ему на пользу, да и возрожденная милонга поднимала настроение. Но Ирме там было не по себе. Приехав домой, она опустила на пол в прихожей и разрыдалась.

— А где моя мишка панда?

— Забыл в бардачке, потом принесу. Так почему тебе было не по себе?

— Не знаю. Как будто ты меня не видел.

— Как не видел, мы даже потанцевали!

— Да, но как будто ты не со мной танцевал.

— Как не с тобой, а с кем тогда?

— Не знаю. С архетипом женщины?

Вадик тихонько смеется. Затем обхватывает лицо Ирмы ладонями и целует.

О ее чувствах он знает давно, с того момента, как они «убрали секс», оставив только целомудренные возлежания на диване в перерывах между его уроками по субботам и воскресеньям. С того момента, как они «убрали секс», Ирме даже стало как будто легче — она откровенно, ничего не стесняясь, говорила ему, как много он для нее значит. Показывала свои стихи. Присылала отрывки из книжек про чувства. Он на все откликнулся: «как это здорово», огонек, поцелуйчик, «я рядом».

С того момента, как они «убрали секс», минул октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. И вот теперь март, и Вадик снова ее целует. Какое же это торжество и блаженство — расстегивать ремень на его брюках, когда он знает о ее чувствах все, теперь все. Когда не нужно больше ему подыгрывать в «дружбу» и «нежность». И все-таки она волнуется — тогда,

в октябре, они договаривались так больше не делать.

— Вадик, может, мне лучше уйти?

— Нет, не надо.

— Вадик, все нормально?

— Да. Не волнуйся за нас.

Потом они лежат, тихо-тихо. Слышно, как у Ирмы урчит в животе. Вадик улыбается, целует ее в макушку.

— Голодная?

— Нет.

— Будем кофе пить?

Ирма выпрямляет вверх ноги, ставит ступни на стену — диван слишком мал для двоих. Вадик поправляет ей платье. Как она вся меняется рядом с ним, словно замедляя своими тягучими движениями их время вместе. Проводит пальцами по его бровям, очерчивает скулы, обводит губы. Он захватывает ее пальчики ртом, словно большая рыба — маленьких, и прикрывает глаза. Ирма легонько дует, он улыбается и выпускает добычу.

Слышны шаги вниз по лестнице. Ирма садится и спешит надеть туфли. Входит, честно, не помню кто. У Вадика сегодня еще два урока, а Ирма пойдет домой и всю дорогу будет счастливиться, то и дело замирать по пути напротив зеркальных витрин и глядеть, будто видит себя впервые. А дома, забравшись на подоконник, позвонит мне и ничего не расскажет. Вдогонку пошлет сообщение, смутится и удалит.

Детка моя, бедный зайчик. Еще две недели твои. Еще две недели пройдет, прежде чем.

Вадик женат, у него дочка, ипотека и танго школа. Ему тридцать девять. День его начинается в шесть утра, со звонком будильника, очень тихим, чтобы не проснулась дочь. Ирма знает, потому что пару раз он оставался у нее на ночь.

В шесть тридцать, закрыв за собой дверь квартиры, Вадик пишет ей «С добрым утром, Ирма!» и шлет поцелуйчик, а то и несколько. Идет на парковку, если застает яркий рассвет, снимает на телефон — отправляет ей. До шестнадцати тридцати он главный инженер на заводе медицинских инструментов. В цеху шумно, и его стол далеко от окна. Ирма знает, потому что он часто просил рассказать, погожий ли день — самому не видно.

В семнадцать тридцать Вадик — уже учитель танцев в своем танго-подвальчике — обычно до двадцати тридцати.

По вторникам и четвергам у него два частных урока, потом два групповых. Провести групповые приходит его жена с дочкой. Дочка играет на диванчике, время от времени выбегая в зал и обнимая его за ногу. Он всегда останавливается и ласково просит его отпустить. Ирма знает, потому что провела бесконечно много вечеров там, вместе с ними, помогая с учениками, играя с малышкой.

По понедельникам и средам уроки у него только частные, и вечером обычно есть время на пару дорожек в бассейне. Ирма знает, потому что вместо бассейна он нередко приезжал к ней.

По пятницам у него только один частник, а потом допоздна милонга. После милонги они часто уезжали к ней.

По субботам и воскресеньям у Вадика уроки с утра и до вечера, но в середине дня двухчасовое окно отводилось на кофе с Ирмой. А если освобождался раньше — правильно, приезжал к ней.

Пока они «убирали секс», он то уверял ее, что будет рядом, то отстранялся и подолгу не

спрашивал вообще ни о чем.

Спустя почти пять лет их знакомства сервис Т9 на ее телефоне после слов «с добрым утром» предлагает подставить только одно — «Вадик». Я сама видела.

Эти добрые утра, которые они писали друг другу, были самой надежной вещью в жизни Ирмы. Порой сообщения прилетали в обед или вовсе под вечер, когда из-за перелетов, или ночных милонг, или других обстоятельств сбивались их биоритмы. Эти добрые утра были для них постоянной величиной.

Ирма мечтала: вот если бы у ее депрессивной матери тоже был кто-нибудь, кто как Вадик смог бы писать ей «добрые утра», наверное, мама бы реже проваливалась в отчаяние и крепче держалась за края реальности. А потом вспоминала, что мамин «Вадик» — она сама, Ирма, только не по утрам, а когда придется. И так всю жизнь, с самого детства (когда родители развелись, ей было пять, а теперь двадцать восемь, вот и считайте). Даже давно находясь далеко, в другом городе, Ирма слушает по телефону про мамину боль, отключив динамик, чтобы мама не слышала, как она плачет. А потом уговаривает ее поесть, погулять, записаться к врачу.

Пока они «убирали секс», Вадик не раз порывался приехать. Когда Ирма грустила, обнимал, говорил, что для него «ничего не изменилось», и она ему «очень дорога», и он приедет, приедет, как только сможет, и они будут в обнимку лежать и смотреть «Друзей».

Однажды, прощаясь после урока, она замолкла посреди фразы, ощупала взглядом стены и пол и спросила: «Ты уже больше никогда не приедешь, да?» Вадик оставалось только кивнуть, моргнуть, коротко бросить «да» или пространно заметить: «Ирма, так будет лучше». Но он ответил: «Приеду, приеду, как только смогу».

Через неделю после секса в школе Вадик и правда приедет. Все произойдет между ними

так, словно ничего тяжелого не было вовсе. Никаких этих месяцев подавленного желанья, его отстранения, ее слез на полу в прихожей. Как она будет рада, моя девочка, умничка.

Потом пройдет еще неделя. Ирма, как обычно, придет пить кофе и лежать на диване. Вадик будет задумчив и рассеянно нежен, а когда она перестанет болтать о всякой ерунде и попросит ее поцеловать, он откажется и скажет что-то про то, что «не хочет пользоваться ее чувствами». И что его чувства «не такие». А какие — так и не скажет.

Мишку панду (еще про нее не забыли?) Ирма заберет потом из школы сама. Она знает, где прячут ключ, придет днем, когда зал пустует. Станет панду всюду носить с собой: та выглядывает из маленького кармашка, стоит только открыть сумку. Я сама видела.

Вместе с пандой Ирма попросит вернуть календарь с ее обнаженными фото (неожиданно, правда?). Эту съемку для них сделала я. Помню, Ирма нервничала, но только в самом начале. Я волновалась гораздо сильнее — такая ответственность! Я Вадика знаю давно, никто ему таких роскошных и дерзких подарков никогда не дарил.

Что же он чувствовал, подыгрывая ей в этой затее с календарем, обсуждая детали съемки, выбирая лучшие снимки? А получив календарь в подарок? А выходя ночью из ее дома и оглядываясь на окна спальни — помахать, прежде чем сесть в машину, — все это время, пока маятник их отношений качался из дружбы в любовь и обратно, что же он чувствовал? Я Вадика знаю давно, снимала его на свадьбе, на куче милонг и семейных праздников. Что же он чувствовал, что даже ни слова мне не сказал про все это — и все еще не говорит.

Кадры с той съемки получились ошеломляющие (все фотографии, кроме

обложки, я сделала черно-белыми). Наверное, такой уверенной, раскованной и красивой, как на снимках, Ирма и чувствовала себя рядом с ним.

На «мартовском» развороте Ирма снимает джемпер, сидя на подоконнике. Полностью обнажена грудь. Настроение задают высокие кружевные трусы и лукавый глаз, что, смеясь, смотрит прямо в камеру, пока она освобождается от этой необъятной вязаной штуки. Вадик любил это фото больше всего. Март — месяц его рождения (никаких, как вы понимаете, совпадений).

«Апрельский» снимок — уже мой фаворит. Здесь на Ирме нет ни джемпера, ни трусов — только тонкие черные колготки в крапинку. Здесь у нее такой взгляд и такая осанка, что дух захватывает — эта женщина получит все, что захочет.

В «мае» она совсем без одежды, возвещает своей наготой приближение лета.

Все это майское сейчас за окном — бело-зеленое, сине-прозрачное, свежее, новое — как будто не вовремя. Как Ирма ждала этих птичек, этих веток черемухи — и как их теперь ей не надо. Вон даже фиалка взяла и цветет, как назло. Мы уж думали, она погибает — сидела всю зиму бледная, ни жива ни мертва.

Может быть, лучше, что Ирма теперь, а не Вадик, смотрит на календарь. Видит — нет, не уродка, с ней все в порядке — и успокаивается. Моменты сомнений и нелюбви к себе для бывшей анорексички обычное дело.

После той съемки я сказала ей: «Ирма, ты моя муза». А вот Вадик, открыв календарь, едва-едва смог промолвить «спасибо». Как он, должно быть, запутался, бедный котик.



Цветок ярости

Людмила Скобина

Вы когда-нибудь проводили на дереве целый день? Под убаюкивающий шелест листвы и ласковое прикосновение ветерка? Я здесь уже десять часов. Откинулась на удобной ветке, лежу и смотрю в небо. Внизу отец до сих пор что-то кричит, а может, цитирует любимые строчки Шевченко:

«А сестри! Сестри! Горе вам...»

Когда я была маленькой, то часто видела, как он сидит во дворе на потертом коричневом чемодане. Мне было жаль его. Раньше. Я ничего не помню из раннего детства, ничего. Мама. Папа. Ничего не значащие слова: ни тепла, ни привязанности — так сложилось.

Заурчал живот, предатель. Соскальзываю вниз, срываю красные, спелые, теплые помидоры и вгрызаюсь в мякоть. Сок течет по подбородку. Отворачиваю вентиль крана, жадно пью, заодно умываюсь. Мне нравится звук льющейся воды. В солнечный день зажмешь отверстие пальцем, разобьешь струю на брызги — засияет радуга. Когда же он утомится? Заночую-ка я на тополе. Укроюсь небом звездным. Цикады споют колыбельную. Про сказку со счастливым концом. Я что, плачу? Это всего лишь синяки — не первые, не последние.

Радостный лай Руськи, значит, увидела. Прикасаюсь к холодному, мокрому носу и тут же чувствую горячий язык. Длинные уши, удлиненное тело, короткие лапки — чёрно-коричневый окрас, гладишь — бархат. Шумная, шустрая, любопытная — это я в собачьей шкуре. Мы обе раздражаем отца. Присаживаюсь рядом, высовываю язык и шумно дышу, ей нравится.

Люблю наш круглый стол — настоящее дерево — и белую скатерть с тюльпанами в бледно-голубых квадратах. У отца сегодня зарплата. Он довольно улыбается, глаза лучатся предвкушением, а на мои любимые тюльпаны падает бумажный кулёк, в нём — конфеты. Каждый раз одно и то же. Это — приманка.

Так как отец пьян, трогать их нельзя, это знание вбили в меня кулаками. Он уже час кружит и ждёт. Пьяного отца я боюсь до чертиков, хотя отчаянно делаю вид, что это не так. Боюсь даже дышать. Недавно нашла письмо от маминой подруги тёти Майи, где красивым почерком написано: «Милая, не принимай поспешных решений, он любит тебя и пропадёт, если потеряет семью». Какая трогательная забота. Мама до сих пор надеется. Не могу понять, не могу принять, не могу простить.

Всё ещё слышу крик сестры и вижу залитое кровью лицо мамы. Она запретила, но я всё же решила вызвать наряд милиции и рванула к таксофону на углу — не работает. Еще один только через два квартала, бежать придется в полной темноте, и я бегу, а меня пожирает страх. Боюсь темноты, боюсь, что они опоздают, боюсь, что он убьёт её, поэтому обратно тоже бегу, хотя сил совсем не осталось.

Мама с сестрой сидят на ступеньках крыльца, рядом суетится соседка, прикладывая к голове матери лед. Я стараюсь восстановить дыхание и поглядываю на дверь. Соседка шепчет:

— Не дрейфь, мой парень отправил твоего папаню в нокаут. Только не упоминайте его, скажите — прохожий.

Не стала говорить этого вслух, но я сомневаюсь. Слишком яркая картинка — мать ударила отца по голове бутылкой шампанского, почти пустой. Помню, как брызнули темно-зеленые осколки. А он остался стоять на ногах. Только волосы отряхнул. Шум колес по гравию. Приехала милиция. Мы вместе с ними поднимаемся в дом. Вокруг разгром — стулья, книги, скатерть, осколки вазы, помятые ирисы, одежда — всё разбросано по комнате. Среди этого хаоса стоит мой отец — Павел Васильевич в парадно-выходном костюме. На груди сияют награды. Только ссадина на лице и разбита губа.

Он застенчиво, слегка виновато улыбается, а ямочки на его щеках умоляют о снисхождении. Милиционеры растерялись: перед ними ветеран Второй мировой войны. Повисло тягучее молчание.

Наконец, один из них прокашлялся и задал вопрос:

— А кто ударил Павла Васильевича?

Я не могу отвести от него взгляда и искренне недоумеваю. Какая забота! Отца слегка пожурили, добродушно похлопали по плечу и пожали руку. Широко улыбаясь, он пообещал больше так не делать. Милиционеры делают вид, что верят. А нам остается лишь укоризненный взгляд. Я не могу на это смотреть и закрываю глаза.

Запах прелых листьев возвращает в детство. Перед глазами возникают синие первоцветы — мы называем их подснежниками и собираем, продираясь сквозь колючий кустарник, несмотря на царапины, рваные куртки и грязь под ногтями. Они прячутся в старых спрессованных листьях и среди серо-бурого уныния кажутся настоящим чудом — зелёные листики и яркая синева.

Я люблю место, где родилась — бесконечные фруктовые сады, овраги и старый колодец. Каменный круг, и вода такая высокая, что можно коснуться кончиками пальцев. Сидеть на тёплом камне, любуясь игрой воды и света, можно вечно.

Здесь, у оврага, недалеко от колодца мы собираемся, приносим из дома пару картофеля и спички. Хворост — благо сухих упавших веток полно, бумага для розжига — и вот уже весёлый огонёк проснулся, заплясал и пыхнул красными искрами. Мы лопаем печёный картофель, жалеем, что никто не захватил соль. На всю округу звенит смех.

Вы любите дождь? Представьте: справа шумит и грохочет сильный ливень, а слева светит яркое солнце, птички щебечут, бабочки суетятся, а мы опускаемся на траву, подставляем ладони под хлесткие капли и вдыхаем густой, влажный запах дождя. С радостными криками ныряем в него и кружимся, кружимся, кружимся. Толкаемся и падаем.

У меня на бедре шрам. Он заметный и всегда спрашивают, откуда он взялся. Кто меня знает — думают, что отец. Нет. Мама занималась домашними делами. Вечерело, уютно горел свет. Я прыгала на отцовской панцирной кровати, как на батуте. Всё выше, выше и выше, почти к потолку, а потом вниз — на пятую точку — это так здорово. Я забыла про ножницы. Они пропороли мне бедро, и мы с сестрой никак не можем остановить кровь. Сестра принесла полный таз воды: в нем мы полоскали красное от крови полотенце, прижимали к ране, опять полоскали. И так по кругу. Вода в тазу стала такой красной, что мама, вошедшая с вопросом: «Зачем вам таз?» — потеряла сознание. Ну и влетело же нам!

Сестра сказала:

— Знаешь, ты заноза в заднице!

Мать, накладывая бинт, её поддержала:

— Ты моя головная боль! Отец после твоего рождения начал пить.

Я поставила любимую пластинку Аллы Борисовны, “90 Сонет Шекспира”, врубила на полную громкость и несмотря на крик сестры: “Выключи эту истеричку!” — дослушала до конца.

Отец — вот кто настоящая головная боль.

Благодаря ему я сижу под крыльцом,

запрокидываю голову и пытаюсь остановить кровь. Неужели того, что я родилась девочкой, достаточно, чтобы разбить мне нос? И как прикажете завтра идти в школу? Самое паршивое, что придётся ждать, пока не вернется мама. А она сегодня во вторую смену, поэтому появится только к полуночи. Сколько сейчас времени? Может, он уснул? Была не была. Поднимаюсь на крыльцо, осторожно открываю дверь, прислушиваюсь — в комнате тихо. В окно бьет свет уличного фонаря, можно даже разглядеть очертания мебели и скользящие тени. Свет включать не решаюсь и на ощупь достаю фонарик.

Вот и дверь в соседнюю комнату. Задерживаю дыхание, на цыпочках пробираюсь в темноту — ни звука. Включаю фонарик, в его свете вижу, что отец и вправду спит — расслабленный, безмятежный, беспомощный. Сбросил одеяло — ему жарко. Сукин сын. Ненавижу. Уже не таясь, иду на кухню, достаю из своего тайника нож.

Вынимаю из ножен и застываю, замороженная. Широкое, прочное, обоюдоострое лезвие с желобком посередине заканчивается острым концом — таким наверняка можно убить. Провожу пальцами по гладкой прохладной стали и представляю, как вонзаю его отцу в сердце по самую рукоять. Тут меня разбирает смех. А есть ли у него сердце? Включаю воду и, поглядывая в зеркало, смываю с лица кровь, раздеваюсь и ныряю под одеяло. Нож кладу под подушку.

Ночью мне снится синее небо, расчерченное чёрными линиями электрических проводов и серые громадины зданий. Они тянутся ко мне, словно живые, и закрывают небо. Я с трудом, на пределе своих возможностей рвусь вверх, стараюсь избежать столкновения и падаю. В полной тишине. Крик заперт. Словно рот зажали ладонью.

Резко просыпаюсь. Взгляд на часы, черт, проспала. Школьная форма закрывает колени — это мама постаралась. Ну что ж, сегодня я скромница. А вечером отрежу раз и навсегда. Хватаю портфель, сбегаю с крыльца и застываю. На последней ступеньке лежит расстегнутый Руськин ошейник. Чужого она бы не подпустила. Вот подлец, значит, все-таки решился. Бросаю портфель — найти собаку важнее. Прохожу улицу за улицей, квартал за кварталом, спускаюсь к оврагу, осматриваюсь

и прислушиваюсь. Вокруг зеленое безмолвие, даже ветер стих.

Весь день сдерживаю ярость, кажется, ещё немного и меня разорвёт в клочья. Бросаюсь на отца — скотина, сволочь, лучше бы ты сдох!

Мне всё равно, что он навеселе, заносу руку для удара, как кошка, сгибаю пальцы и бью, оставляя красные борозды на его лице. Ощущаю под ногтями его кожу. Он шарахается от меня, теряет равновесие, заваливается назад и падает. Высота нашего крыльца — полтора метра.

Следующие две недели провожу как во сне, все мысли только о Руське. Сегодня проснулась, ощущая на губах поцелуй — что-то произойдет. Что-то хорошее. В приподнятом настроении останавливаюсь перед мальвой, люблюсь ярко-красным цветком, уже подняла руку, чтобы погладить упругие лепестки, но замерла.

Появился светящийся шар величиной с крупное яблоко и медленно поплыл над моей протянутой рукой. Ветра нет, а он движется, словно живой, и где-то в его глубине еще дышат остывающие угли. Шаровая молния. Я знаю, что она опасна, но как же хочется прикоснуться, оказаться внутри и стать ею. Я провожаю ее взглядом, пока она не сворачивает за угол, закрываю глаза и пытаюсь представить себя огненным шаром.

Скрип калитки заставил меня вздрогнуть, я обернулась, увидела маму, за ней — мою Русю. Я подхватила её на руки, прижалась к горячему тельцу — как же приятно ее целовать. Она облизывает мое лицо шершавым языком, а из её круглых карих глаз катятся слезы. Я впервые вижу, как плачет собака, и плачу вместе с ней. Будто издали слышу мамин голос:

— Я увидела её из автобуса, вышла на следующей остановке и повернула обратно. Скорее всего, он увёз ее на машине, бросил где-то в районе Рышкановки. Она прошла через весь город.

Я ничего не ответила, только ещё крепче прижалась к Руське, стараясь не думать о

дорогах, машинах, автобусах и таких разных людях.

Равнодушно наблюдаю, как мама устало поднимается на крыльцо, время замедляется, останавливается и идет вспять.

Светящийся шар свернул за угол, приблизился к окну. По стеклу пошла кольцевая трещина с небольшими сколами, и на подоконник упал стеклянный круг размером с крупное яблоко. Я едва уловила движение света. Отец ещё стоит, но ладонь раскрылась, и мелочь звонко запрыгала по

полу. Я вижу его удивленные глаза. Он падает, рука зацепила вазу с одинокой веточкой мальвы, она опрокинулась, выплеснулась вода, и ярко-красный цветок летит вниз. Кап, кап, кап.

Я испуганно смотрю, как мама устало поднимается на крыльцо и входит в дом. Хочу ее остановить, но тело не слушается, словно я очутилась внутри кошмара.

Отец лежал навзничь, раскинув руки, а на ладони — ярко-красный цветок мальвы.

Электронный журнал «Пашня» — ежемесячное издание литературных мастерских Creative Writing School. Тексты, представленные в «Пашне», написаны в рамках работы очных мастерских и онлайн-курсов Creative Writing School или созданы специально для литературных конкурсов школы. «Пашня» — это возможность встречи текста и его автора с читателем, возможность посмотреть на мир глазами современных литераторов.

Выпускающий редактор Юлия Виноградова

Художественное оформление Евгения Буравлева, Елена Авинаова, Юлия Виноградова

@Creative Writing School, © 2023

@Евгения Буравлева, © 2023

@Елена Авинаова, © 2023

